

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Такова правда о последних месяцах жизни Кочетова и о том, как он расстался с жизнью. Меняют ли сообщенные в этой статье факты общую оценку литературной или общественной деятельности Кочетова? ...тут, по словам кочетовского главного оппонента, «ни убавить, ни прибавить».



Юрий Идашкин

Мне было страшно.
И мне было плохо.
Я умирал без единого вздоха.
А над огромной
землей между тем
буйным пожаром
заря просыпалась,
и в ослепительном
свете ее,
свесившись
с тазика,
улыбалось
свежевыстиранное
белье.

Ефим Бершин



...Тура, центр Эвенкийского национального округа, 1965, навсегда запомню лик этой маленькой северной столицы — туманные сопки с вертолета, где стволы листовенниц, как фаберовские карандаши, и Нижняя Тунгуска величественно катит свои быстрые холодные воды среди нависающих скальных утесов и диких отмелей: ...или



Якутск, 1967, поле аэродрома, ветер задувает, свистят вертолетные лопасти, якут Николаев фотографирует меня фотоаппаратом «ФЭД», сверкая красивыми металлическими зубами; Алдан, того же года, где и разыгрался тот тривиальный любовный многоугольник, о котором я так давно хотел тебе рассказать.

Евгений Попов

Палец у виска ночует.
Дура-лошадь снег не чует,
глазками сверлит.

Щелкнул ножик
перочинный,
на войну бежит
мужчина.
Где, мужик, болит?
Спичка будит
на работу,
от нее горит болото,
крестит брат-шалун
зевоту,
теплится микроб.

Олег Асиновский



Куда уходят корни политического сознания? Все большее число публицистов и ученых, как бы примериваясь, начинают употреблять для описания нашего общества термин «социалфеодализм» с его двумя господствующими ипостасями собственности: государственно-имперской и общинной.

Евгений Вертлиб



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэк
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Oz · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Седых · Виктор Спарре · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрем

Корреспонденты «Континента»

- Италия Сергей Рапетти
 Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
 20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский
 Edward D. Lozansky
 3001 Veazey Terrace, N. W.
 Washington, DC 20008, USA
- Япония Госуке Утимура
 Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова

К

КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

63

1990

КОНТИНЕНТ – CONTINENT

Revue trimestrielle

Dates de parution :

janvier, avril, juillet et octobre

**Publiée par l'Association des Amis
de la revue « Continent »**

11 bis rue Lauriston

75116 PARIS, France

Prix 60 francs

Directeur de la publication

Vladimir Maximov

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Левитанский — Из книги «Белые стихи»	7
Евгений Звягин — Командировка. (Подражание Э.Т.А.Гофману	10
Юрий Гордиенко — Одиннадцать дощечек. (Поэма)	76
Евгений Попов — «Гранатовый браслет». (Рассказ)	117
СТИХИ ИЗ РОССИИ	
Александр Розенштрам, Олег Асиновский, Юрий Милорава, Ефим Бершин, Дмитрий Волчек, Леонид Алексеев	130
Дина Рубина — Яблоки из сада Шлищбутера. Рассказ	156
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Евгений Вертлиб — Генезис и пути политического сознания при Горбачеве. («Перестройка» — эволюция или пристрелка перед перестрелкой)	189
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Яцек Тшнадель — Военное положение. (Время генерала). Перевод с польского	225
ЗАПАД — ВОСТОК	
Иосиф Бродский — Посвящается позвоночнику ..	233
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Сергей Каледин — Два документа	245
ИСТОКИ	
Юрий Загянский — История во мгле. (Родион Малиновский — жертва собственной стратегии)	249
ИСКУССТВО	
Александра Орлова — П.И.Чайковский — читатель. (К 150-летию со дня рождения)	261

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Юрий И д а ш к и н — Всеволод Кочетов, каким я его знал	285
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	313
НАША ПОЧТА	321
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Исаак Ш а п и р о — Настой из трав и заклинаний	329
Бахыт К е н ж е е в — Городской ангел Аллы Головиной	331
Ольга М и р о н о в а — Лишние дети	336
Иосиф К о с и н с к и й — Пришедшийся ко двору	339
КОРОТКО О КНИГАХ	349
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	355
НАША АНКЕТА	
«Все, что я делаю — связано с моим отношением к людям...». Беседу с Булатом О к у д ж а в о й ведет журналист Виталий Амурский	385

ИЗ КНИГИ «БЕЛЫЕ СТИХИ»

ЭВОЛЮЦИЯ

Был я садом, где мощные кроны пестреют
налитыми солнцем
тугими плодами.
Стал я складом, где сложены все мои годы и дни,
как дрова,
как сухие поленья.
Стал я адом, где сам я себе и Вергилий, и Дант,
и тот грешник последний,
снедаемый адским огнем,
запоздало лия покаянные слезы.
Такова в самых общих чертах эволюция
плоти моей и души,
ее фазы и метаморфозы.
От деревьев и кущ Гефсиманского сада,
от Райского сада
до черных котлов Вельзевулова ада
протянулась земная дорога моя,
Одиссея моя и моя Илиада.
Ты прости, Пенелопа, мои корабли сожжены,
мне едва ли добраться уже до родимой Итаки.
На развалинах Трои лежу недвижим
в ожиданье последней
ахейской атаки.
И покуда последний рожок надо мной не пропел,
и покуда последняя
длится осада —
все мне чудится, будто бы вновь шелестит
надо мною листва
Гефсиманского сада,
Эдемского сада,
того незабвенного сада.

Спасибо всем за всё —
спасибо вам и вам,
радевшим обо мне
и мной повелевавшим,
хотя при всем при том
я думаю, что я
не злоупотребил
гостеприимством вашим.

Осталось всё про всё
почти что ничего.
Прощальный свет звезды
немыслимо далекой.
Почти что ничего,
всего-то пустяки —
немного помолчать,
присев перед дорогой.

Спасибо всем за всё,
я вас не задержу,
да-да, я уйду,
счастливо оставаться,
хотя, признаться, я
и не предполагал,
что с вами будет мне
так трудно расставаться.

ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий Давыдович родился в 1922 году в Киеве. Начал печататься во время войны во фронтовых газетах, первый сборник стихотворений выпустил в 1948 году, в 1957-м окончил Высшие литературные курсы. Член Союза писателей СССР, автор ряда поэтических сборников.

КОМАНДИРОВКА

(Подражание Э.Т.А.Гофману)

Гораций, много в мире есть того,
Что вашей философии не снилось...

Шекспир. «Гамлет»

Петр Никодимович Африканов был человеком демократичным. Любил он соленую шутку в тесном мужском кругу, галантное обращение с дамами, пусть даже по службе и подчиненными. Нередко его седой бобр и круглое уютное брюшко возглавляли скромные семейные торжества, разные там дни рождения, а с недавнего времени и крестины, случавшиеся в кругу подведомственных сослуживцев. Дело, ему порученное, вел он спокойно, без крика: как-то так само вроде бы получалось, что его распоряжения безропотно исполнялись, ну, скажем, по традиционному в развитом нашем обществе уважению к начальством поставленному начальству.

А был он начальником, если смотреть на дело государственному, не очень уж крупного, что ль, полета. Короче, возглавлял филиал. Филиал фирмы весьма солидной, что легко заключить как из длины, так и неудобнопроизносимости ее названия, которое мы, в личных видах, все-таки приведем полностью: ИНТЯЖМАШ-ЭКСПОРТКУРОРТТОРГ. Задачею филиала было: организовывать и контролировать некоторые договорные обязательства, размещать от имени фирмы довольно крупные подчас заказы, которые могли быть выполнены только в нашем обширном промышленном регионе. Если читателя еще не стошнило от канцеляризма, то, ручаюсь, не стошнит и в дальнейшем, ибо по мере нашего продвижения к завершению их будет все меньше и меньше. И дабы, как говорится, «сменить пластинку»,

я перенесу читателя в более приятные, что ли, сферы, верней, обстоятельства, в которых действуют герои нашей удивительной повести, что, отвлекая от канцелярщины, все же позволит публике познакомиться его как с самим Африкановым, так и кое с кем из отечески опекаемых его сослуживцев.

Стояла середина июля. Весна в том году несколько подзадержалась, и тополя только что отцвели, сбросив пух в обширную вереницу прудов Центрального парка культуры и отдыха, зеркала коих, впрочем, были уже чисты, ибо легкий приморский бриз (если, конечно, позволено питерский сквозняк назвать бризом, а Маркизову лужу — морем) сдул упомянутый пух к берегам в виде коричневых плотных валиков.

И вот из-за острова, украшенного белоколонной беседкой, кокетливо глядящей через разно зеленеющие кусты, на стрежень, что называется, выплывает широкая шестиместная лодка. Женский смех мешается со скрипом уключин и плеском весла, сообщая о приподнятом настроении, овладевшем гребцами и пассажирами прогулочного суденышка. На корме, у руля, восседает, естественно, сам Петр Никодимович, или попросту Африканыч, как называют его за глаза почтительно сослуживцы и как для краткости и энергии выражения будем называть его и мы с вами. Стоит что-то около трех часов дня, то есть время, по идее, рабочее. В чем же секрет столь неурочной прогулки?

Секрет открывается очень просто. Не будучи педантом по своему житейскому складу, Африканыч учел, что время сейчас стоит летнее, междунедельное, многие учреждения разлетелись по отпускам, и не будет большого греха, если объявит он на сей раз День здоровья. Их филиал размещался на берегу Малой Невки, недалеко от ЦПКиО. Вот и решил он устроить прогулку по нарядным в густеющей и прекрасной листве островам.

Прогулявшись как следует, украсив смешанное филиальское общество приличною к случаю беседой о до-

стоинствах жизни вообще и современной в особенности, он распустил желающих по домам, а сам в кругу наиболее близких лиц уселся у правила прогулочной лодки. Остальные: Колендаров, Нефедова, Тронский, Бабурин и Тихвинцев — разместились в следующем порядке: Тронский с Бабуриным на веслах, поближе к корме. Колендаров и Тихвинцев на веслах, спереди. Людочка Нефедова, немалой красоты и к тому же молоденькая секретарша Африканыча, сидела на маленькой дощечке у носа, в изрядно изящной позе, вся воздушная и прекрасная, обвевая гребцов преприятнейшим женским запахом, в меру крепким, но неизбежным в силу довольно жаркого еще дня.

Надо сказать, что Ванюша Тихвинцев, старший техник-проектировщик производственного отдела, попал на галеру почти случайно. Приближенным Африканыча он отнюдь не был, и его присутствие можно было объяснить исключительно его личной инициативой, залогом которой была... впрочем, не стоит забегать вперед, скоро сами всё узнаете. Во всяком случае, когда он сунулся в лодку, Африканыч удивленно на него поглядел, но, будучи человеком испытанного такта, не сказал поперек ни слова.

В чем же секрет вспыхнувшего и мгновенно погашенного неудовольствия в глазах достойного старика? Может быть, Тихвинцев был нерадивым работником? Иль наглцом, что так, увы, распространено среди представителей его еще весьма незрелого возраста? Нет, заверяю вас честным словом. Вел он себя прилично и скромно, одевался довольно просто (что и месячному окладу его вполне соответствовало). Но иногда наплывала на него этакая меланхолия, этакий необъяснимый и томный порыв, когда он, даже вдруг в учрежденческой курилке, сыпал о чем-нибудь невпопад: де, мол, может быть, все это, нас окружающее, только лишь КАЖЕТСЯ? И вот столетник на подоконнике, изрядно общипанный по случаю сезонных ангин, вовсе и не столетник, а совсем другое чего-нибудь? И-де, если взглянуть с ДРУГОЙ

СТОРОНЫ, то мы и родную мать не узнаем, не то что Артура или там Людочку?

Все эти нездоровые настроения, выражаемые словесно, долетали и до чутких ушей Африканыча. Известен был ему и тот факт, тактично от подчиненных скрываемый, что когда-то, еще до поступления в филиал, Ванюша Тихвинцев находился на излечении в нервной клинике. Одним словом, было из-за чего относиться к нему несколько настороженно. Но что особенно раздражало хорошего старика, так это то неумеренное и довольно тщетно скрываемое обожание, с которым Тихвинцев относился к личной его секретарше, прелестной Нефедовой Людочке.

И не так, чтобы отменный старец сам имел на нее какие-нибудь виды, — ни-ни! Не тот это был человек! Но по неписаному закону учреждений, где и автор прослужил немалое время, самые, что ль, красивенькие доставались обычно самым инициативным и многообещающим, горластым руководителям среднего звена, метящим в высшее. Иногда, впрочем, и какой-нибудь «варяг», спущенный сверху, эдакий берсеркер, ухватывал зазевавшуюся сабинянку и отваливал выше, куда-нибудь в республиканское министерство. Все это было как-то по уму, как-то логично. Но обнаруживать свое незрелое и заведомо безответное чувство, нарушая привычный ритм сложившихся отношений и нервируя окружающих, — это нонсенс! Так рассуждал Африканыч, все же и жалость какую-то испытывая к размечтавшемуся юнцу, возможно, еще не вполне и половозрелому. Помнил он, Африканов, и свою, отнюдь не безгрешную юность, тем более что в те времена, когда она протекала, и грешить-то было как-то не принято, из-за чего ему неоднократно и ого-го еще как попадало.

— Яволь! — сказал вдруг Артур Кокчаевич Колендаров. — Гуд дей гаранти!

Все несколько удивленно на него посмотрели, но, глядя на его мускулистую статную фигуру, сжимавшую комель весла плотно привинченными руками, на выра-

жение довольного и несомненного превосходства, украшавшее его свежее волевое лицо, как-то не нашлись что ответить. Тут, впрочем, автор допустил некоторую неточность. Лицо его мог оценить по достоинству один Африканыч. Остальные видели в эту минуту лишь его стройную спину, но интонации, да и вся повадка Артура были им столь хорошо знакомы, что эффект получился вышеописанный.

— Это вы правы! — откликнулся Африканыч, улыбаясь почти непринужденно. — Денек-то и впрямь претличнейший! А вы как находите, Людочка?

— Жара-то не климатит! — сказала Людочка неожиданно низким голосом, томно потупив свои прекрасные карие очи. — Оделась чересчур тепло, аж и вспотела! Макнуться бы...

— Вы что, хотите купаться? — галантно-иронически откликнулся Африканыч. — Валяйте, мы отвернемся...

— Не тот вариант, я ж объясняю, — капризно ответила Людочка. — Вечно вы, Петр Никодимович, недопонимаете...

Африканов, конечно, мог бы обидеться. Но он ценил в этой донюшке именно ее грандиозную глупость, очень удобную, как ни странно, среди его многосложных дел. Тем более, что она коренилась в столь привлекательной оболочке. Поэтому он спускал ей буквально все.

— Вот и прошлись бы вечером, прогулялись и освежились, — сказал он, улыбаясь еще приятнее. — Думаю, и Артур Кокчаевич не отказался бы вам сопутствовать...

— О'кэй! — сказал Колендаров и, обернувшись, хлопнул Нефедову по невзначай заголившейся коленке. — Вис из бьютифул фройляйн! — При этом он, совершенно того не желая, а просто и не заметив соседа, довольно ощутительно толкнул Тихвинцева локтем в бок. Ваня, всегда смиренный, вскипел от такой двойной наглости или, вернее, от того, что казалось наглостью его ранимой душе.

— Послушайте вы, щелкунчик! — сказал он Артуру, бледнея и задыхаясь. — Если вы позволите себе еще что-нибудь в том же роде, то я вас... зарезу!

Ссора была настолько нелепой и вспыхнула так внезапно, что зрители не знали, как и отреагировать в данном случае. Ванюша, неоднократно замечавший попытки Африканыча соединить Колендарова со своей секретаршей, потому и вскипел столь быстро. Один Колендаров сохранил присутствие духа.

— О, мафиози? — ответил он, широко и приятельски улыбаясь. — Вендетта? Секир-башка?

— Йес, ай ду! — воскликнул совсем уже потерявший голову от вражьей невозмутимости или того, что ему казалось оною, наш герой Ваня. После этого он что было сил толкнул Колендарова в бок, стремясь сбросить его в воду. Тот даже не шелохнулся. В следующий миг Ваня почувствовал, что летит, и, нелепо взмахнув руками, бултыхнулся в широко рассевающую под ним воду.

— Ах, зелено-золотистые змейки! — сказал он солнечным струям, разбегавшимся от него по воде. — Ах, — сказал он, тоскуя, — где-то я уже видел вас... — После этого он стал тонуть.

Пока он хватал ртом уходящий от него воздух, в лодке произошло вот что. От сильного толчка Колендарова она накренилась, и из нее выпала Людочка, сидевшая и без того в довольно неустойчивой позе. Вынырнув, она мгновенно обрела присутствие духа. Вода показалась ей очень приятной после жары. Она уже собиралась запеть какую-то популярную песенку и всем милостиво улыбнуться, как вдруг ее огрел по голове увесистый спасательный круг, метко брошенный Колендаровым.

— Дураки! — закричала она в сердцах и повернула к берегу. Тут-то она и заметила Ваню Тихвинцева, судорожно молотившего по воде руками и явно тонущего. Она подплыла к нему и по всем правилам спасательных работ ловко отбила цеплявшиеся за нее руки, потом схватила утопающего за шиворот и, будучи пловчихой взрослого второго разряда, умело погребла к

берегу, увлекая за собой вдруг обмякшее ванюшино тело.

На берегу, поросшем мягкой травой, она стала делать ему искусственное дыхание, вдыхая утоплуму в рот живительный воздух, широко набираемый ее полной и вольной грудью. Так и очнулся Ванюша — уста к устам. Он подумал, что умер и пребывает в раю, ибо где же еще столь ценимый им объект жизни мог приникнуть к его устам, но потом ощутил, что одежда его насквозь мокрая, чего в раю не бывает, и горячее тело девушки, тесно к нему приникшее, обладает довольно-таки плотной тяжестью. Он застыдился своей ненарошной близости.

— Люда, я жив... — едва слышно прошептал он.

— Жив? — повторила красавица, поднимаясь во весь свой рост. — Ну и зайныка. — И, увидев к берегу подгребавшую лодку, молвила, сурово насупив черные брови: — Вставай! Проводишь меня до дому!

Ваня неловко поднялся с травы, держась на ногах не совсем уж твердо. Людочка подхватила его под руку и, не оглядываясь, повлекла в легкую зеленую тьму садовых аллей, не обращая внимания на крики, несшиеся с лодки, приставшей к берегу. Видимо, было в ее движениях нечто столь уж решительное, что никто не осмелился догнать ее, а тем паче удерживать.

Вскоре оба почувствовали, что слегка замерзают. Солнце клонилось к закату, и, как всегда в эту пору дня, в это прощальное время суток, небо вдруг засветилось особенною, нездешнею голубизной, и розовые, косо подсвеченные облака стали чертить на нем свои фантастические узоры. — Ты тварь дрожащая! — как бы говорили они дольнему жителю; и вправду, Ваня и Людочка слегка уже задрожали.

— Надо отжаться! — решительно молвила Людочка. — А не то перемерзнем! — Они отыскивали какой-то незапертый сарай для носилок, метел и прочего садового инвентаря и, по очереди охраняя друг друга у входа, стали по-быстрому отжимать воду из набрякшей одежды. Когда Ванюша, весь измятый и перепачканный зе-

ленной травой, в сыроватом еще одеянии вышел из укрытия, он увидел, что Людочка уже с кем-то оживленно беседует. Это был пожилой зарубежный мажор с неизменным «кодаком» через плечо, с лысым, будто и полированным черепом, плотно сидевшим на коротковатом и мощном теле.

— Гюнтер Макклопски! — широко улыбнулся незнакомец и протянул насупленному Ванюше свою мясистую длань. Ваня представился сдержанно, без улыбки.

— А я сюда, знаете, бизнесменов привез! — непридуманно сообщил иностранец. — Акул капитализма! — Он подмигнул им обоим и коротко хохотнул. — Сам-то я переводчик — по-вашему, по-московитски, шпарю почище иного вотяка. Чувствуете?

Ваня и Людочка промолчали. Людочка, впрочем, сочла нужным покровительственно улыбнуться.

— А вы что такие мокрые да растрепанные? — ничуть не смутившись, спросил Макклопски. — Купались в одежде? И правильно. У нас это нынче в моде.

— Из лодки мы выпали! — сурово сказала Людочка. — Дурак Артур нас толкнул.

— Уж не Артур ли Кокчаевич Колендаров? — глаза иностранца вдруг загорелись неподдельным и острым интересом. — Наслышан, наслышан...

— Он самый! — ответила Людочка. — Вообще-то он ничего, даже можно сказать зайныка. Но сегодня выступил не по делу.

— Ну вот, мы и общих знакомых с вами... как это.. обнадружили! — обрадовался Гюнтер Макклопски. — Надо бы это дело отметить. Тем паче, что, как я погляжу, у дамы зуб на зуб... О! Есть идея! Тут ведь кабак неподалеку. Пропустим по рюмочке, разогреемся... Ну что, рискнем?

— Пожалуй что можно... — нерешительно молвила Нефедова. — А то и вправду простудишься ненароком...

Настроение у Ивана все больше и больше портилось. До полочки у него оставалась всего лишь мокрая

трешка, а платить за себя какому-то иностранному проходимцу он позволить не мог. Да еще лестное упоминание об Артуре со стороны Людочки... Ах, Колендаров, невежа и донжуан! Он плелся рядом с оживленно болтавшей парочкой, угрюмо вспоминая своего супостата.

Артур Кокчаевич Колендаров был и в самом деле личностью на учрежденческом фоне весьма примечательной. Одевался он по нынешнему стандарту щеголевато. Да и как же иначе, если то и дело его посылали в командировки по всем странам подлунного мира. Тем более, что знал он абсолютно все иностранные языки, от словацкого до суахили. Всегда сдержанный, подтянутый, гладко побритый, он производил впечатление крайней мужественности. О его памяти и вообще деловых качествах ходили легенды. Колендарова побаивался даже сам Африканыч, формально его руководитель. Замечали, что к Колендарову в филиал частенько наезжают суровые полковники пожарной охраны и надолго запираются с ним в кабинете Африканыча, предоставляемом хозяином с ангельскою улыбкой. Случалось это обычно перед отправлением Колендарова в очередную заграничную командировку.

Было в нем качество, уж совсем пугавшее сослуживцев. Стоило кому-нибудь из них хоть чуточку досадить Колендарову, как тотчас же у него обнаруживалось крупное упущение по службе. И не то чтобы это кто-нибудь специально подстраивал. Упущения были реальные, случались по вине самих наказуемых, и только неотвратимая связь их с неудовольствием Колендарова, к существу дела совершенно не относившимся, придавали всему случившемуся весьма зловещий оттенок. «Эффект Колендарова» — так назвал это загадочное явление кто-то из учрежденческих остряков.

В ресторане бывшего паркового курзала было пусто и тихо. Мужская прислуга, официанты, сгрудились за одним столиком у окна и от скуки играли в шмен. Особенного азарта не замечалось, так что довольно скоро, минут через десять после их прихода, к посетителям по-

дошел стройный, гладко причесанный официант в белой форменной куртке. — Что будем заказывать? — спросил он дежурным голосом. Он отлично видел отнюдь не ресторанное одеяние нашей парочки, но посетителей в этот час практически не было, да и сидели они с «фирмой», что отчасти гарантировало их платежеспособность, так что он не стал особенно придираться, только окинул их тусклым взглядом.

Макклопски долго изучал предложенную ему карту.

— Тэк-с... — сказал он задумчиво. — Нам бы икорки на всех... ну, бутылочку коньячку... горячего... табака, наверное...

— Табака не советую! — предупредительно осклабился официант. — Жестковаты. Берите лучше лангет.

— Ну что ж, лангеты — тоже хорошая еда. Да, и бутылку сухого, грузинского, если найдется!

— Найдем! — со значительной миною ответил официант.

Вскоре обстановка изрядно-таки разрядилась. Коньяк (рюмку которого, по настоянию их поильца, выпила и Нефедова Людочка) согрел их, развязал языки, и вскоре Ванюша уже что-то оживленно рассказывал про сравнительные достоинства спичечных этикеток, коих с детства он был страстным коллекционером. Потом разговор, кажется, по вине иностранца, снова перескочил на Артура, но даже это не испортило Тихвинцеву настроение. — Да что мне Артур и его пожарные! — бодро, даже пожалуй что слишком бодро воскликнул он. — Да я их всех одной левой!

— Какие еще пожарные? — приблизил Макклопски к нему свое налитое кровью, но видно, что тщательно ухоженное лицо. Он глядел на нашего героя пристальным, завораживающим взглядом.

— Какие? Да вот какие! С полковничьими погонями! Подумаешь, тоже мне стратег! — Он еще долго ругал Колендарова за его деланный дендизм, за одиночество в личной и общественной жизни, за спекуляцию

иностранным шмотьем, которым Артур, по его мнению, походя приторговывает.

Макклопски почти не перебивал, только поглядывал на свой «кодак», небрежно брошенный на стол в самом начале беседы. Людочка начала уже дуться, что на нее так мало обращают внимания. Макклопски быстро оценил ее состояние. — Ах, Людочка! — умильно улыбнулся переводчик. — Вы, кажется, заскучали! Но ведь всему виной наш интересный знакомец, Артур Кокчаевич... Он, кажется, приходится вам женишкой?

— Ерунда! — гордо ответила Людочка. — Это Африканыч меня ему подсовывает, а я еще подумаю, не такая уж я дураха!

— Напротив! — заулыбался Макклопски. — Вы производите впечатление человека весьма содержательного... И платьице ваше — уже подсохло, и видно, что сшито с природным вкусом... Так что я и сам бы не отказался хоть сегодня сделать вам предложение и руки своей, и своего сердца, да вот жалко у нас, католиков, два раза не женятся. Рутину, знаете ли... Да-да, самая настоящая рутина на фоне технологического прогресса...

— На Нефедовой и здесь, знаете, будет кому жениться! — насупился Тихвинцев. Он уже изрядно опьянел, и его природная скромность куда-то исчезла. — Вы, иностранцы, ей настоящей цены не знаете! А Людочка — идеал! Точь-в-точь — идеал! Такая нежная, женственная и сильная... У нас на филиале все по ней сохнут. Да!

— А разве я возражаю? — усмехнулся Макклопски несколько пренебрежительно. — Все так и есть, как вы говорите! И даже лучше. — Тут улыбка сползла с его лица, и он сказал с извиняющейся миной: — Кстати, мне надо выйти. Ну, знаете, дело житейское... Вы меня понимаете? Я скоро...

Гюнтер бодрым пластическим шагом вышел из зала и свернул в туалет. Там он заперся в укромной кабинке, открыл чехол своего аппарата, незаметно снятого со стола, и вынул оттуда портативный магнитофон. Остановив его, он достал кассету, зарядил новую, закрыл

чехол, вышел из туалета и направился сквозь стеклянную дверь в легкую синюю полумглу июльского вечера, поглощавшую все связные очертания, да вскоре и его начисто поглотившего.

Официант быстро почувствовал неувязку и подошел за расчетом.

— С вас тридцать восемь, — процедил он сквозь зубы. — Да побыстрее, мы перед вечером закрываемся...

— Простите, но за нас наш гость обещал рассчитаться... Сейчас он вернется! — возмущенно парировала Людочка.

— Вернется, держи карман... Его уж и след простыл! Я ведь не из ленивых — обшмонал и прихожую, и туалет...

— Значит, он вышел по делу! Не мог же он так вот уйти, не сказавшись, — насупленно молвил Ваня. Недавнее оживление сошло с него начисто.

— Меньше слов, больше дела. Вернется иль нет, рассчитывайтесь, да поживее...

— Может быть, вам паспорт в залог оставить? А деньги мы потом принесем, — с натянутой улыбкой, мигая, спросила потерявшаяся Людочка.

— Не надо меня парафинить, детка! — отпарировал официант. — Эй, Коля, Игорь, идите-ка сюда! Дело есть!

— Ну что, бить будем или с ляльки натурой требуем? — нехорошо улыбаясь, спросил официант своих соратников. Только Ванина невинность, не позволившая ему понять наглый смысл фразы, отпущенной в людошкин адрес, спасла его от долженствующего вспыхнуть гнева и тем самым от реального шанса пасть смертью храбрых.

— Вот что! — сказала Людочка. — Я оставлю его, — тут она кивнула в сторону Тихвинцева, — под залог, а сама сбегаю домой, за деньгами. Ладно, мальчики?

Они снова улыбались, почти игриво. Наглая фраза официанта почему-то вернула ей присутствие духа.

— Отпусти ее, Тоша, — сказал Игорь, лениво почесывая толстую шею. — А не вернется, мы пациента... опетушим! — закончил он громко и расхохотался.

— Ладно, иди, девочка... только — ненадолго. Даю тебе час на все и про все. Торопись, спасай ухажера! — И он иронически усмехнулся.

Опустим завесу жалости над прошедшим далее часом. Очень нехорошо было Ванюше, очень погано. И в пучине своего нравственного унижения он поклялся когда-нибудь отыскать гнусного иностранца и серьезно с ним посчитаться...

Уже изрядно стемнело, когда он провожал Людочку среди романтической полумглы островов. Пахло растопленным варом, немного дымом, травой и тиной. Невольное очарование питерского неброского лета проникало в душу, обволакивая ее мягкой задумчивой пленой. Стукот буксиров и редкие вскрики чаек, лимонные огоньки на реке весьма тому способствовали. В юности душевные раны заволакиваются очень быстро, и Тихвинцев даже не понял, насколько неуместен был в данных обстоятельствах затеянный им разговор. Начал он, как ему казалось, издалека.

— А я собираюсь на стену ковер повесить... — негромко сказал он. — С самой маминой смерти он у меня в чулане лежит. А теперь — достану, думаю, так оно уютнее будет.

Людочка ничего не ответила, только улыбнулась, пожалуй, слегка иронически.

— Уютно же будет! — снова сказал Ванюша, — да и комната у меня большая и светлая. Только одному в ней как-то не совсем приятно, что ли...

— А ты бы женился, — вставила Людочка, сразу понявшая, куда ветер дует.

— Вот и я говорю. Иди за меня замуж, Людочка, милая, а? Я для тебя чего хочешь сделаю!

— Ну что ты, миленький! Нет, ты не думай, я тебя, хоть ты и пацан, уважаю. Ты у нас благородный сэръ Ланцелот Озерный. Это я у Марка Твена вычитала. Так

ты вроде него — такой же смелый и чистый. Только молод уж очень, и денег заработать еще не умеешь, и все тебя унижают. Значит, и меня будут унижать, за компанию. Вон, посмотри, Кокчаич — во все западное одет. И мне обещал джинсы, фирмы Страус. И не за что-нибудь, просто так. Ну, по госцене то есть. А ты меня, красивую, как оденешь? Жизнь ведь, Ванюша, только одна. А я ведь кой-чего стою, любой тебе скажет. Ну что я за бедненького пойду? Это будет невыгодно. Меня ж весь отдел осудит, и все подруги. Ну, ты даешь! — скажут. А человек ты хороший. С тобою, наверное, жить — это отдых...

— Нет! Ты не понимаешь! Я все для тебя сделаю! И денег достану! В три смены работать буду! Я же люблю тебя! — воскликнул Ваня.

— Ладно, родной, не тренди. Давай попросту договоримся. Вот достань мне царские черевички, обувь то есть импортную, «казачок». Не то чтобы я тут же за тебя и пошла после этого, но относиться стану серьезнее. Только хороших фирмовых сапог и летом-то днем и с огнем не сыщешь... Да и стоят они ого-го! Вот докажи, а там видно будет. Это я при всем хорошем к тебе отношении. Так и пойми.

— Ладно! Будут тебе сапоги! — закричал Ваня, поскольку был он уже вне себя. — Только очень уж ты... — он не договорил.

— Я не настаиваю, Ваня, как хочешь, — тихо сказала Нефедова. — Только — мужик должен достать, иначе он не мужик. И не в корысти тут дело, пойми меня. А в твоей же собственной гожести. Так меня и пойми, — повторила она. — Ну, я дома.

.....

Долго в ту ночь метался Тихвинцев по приречным питерским улочкам. Прежнее нервное состояние, которое лечил он в больнице, им овладело. — Ах, она только о сапогах думает, а вовсе и не о человеке! — восклицал он, сам понимая несправедливость своих упреков. Где

же достать его, этот дефицитный товар? Кажется, вот достал бы, а там хоть и черту бы душу отдал!

— Идет! — вдруг услышал он гулкий мужской бас из-за поворота. — Годится! Ха-ха-ха! — смех настолько жуткий, что он содрогнулся. — Пьяный там, что ли? — подумал он. Добежал до угла, бросился в переулочек и, обогнув телефонную будку с обкрошенными стеклами, остановился. В переулочке никого не было. И тут он почувствовал, что с его головой что-то делается...

* * *

В мертвенном, белом свечении крупных ночных ламп вознеслась над окрестностью дюралева эстакада. Впрочем, может быть, не дюралева, а плюралистическая или, в своей основе, стальная — труд было в этом новичку разобраться. А он, то есть новичок, человек, — бежал что было мочи, и его одинокий движущийся силуэт четко вырисовывался на фоне черного неба, и только ноги терялись в пышных кронах бугенвиллеи, росшей понизу, из оврага. Дыхание беглеца было хриплым — его уж измучил этот затянувшийся марафон. Бегущий давно уже понял свою ошибку — свернуть ему было некуда, а бежать в освещенном пространстве оставалось еще с добрых полкилометра. Ветер — душный, насыщенный запахом цветущих деревьев — не освежал его бурно вздымающейся груди.

Он скорее почувствовал, чем услышал легкий ритмичный треск у себя над головой, в ночном небе, и, запрокинув лицо, увидел два рубиновых огонька, два ярких глаза, следивших за ним из враждебной пустоты неба. Потом огоньки разошлись — один остановился у него за плечами, а другой полетел вперед, по ходу его движения, словно искра невидимого костра, несомая ветром. Вскоре прямо по курсу вплыл в освещенное полотно эстакады маленький вертолет. Беглец понял, что это — погоня. А из вертолета по легкой веревочной лесенке сигнали вниз трое дюжих молодцев — в рубашках защитного цвета, джинсах и тапочках, нелепо смотревшихся на их ко-

лоннообразных ногах, с короткими автоматами наперевес.

Беглец развернулся и пустился в обратную сторону, но и там, прямо на белом пунктире автомобильной разметки, стоял точно такой же стальной зверок — стрекоза, слепо тарашившая на него свои стеклянные очи. От нее веером расходились трое точно таких же камрадос — или командос — черт его знает, только он понял, что дело его — труба. Он вытащил пистолет и, дрожащей рукой направив его в сторону преследователей, не целясь (даже, между нами, и глаза-то прижмурив) — нажал на спуск. Раздался легкий щелчок, но выстрела не последовало, ибо он забыл что-то там проделать с маленьким стальным механизмом — то ли дослать патрон, то ли вставить обойму — трудно сказать — издали ведь не увидишь. С той стороны, в которую он стрелял, раздалась сухая короткая очередь, он почувствовал удар в низ живота и рухнул, скошенный меткой вражеской пулей...

По веревочной лестнице, не торопясь, спустился плотный немолодой джентльмен в безупречном белом костюме и мокасинах. Его лысина блестела в свете ночных фонарей, словно бильярдный шар, бросая подчас фиолетовые отсветы на белоснежные плечи сошедшего, чему виною был мертвенный свет ночных лампионов. Сойдя, он неторопливо достал из внутреннего кармана большой портсигар телячьей кожи, украшенный затейливой, тисненою золотом монограммой, вынул оттуда манильскую сигару и закурил. Движения его были точно рассчитаны, чувствовался глубокий тренаж в этом немолодом уже теле. Подойдя к поверженному, окруженному великолепной шестеркой, которая расступилась перед начальством, он мягчайшим носком своего супермодного башмака повернул голову лежащего так, что лицо его стало обрито синюшным фонарным светом.

— Славно поработали, мальшики, — сказал он, не выпуская изо рта ароматно дымящей сигары. — Это тот, что нам нужен. Грузите.

Гиганты в тапочках, весело перешучиваясь, подхватили бесчувственное тело и повлекли его в один из стоявших неподалеку и тихо трещавших на холостом ходу вертолетов. Вдруг издалека раздался гул воющих моторов и тонкий вой полицейской сирены.

— Патруль, джентльмены! Пора отваливать! — спокойно сказал старый щеголь. — Встречаемся в квадрате 16 ДИ-СИ!

И минуты не прошло, как вертолеты поднялись в воздух и разлетелись в разные стороны, вбирая на лету добрых молодцев, повисших на веревочных лестницах. Вскоре в темном ночном небе были видны только разлетающиеся в разные стороны рубиновые огоньки, которые удалялись и таяли, пока совсем не пропали среди частых звезд.

Лейтенант полиции Джимми Кракауэр, совершавший обычный патрульный объезд своего участка, сказал по радио своему напарнику сержанту Филипу Мванги, ехавшему за ним в полицейском форде, когда они проскочили эстакаду: — Ну, кажется, Фил, все в порядке. Сегодня без происшествий. А то эти проклятые черножопые вечно грабят проезжих на этой вонючей эстакаде!

— Но-но, вы не очень-то, сэр, насчет черномазых! — ответил сержант, вытирая пот левой, свободной, иссиня-фиолетовой рукой.

— Кончай заводиться, малыш! — ответил ему лейтенант. — Не каждое лыко в строку! Видит Бог, я не расист...

* * *

Людочка Нефедова долго не могла уснуть в ту летнюю ночь, когда Тихвинцев провожал ее до дому. Первым делом она сняла сыроватые туфли и надела мягкие и теплые домашние тапочки, переделалась в мягкий махровый халат, приятно согретый ее, и поставила чайник.

И вот, распивая душистый индийский чай и поглядывая в окошко, где шумели частыми глубокими кро-

нами дворовые уютные тополя, она задумалась. А задумавшись, размечталась.

— Не такая уж я и дура! — думала Людочка. — Все они, мужики, однобоко смотрят на жизнь. Всем им кажется, что такая дура, как Нефедова, клонет на попсо-вые тряпки. Или, там, на материальное положение. А я-то умнее смотрю на вещи... Вот тот же Тронский... Любите меня, говорит, и я вас озолочу! А сам, лицемер, женатый, детей у него... И на что нужны мне нэпманские бриллианты (которых у него, говорят, куры не клевали — пришлось по наследству)? Сам-то он слюнявый, гунявый, гугливый... Или Бабурин. Чурбак — чурбаком! Или этот мраморный гусь, Колендаров... Холодом веет от него, нежитью. Даром, что сам такой... импортыга! Впрочем, Артурчик-то мальчик хоть куда! С ним по Невскому пройтись — удовольствие. Все бы от зависти так и заперхали!

Ну, а все же Ванечка-то, Ванюша — их лучше. Да-да! Все бы сказали — ой, и зеленый, сам и себя не знает, ой и заплачешься! А я-то его лучше его самого знаю — сердце-то у него золотое... Ну и что, что бедняк! Вырастет — поумнеет, зарабатывать станет, семью вести... Ведь на филиале свет клином-то еще не сошелся! Мало ли есть блатных работенок? Да... А я-то с ним круто, мол, достань да купи, там посмотрим... Можно сказать, нетактично. Ну, ничего — больше любить будет! И проживем мы с ним — как голубки. Он с работы придет, а у меня уже обед на столе. Ну, там, грибки, борщ, антрекоты с картошкой жареной... А в субботу еще и маленькая... Поест он, хороший, обнимет меня за плечо, поцелует, поощрит за заботу и скажет: — А не посмотреть ли нам, моя лапушка, цветной телевизор? Сегодня вроде фильм детективный про ихнюю хренову границу...

А потом я чего-нибудь штопать сяду в креслице под торшером, а он очки на нос нацепит и станет уроки проверять у детей наших, мальчика и девочки школьного возраста... А проверив, кого пожурит, а кого и шлепнет,

не больно, конечно, а так, для остротки... А потом, уложив детей, сам зевнет и потянется, да и скажет: — А не пора ли нам, Людмила, на боковую? И тут я разденусь, ну, накручусь сначала, конечно, не ходить же халдой, голову полотенцем обмотаю и к нему, под одеяло. А он меня обнимет так нежно и скажет: — Одна ты у меня, Нефедова, единственная, на всем белом свете! И что мне там суд скорый и неправедный, или там правила движения пешеходов, или просто злой человек, тьма и мор, если мы с тобой не распались, а существуем друг в друге, как плоть единая и потому, извини, святая...

А утром раненько встану, вскипячу чайник, кофе ему поднесу растворимый в синей фарфоровой чашке, по бритой щеке поглажу... Ну, да до этого еще далеко! — вздохнула она, невидящим, но прекрасным глазом уставившись в чашку с остывшим чаем. — Пока всё не так! Все они требуют — вижу, чтобы красивая я ходила, да приодетая! А с каких, извините, шишей? Сами платят мне сто рублей небольших, не растянешь. А поесть и попить тоже хочется — организм-то у меня, слава Тебе, Господи...

Вот так и крутишься, сама шьешь, сама вяжешь и все подешевле норовишь, а это мне, извините, уже вот так надоело... Ну, да уж ладно. — И она, оставив небубренные чайные принадлежности, еще раз глубоко вздохнула, погасила в комнате свет и легла спать...

Легла-то она легла, но где-то к концу ночи, когда бледнели от ранней зари оконные занавески, сразу проснулась. Ей показалось, что в зеркале платяного шкафа колеблется и поглядывает на нее мутными стеклыстыми глазами чье-то злое отражение. Она испуганно вперилась в призрачный прямоугольник, и будто бы отражение ей подмигнуло, одновременно угрожающе и ухарски. Ее рука сама потянулась к шнурочку — включить бра. Когда лампочка загорелась, никакого отражения в зеркале уже не было. Только слабое эфирное тело, не то вроде облачка или тончайшего мыльного шара, пролетело под потолком и уплыло сквозь оконное стек-

ло вон из комнаты. Испуг ее поначалу был силен, но вскоре прошел. — Померещилось, — беспечно подумала она. — Не зря говорят: чай на ночь — вредно. — Она долго лежала без сна, вперив в светлеющий потолок взгляд очень ясный, потому что бессмысленный. Взгляд замутняют отчетливые наши мысли или прямые движения души, а когда человек пребывает в безотчетном состоянии, то и глаза его высветляются, как у младенца. Впрочем, глядеть на это со стороны почему-то бывает жутко, ну как на спящего с открытыми глазами.

Она уже снова стала задремывать и снова проснулась вполне неожиданно и безотчетно. На сей раз какие-то странные письма багровыми клиньями сверкали на потолке, белом и матовом, как бумага. В ее душе снова шевельнулся неясный испуг, но тут она и сама поняла, что пугаться нечего, а надпись — вовсе не надпись, а багровые блики восходящего солнца, пропущенные сквозь листву законного тополя. Она потянулась рукой к будильнику, чтобы взять его и узнать время. Но маленькие часы почему-то стояли, хоть она и отлично помнила, что заводила их перед сном. Она встала, включила молчащее радио, на утреннюю побудку, снова легла. И вдруг ясная мысль пришла ей на ум. — Что-то, наверное, с Тихвинцевым неладно! — подумалось ей. — Впрочем, завтра узнаю... Положила голову на подушку и вдруг уснула, как мертвая.

* * *

Он лежал на дне круглой металлической шахты с блестящими стенами, на которые были нанесены до самого потолка непонятные деления, помеченные цифрами и незнакомыми буквами. Потолок представлял собой гладкий металлический круг со слегка мерцавшими концентрическими следами, оставшимися от шлифовальной обработки. Неподалеку над ним был утоплен в стену некий источник света, дававший мрачный багровый свет. Лежал он на небрежно брошенной на круглый полированный пол подстилке из поролона. Сознание еще не вер-

нулось к нему, и слабые стоны, им издаваемые, легкие шевеления рук и ног были чисто рефлекторными. Впрочем, вскоре он стал приходить в себя.

Он застонал и приподнялся на локтях. — Где это я? — в страхе подумал он. Но тут схватывающая боль ниже пояса настолько обострилась, что он со стоном опустил-ся навзничь на свою поролоновую подстилку и начал бредить. С удивительной и реальной силой примерещился ему странный день отъезда в командировку. В тот день Ваня Тихвинцев (а это был, несомненно, он) пришел на работу расстроенный. Вчерашнее купанье, унижительное приключение в ресторане, печальный для него разговор с Людочкой сильно огорчили его, так что он чувствовал себя явно не в своей тарелке. То, редко посещавшее его ощущение, что если поглядеть с ДРУГОЙ СТОРОНЫ, то мы ничего привычного не узнаем, опять его мучило. — Чем нарываться на грех, лучше возьму отгул! — думал он по дороге в филиал. Мысли его, впрочем, путались. Тоскуя, прошел он в свою рабочую комнату, делимую им с Бабуриным, с которым, несмотря на свою природную вежливость, он на сей раз едва поздоровался, и, обхватив голову руками, тупо уставился в черное табло маленького счетно-решающего устройства.

— Тихвинцев, к Африканову! — заглянул в его комнату язвительный Тронский. — Вы что, не слышите? Третий раз вам повторяю!

— Ну, поехало... — подумал Ванюша, и сердце его томительно задрожало. — Сейчас возьмут в оборот... Лучше бы я по телефону отпросился.

Петр Никодимович, как ни странно, встретил его с нежнейшей, прямо-таки родительской улыбкой. Он вышел из-за стола, оставив на его блестящей поверхности свои тяжелые, двояковыпуклые очки и, по-стариковски щурясь и потирая руки, подошел к Ване. Обняв его за плечи, проводил к своему столу и усадил в скользящее, обитое неудобным пластиком кресло.

— Как вы, юноша мой дорогой? — спросил он, ласково усмехаясь. — Не простудились вчера? А впрочем,

купание для молодого — это ведь в пользу, не правда ли? Хе-хе-хе... Ну, и не обижайтесь, я пошутил. В годы молодые на все смотришь слишком трагически. А на самом деле — чистый пустяк. Вот, помнится, в тысяча девятьсот... ну, точно не помню в каком году, подходит ко мне оперуполномоченный. Представляете, такая панاما... Да-с. И говорит эдак грозно и вызывающе...

Старик любил поболтать. Все знали за ним эту слабость и охотно прощали ему. Тем паче, что болтливость на него нападала обычно в силу какого-нибудь приятного поощрения, на которые, надо сказать, Петр Никодимович был скупенек, и как бы оттягивал, и в то же время искусственно подготавливал эффект начальственной ласки, что, несмотря на знакомство коллектива с такою его манерой, было столь всегда неожиданно, что доводило подчиненных до восторга чуть ли не мистического.

— Ну вот, видите, а я-то думал, что... Хе-хе-хе. Так-то вот... Молодость... Так что вы на Артура Кокчаевича не обижайтесь, я уж и пожурил его по-отечески...

Тут Тихвинцев понял, что Петр Никодимович нагло врет, но от замечаний недоверчивых воздержался, что Африканову чрезвычайно понравилось. Он совсем уже развеселился и не стал более тянуть резину.

— А у меня для вас очень приятная новость! — сказал он. — На вас тут вызов пришел из одного капиталистического государства. И мы, посовещавшись, решили послать вас в заграничную командировку. Хоть человек вы в международных отношениях и неопытный, но мы полагаемся на ваш природный такт, на вашу, если хотите, благовоспитанность.

— Черевички! — пронеслось в сознании мгновенно просиявшего Вани. — Импортный «казачок»! Вот это удача!

— Так я ж языка их не знаю! — испугался вдруг Ваня.

— Это ничего. Справитесь. Ведь не в пустыне вы будете, черт побери, черт-черт-черт... — на слове «черт» Африканыч заикнулся и поперхнулся. В глазах его на

миг промелькнуло злобное выражение, Ванею, к счастью, не замеченное, ибо созерцал он, с другой, так сказать, стороны, душу своего собеседника, колючую, как высохший куст.

— Небось, на вызов хотите полюбоваться? — спросил Африканов, снова поощрительно улыбаясь.

— Я был бы очень рад! — несмело сказал Ваня.

Африканов протянул ему длинную узкую полосу. Она была совершенно черного цвета, зато шрифт на ней был очень эффектный, красно-золотистого свечения.

ЗОМБИ И СЫН ЛТД

КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ВСЯКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
телекс 16759

На оборотной стороне полосы указывалось, что господин Тихвинцев приглашается для личных переговоров в главную контору компании не позже, чем через три дня по получении вызова. Все расходы по пребыванию и транспортировке фирма, мол, берет на себя.

— Ну, как, вы согласны? — жмурясь как кот сквозь незаметно надетые очки, спросил Африканыч.

— Да, я согласен, — едва выдавил потрясенный Тихвинцев.

— Вот и хорошо! Тогда дождитесь Нефедову (она сегодня что-то опаздывает) — та вас мигом оформит. А вечером — вылетайте. Только учтите — дело серьезное, я на вас очень надеюсь. За инструкциями зайдете ко мне в конце дня.

Как только, едва не шатаясь от неожиданно свалившегося счастья, Ваня вышел из кабинета, Африканов, до толе стоявший в величественной позе, подскочил к двери. Приставив ухо к самой ее поверхности, он долго слушал удаляющиеся шаги Вани Тихвинцева. Потом дважды повернул торчавший из скважины ключ и распахнул другую дверь, незаметную за драпировкой. В кабинет вошли: сам Артур Кокчаевич Колендаров с невозмутимым

лицом и его альтер эго, почти что полный двойник, с тем же серьезным и невозмутимым выражением лица, в ладно подогнанном мундире с ярко сиявшими полковничьими звездами. Все трое сгрудились над столом и деловито о чем-то зашептались...

* * *

Его встретила в аэропорту прибытия сильно накрашенная, в джинсовый костюм и яркие оранжевые сабо разодетая девица с длинными накладными ресницами, затенявшими половину белка, составлявшего козырную часть больших, миндалевидных, явно наркотиком сдобренных глаз, глядевших туманно и чуть презрительно. Движения ее были развинченны, внимание рассредоточено. Вместо рукопожатия она лениво показала ему рожки средним и указательным, и Ваня припомнил, что где-то уже встречал этот приветственный жест. Он стоял на гудроновой дорожке перед аэропортом и с любопытством оглядывался. Площадь была обсажена молодыми, но сильными баобабами; на клумбе с алюминиевым бортиком расцветали желтофиоли.

У стоянки такси выстроилась длинная очередь прибывших с его самолетом — в пыжиковых, несмотря на жару, малахаях, оленьих унтах, вооруженные балалайками и прялками хохломской работы, подведерными расписными братинами и даже иконами новгородского письма.

— Все сплошь фарцовщики, — пронеслось в Ваниной голове, и он, видимо, не ошибся. Шла бойкая торговля привезенным товаром — у очереди сновали мексиканского вида перекупщики и нагло тыкали то в одну, то в другую вещь, после чего вспыхивал оживленный, сопровождаемый пылкой жестикуляцией торг.

— Хау-ду-ю-ду, Ваня! — приветствовала девица.

— Хау-хау! — несмело ответил Ваня.

— Кончай импортные приколы. Спикай по-нашему! — сказала девица.

— Так я ж не умею! — растерялся Иван.

— Ну и телегу задвинул, — рассмеялась незнакомка. — Мы ж говорим с тобой?

— Говорим.

— Ну, и о'кей. А ты думал, мы тут все крэйзи. И говорим не по-человечески? Врубайся: и месяца не пройдет, как будешь канать под нашего, коренного, да еще с бурбизонским акцентом! — сказала она с непонятным Ивану пренебрежением.

— Как вас зовут?

— С утра Сильвой звали. Берем тачку?

— Вы меня извините, я еще не совсем понимаю...

— Возьмем такси? Или двинем на бас?

— На такси, вы видите, очередь... — ответил Тихвинцев и слегка покраснел: вторая, тайная цель его приезда — импортный казачок — заставляла быть экономным.

— Заметано. Едем на базе. Вас уже ждут в конторе. Сам Джезуайя Зомби, хочет личных контактов, старый рамолик. Ну, двинули...

В роскошном, хоть и сравнительно небольшом кабинете, украшенном леопардовой шкурой, аппликациями из крыльев бабочек, негритянскими масками и кистями из перьев какаду, в глубоком покойном кресле гиппопотамовой кожи покоился почти целиком заслоненный массивным дубовым столом со львиными лапами дряхлый безволосый пигмей со сморщенным личиком. Был он полуголым из-за жары, в старых потертых шортах. Матовая кожа его, схожая с наждачной бумагой тонкого помола, производила какое-то неживое, трупное впечатление. Однако личико было подвижным, даже почти чересчур.

Войдя, Сильва бросилась ниц на мягкий покров одноцветного длинноворсового ковра, делавшего пространство пола похожим на нежную поросль малой лесной прогалины, и, подняв лицо в сторону босса, воскликнула:

— Я привела его к вам, о повелитель!

— Опять цирк устраиваешь, крошка моя? Хеппенинг в джинсах! Без ансамбля? Ну-ну, будет. Вставай, да пыль не забудь стряхнуть с колен, замарашка. Ну, вставай, вставай, с третьего приглашения можно, сама знаешь...

Гологоловое субтильное существо в гиппопотамовом кресле говорило тонким, скрипучим, почти старушечьим голосом, однако что-то в его интонациях заставляло прислушиваться с предельным вниманием. Когда Сильва поднялась, отряхиваясь со всегдашней своей презрительной гримаской, острые глазки хозяина обратились в сторону Ивана.

— Что, прибыли? — каркнуло из-за стола, после чего странное существо завозилось, задергалось, устраиваясь поудобнее. — Очень рад. Ну, полной вам калебасы со вражьей кровью!

— Секи, приветствуют тебя, по первому классу! — громко прошептала Сильва в сторону Тихвинцева. — Отвечай!

— И вам того же, господин Джезуайя Зомби! — как можно более приветливым тоном промолвил Ваня. Собеседник остался чрезвычайно доволен его ответом. Из кресла раздался острый визгливый клекот, лишь отчасти напоминающий человеческий смех.

— Цхи-цхи-цхи, и мне, значит, того же! Что ж, желание на сто шиллеров! Тенк ю, судьбой не обижены. Что же касается вражьей крови, то и ее мы надеемся со временем заполучить, а если вдруг пофартит, то и не одну калебасу! — ответил он с многозначительною гримасой и снова заклекотал. Потом, изменив гримаску на строгую и царапнув высохшей лапкой безволосую голову, он вперился в Ваню испытующе, и спросил с легкой ехидцей:

— А как, молодой человек, вы собираетесь выполнить данное вам поручение?

Ваня, солидно кашлянув, отвечал:

— Мистер Зомби. Мне даны самые широкие полномочия.

— А поточнее?

— Поточнее? Ну, поточнее... Если точнее, то я должен узнать суть дела от вас, мистер Зомби...

— От меня? Только ли от меня? Или от... ну... ну...

— Или от сына! — с достоинством молвил Тихвинцев.

— Вот как? Вы и это запомнили? Цхи-цхи-цхи! Май-ómбе, пómбе, майомбé! Сенсемáйя, сенсемáйя! Да вы, я вижу, просто-таки молодец, нганга вам вовсе не нужен... Как это будет по-нашему... Ну да, медиум. То есть медик.

— Откуда вы взяли, что мне нужен врач? — спросил Ваня недоуменно и чуть обиженно.

— Не заводись, это комплимент! — громко шепнула Сильва.

— Молчать, крошка, прошу без подсказок! — дернулся матовый малютка на своем шикарном гиппопотаме.

— Знаете ли, — запричитал он с визгливыми старушечьими интонациями, — мне по старости лет так часто приходится обращаться к врачам, бедному калеке, что само понятие здоровья для меня столь ценно, столь ценно... Не примите на свой счет... Впрочем, поближе к делу. Сегодня устройтесь с жильем. Там, где укажет моя секретарша. А завтра двинете по нужному адресу, подниметесь на третий этаж и войдете в контору. Ровно в девять часов вечера. Дверь будет отперта. Возьмите со стола папку с бумагами, сунете вот в этот портфель, — (он достал откуда-то маленький черный портфель крокодиловой кожи и бросил его на стол), — и отнесите мне.

— Все это как-то загадочно, — сказал Ваня, в груди которого шевельнулось неопределенное опасение. — В этом нет ничего... ну, как бы сказать, ничего сомнительного?

— Что? Меня? Главу фирмы? Подозревать? Беспорочного негоциан-ан-ан... Сильва, подай валерьянки. Беспорочного негоцианта? В сомнительных операциях? Я немею...

Сильва нацедила ему из большой каменной бутылки какой-то жидкости, резко пахнувшей, впрочем, чем угодно, только не валерианой. Трясущимися руками взяв полный стакан, он, расплескивая и фырча, однако, с очевидным наслаждением выпил. Вскоре пришло успокоение. Крохотные члены обмякли, морщины разгладились, глазки полузакрылись.

— Не губите меня, юноша! — чуть слышно выдохнул старец. — Мне волнения противопоказаны... Кроме того, вам ведь поручено меня слушаться...

Ваня смешался.

— Нет, я не отказываюсь! — бодро, даже, пожалуй что, чересчур бодро ответил он. — Все будет сделано, как вы распорядитесь. Вам-то виднее, само собой...

— Собой... покой... — полусонно пробормотал Зомби.

— Пойдем, — тихо сказала Сильва. — Ему надо отдохнуть.

Когда они вышли на улицу, было уже далеко за полдень. Резкие длинные тени домов рубили перспективу на множество светлых долек. Спутники долго стояли на остановке автобуса, обтекаемые пестрой равнодушной толпой, пока Сильва звонко не хлопнула себя ладонью по лбу. «Ах да, совсем из головы вон! Сегодня с двенадцати — забастовка водителей. Придется топать пешком. Верочем, здесь недалеко».

— Скажите, Сильва, по дороге будет табачная лавочка?

— Это зачем? Курить? У меня есть. Ханкой приправлена. Хочешь?

— Да нет, спасибо, я не курю. Мне бы спичечных этикеток купить, говорят, они у вас в отдельности продаются. Хочу набрать для себя и на обмен... У меня уже три тысячи собрано... — гордо воскликнул Ваня. — Бразильские, португальские, Островов Зеленого Мыса...

— Этикетки? — Сильва расхохоталась. — Ну, деточка, ну, даешь! Я ж говорю — бурбизон, вылитый бурбизон! Как же ты попал в нашу контору, золотце?

— Прислали! — нахмурившись, отвечал Тихвинцев. — Между прочим, как опытного и компетентного исполнителя...

— Ну, ты, я вижу, мен хоть куда... Центровой... Своего не упустишь...

— Девушка! — строго сказал Ваня. — Вам поручено меня проводить. Вот и действуйте. А насмешничать я и сам умею, только мне не до шуток. Дело поручено мне серьезное, времени отпущено мало, — (это прибавил он для солидности — сроков он не знал), — так что будем поддерживать деловой тон. Согласны?

Насмешливая улыбка сбежала с накрашенных уст его спутницы.

— Да ты не обижайся, малыш. Просто я не пойму, как тебя, эдакого, да к нам. Впрочем, хватить лалакать, торчи дальше, — прибавила она с подавленным вздохом. — Только слишком-то не притарчивайся, а то, смотри, доторчишься.

Он поглядел на Сильву. Лицо ее стало вдруг темным, измученным. Под глазами легли синие тени.

— Что с вами? — спросил Ваня участливо. — Плохо вам? Может быть, отдохнем?

— А? Да ничего. Ломка у меня, лапа. Ну, да ты не врубашься. Чапаем дальше.

Легко было сказать, но отнюдь не легко сделать. Дорогу им загородил дородный, гладко выбритый полисмен с маленькими свиными глазками. Он взял под козырек и сказал величественно:

— Сержант Смитсоу. Вы куда, недоростки?

— На Говард-стрит, старина. А в чем дело?

— Демонстрация тут у нас, демонстрация забастовщиков. Нактокали, детки?

Они огляделись. В то время, как движение машин на мостовой прекратилось, по ней валом валяли веселые, ярко разодетые люди. Они несли яркие печатные и от руки нацарапанные плакаты. Во главе процессии ехал автобус, на крыше которого топорщилось чучело буржуа в высоком цилиндре, сидевшего в позе роденовского

«Мыслителя», а в спину ему воткнул был большой деревянный меч.

— Хэй, хэй, хэй, держись веселей! — скандировали демонстранты.

— А с ними можно? Нам по пути, — вызывающе бросила Сильва.

— С ними? По пути, говоришь? Шагайте. Только поосторожней на поворотах...

Сильва схватила Ивана за руку и затащила его в густые ряды демонстрантов. Странная это была процессия. Ее участники нацепили разнообразные зверушечьи маски, лохматые парики. Они оживленно перекликались; кое-где, образовав движущийся круг, плясали и пели под губную гармошку, прямо на ходу. Возбуждение толпы передалось и Ивану. «Вот бы Людочка увидела меня сейчас! Ни за что б не поверила!» — думал он. Воспоминание о Нефедовой настолько захватило его, что он не заметил, как оказался на центральной площади города, над которой парили большие башенные часы с модернистским, коряво кроеным из алюминия циферблатом. Прямо под часами, в кузове грузовика, были установлены микрофоны, перед которыми стоял высокий костлявый оратор с длинной, по пояс, криво подвязанной бородой, в высоком колпаке звездочета. Он говорил:

— Вот такие-то дела получаются, милые вы мои. Не зря вы меня выбирали своим профсоюзным боссом. Режу я, как водится, напрямки. Скажем: что творится у нас с запчастями? Какой-нибудь вшивый акселератор днем и с огнем не сыщешь... Даже за свечу зажигания платишь слесарю свои кровные двадцать шиллеров! Ну куда это годится? А техническая услуга? Ниже любой критики! Так, братья, продолжаться не может. Либо они ставят дело как надо, что для них, дурней, на пользу, в конечном счете, либо...

— Хэй, хэй, хэй! держись веселей! — скандировала толпа. Неожиданно и без того шумный воздух резанул знакомый читателю звук полицейской сирены и, расплескивая толпу, к импровизированной трибуне подлетела

полицейская машина, которую вел лейтенант Джимми Кракауэр. На заднем сиденье полулежал, обмахиваясь плотно набитой кобурой пистолета, сержант Филип Мванги. Лицо его было спокойно. Джимми выпрыгнул из машины и одним резким рывком влетел в кузов грузовика. Он отстранил звездочета плавным, но мощным движением своей исполнительной длани, откашлялся и произнес в микрофон:

— Мальчики. Да катись оно к маминой бабушке наше многоуважаемое правительство, вместе с акулами автобусного движения!..

— Гип-гип! Давай, Джимми! Сыпь во все корки! Так их, мироедов! — в сотни забавных зверюшечьих масок закричали в толпе.

— Пора, пора сбросить их гнилое господство! — поддал Джимми.

— Хэй, хэй, хэй! — в одну глотку выгаркнула толпа. — Молодец, лейти!

— Но, увы, — (тут лицо его погрузнело), — я еще пока что у них на службе. Они меня, братцы, шиллерами снабжают. Семья, детки и прочее. Хошь не хошь, а службу нести надо... Так что не от себя вам скажу, а от их негуманного, я бы сказал, лица. Договорились демонстрировать до двух часов дня. А сейчас уже без пяти. Вы не дети, смекаете: уговор дороже денег, по крайней мере, в цивилизованном обществе. Так что, как ни прискорбно, прошу до двух отвалить отсюда...

— Наймит! Кондотьер! Мент ползучий! — понеслось из толпы. — Мы тебя ведаем, ухореза! Дерьмо!

— Ребята, поберегите нервишки, они вам еще пригодятся! — спокойно отвечал лейтенант, на всю площадь. — Видите эти замечательные часы? Строены на ваши, на трудовые, отторженные в виде муниципальных налогов! Но, надо сказать, ходят они отлично. Сейчас уже два? Ничего. Даю вам еще пять минут, я добрый. А не уберетесь отсюда — держись, ребята! Вопросы есть?

Тут в толпе поднялось нечто невообразимое. Тотчас, как по команде, в лейтенанта полетели тухлые яй-

ца, гнилые помидоры и даже большой, величиной со среднюю авиабомбу, заботливо сгноенный ананас. Он, правда, не попал в лейтенанта, но сбил колпак звездочета, обнажив его совершенно лысую голову, которая за-сверкала под солнцем.

— Бежим, Ваня, здесь пахнет крутым махаловом!
— бросила Сильва. — Делаем ноги!

И они побежали. Оглянувшись перед тем, как вынырнуть в переулок, Тихвинцев увидел, что высыпавший откуда-то наряд полиции, вооруженный щитами, в шлемах с прозрачными забралами, теснит рассыпающуюся толпу, а один из полицейских старается сдернуть за ноги залезшего на фонарный столб долговязого фотокорреспондента.

Ваня, следуя за своей предводительницей, вскоре оказался в какой-то полутемной парадной.

— Пришли. Нам на пятый! — сказала Сильва. Она покраснелась от бега, и сквозь пудру на ее лице проступал легкий румянец, очень ее украсивший. Открыв дверь ключом, она ввела Тихвинцева в маленькую прохладную квартирeнку.

— Здесь будет твоя явочная хазовка! — сказала она. — То есть не явочная, что это я, в самом деле... Одним словом, здесь остановишься. В холодильник лезь без стеснения, там все, что надо — и выпить и пожевать, — сама покупала. Здесь будешь спать. Нравится?

— Нормально, — отвечал Ваня сдержанно.

— О'кей. Примешь душ и располагайся. А я побежала. — Тут она потупила очи, махнула накладными ресницами, странно тяжелыми на ее юном личике и, придвинувшись к Тихвинцеву, почти вплотную, спросила многозначительно и чуть томно: — Больше тебе ничего не нужно?

— Ну, тут вроде все есть... — невинно ответил Ваня.

— Вот и о'кей! — воскликнула девушка со странным смешком. Краска на ее лице стала как будто бы еще гуще. — Прощай, мой маленький бурбизончик! Да, чуть

не забыла! Это просил передать тебе шеф, на случай непредвиденных обстоятельств.

Она достала из холщевой сумы тяжелый длинноствольный пистолет и протянула Ивану. Тихвинцев отдернул руку.

— Зачем это мне? Да я и стрелять не умею! И вообще, это как-то к делу не идет...

— Идет, идет, милый. В том смысле, что всякое бывает... Сам видел — в стране сейчас неспокойно. А шеф за тебя отвечает. Как-никак, ты у нас чувак импортный, тебя беречь надо. Так что шеф приказал отдать его непременно. Для личной самообороны. Стрелять, говоришь, не обучен?

— Конечно, нет!

— Ну, дело нехитрое. Сдвинешь собачку, и жми на крючок. Вот вам и вся премудрость. Так не забудь — завтра в девять пойдешь по адресу. Я его на столе оставила. И вот что, мальчик, будь осторожен. Это уж я тебе спикаю лично, без протокола.

Ее руки неожиданно обвили Ванину шею, лицо приблизилось к его лицу, и он получил первый в своей неопытной жизни, терпкий и горячительный поцелуй. Когда он пришел в себя, девушки в комнате уже не было, только на лестнице раздавался частый стук ее деревянных башмаков. Ваня лег на диван и долго глядел в потолок, по которому пробегали легкие блики из окна. Он лежал, раздумывая надо всем случившимся и удивлялся оному.

* * *

Когда Тихвинцев вышел из кабинета почтенного негодянта, тот еще раз чему-то посмеялся, вернее, поклекотал, потер ручки, с неожиданной легкостью спрыгнул с гиппопотамового сидалища и, семена тонкими ножками, обутыми в травяные сандалии, подошел к стене, украшенной леопардовой шкурой. Легко отдернув ее, он приоткрыл обнаружившуюся дверь и, отворив оную,

тихо сказал мрачного вида детине, стоявшему в коридоре:

— Проводите ко мне моего сына.

Вернувшись к столу, он с наслаждением допил жидкость прямо из каменной бутылки и склонился над небольшой клеткой, загороженной конторкой с бумагами. Достав оттуда маленького длинноухого кролика, он положил его в деревянную чашу перед темным бронзовым изваянием неведомого божка. Прижав темной матовой ручкой пушистую спинку зверька, он быстрым и точным движением правой руки, в которой сверкнул остро отточенный ножичек, перерезал ему горло и стал цедить в чашу легко бежавшую кровь. Потом обмакнул в нее палец, помазал божку губы и, распростершись ниц на зеленом ковре, что-то вполголоса зашептал. Постепенно комнату наполнили густые, неведомые откуда взявшиеся испарения тропических трав, ни с чем не сравнимый запах африканского вельда. Невесть откуда доносились рычание леопарда, вой гиены, жалобный крик погибающей антилопы. Бронзовый истукан начал потихоньку шевелиться. Лицо его вдруг изменило спокойную бронзовую гримасу и стало настолько свирепым, что ни один человеческий взгляд, даже взгляд старого колдуна, не смог бы его вынести. Зомби что-то тихо запел, ритмически подергиваясь. Готовилось что-то страшное.. И вдруг...

И вдруг наваждение исчезло.

— Опять призываете Злого Духа? — раздался над камлающим мощный уверенный голос, говоривший на чистейшем наречии африканских пигмеев.

Джезуайя подпрыгнул на всех четырех лапках, словно испуганная черная кошка, и, спустившись на задние, быстро обернулся к говорившему. Лицо его тем временем украсилось радушной улыбкой.

— Рад тебя видеть, сынок! — пропищал он. — Молю седого Орунгле об успехе предстоящей нам операции. Торговой, разумеется, — иронически хмыкнув, добавил он.

— Пережитки каннибализма! — уверенно отвечал ему Артур Кокчаевич Колендаров (а это был, к нашему удивлению, именно он, собственной персоною).

— Ну-ну, вы племя младое, незнакомое, вам, дети, и карты в руки. А уж я по старинке живу, как дедами завещано, ты уж меня строго не суди, милый...

— Знаю я вас, папаша, старая вы лиса! — отвечал Артур снисходительно. — Не пора ли нам перейти к делу?

— Ну вот, не успели увидеться после долгой разлуки, и сразу же о делах! В старину так не поступали. Почтительность к старшим...

— К делу, к делу, папаша! — нетерпеливо сказал Колендаров. — Не надоело вам разыгрывать старого дремучего изувера?

— А я, может быть, вовсе и не разыгрываю! — остро зыркнул на Колендарова глазом старик Джезуйя.

— Ну, так или иначе, интересы у нас общие. И в общих наших интересах погубить свистопляса, с которым вы имели беседу.

— Погубить, говоришь? Ах, как мы когда-то губили! Превращались себе в леопардов, и зубами, когтями, с большим наслаждением, рыком...

— Отлично вас понимаю, но тут дело другое. Не надо экзотики. Сам-то по себе он для нас даже не жертва — много ему чести. Впрочем, вы и сами с ним говорили — представление имеете...

— Пустое место. Молокосос, — презрительно цвиркнул Зомби. — Зачем он тебе понадобился?

— О, тут все не так просто. Надо провернуть одно дельце.

— Касаемо Гюнтера и его этих самых головорезов?

— Предположим. Главное — действовать тонко. Думаете, зря я Тихвинцева сюда вытащил? Он мне вместо подсадной утки. Они на него бросятся, давно ждут визита, и себя расшифруют. Остальное уже дело техники...

— Все понятно, мой дорогой. Как договорились, я его послал в контору за документами. Завтра в девять. Он согласился. Чистая работа?

— Отлично! По своим каналам ты их и предупредишь. Но так, чтобы источник информации был им неведом! Вот в чем загвоздка.

— Так-так... Дело нелегкое. Надо подумать... Есть тут у меня один сержант на примете...

— Сержант Филип Мванги? — спросил, усмехаясь, Колендаров, чрезвычайно довольный своей осведомленностью.

Старик опешил. Он долго молчал, тупо глядя на своего собеседника, а потом подбежал к столу и прыгнул в свое широкое кресло, после чего задергал ручками и ножками нервически и нелепо.

— Вам валерьянки? — иронически хмыкнув, спросил Колендаров. Старичок между тем, с трудом поборов конвульсии, выдвинул один из многочисленных ящиков стола и достал оттуда длинную серебряную шкатулку с затейливою резьбой. Открыв секретный замок, он вынул из шкатулки узкую сушеную ящерицу с растопыренными лапками и, откусив одну из них, замер в позе человека, ожидающего действия подкожной инъекции. Наконец подергивание конечностей прекратилось и лицо вновь приобрело спокойный будничный вид. Положив остаток ящерицы в шкатулку, он бережно опустил ее в ящик стола, который задвинул немедленно.

— Сколько лет знаю тебя и не перестаю поражаться. Все в порядке, малыш, все будет сделано в лучшем виде...

— Вот и отлично! — с достоинством молвил Артур, не переставая внутренне усмехаться. — Теперь последнее. — Он достал из портфеля толстый, перевязанный бумажной бечевкой пакет, и бросил его на стол. В пакете звякнуло что-то глухо и металлически.

— Это ваш гонорар, папаша. Стоило большого труда оформить его в валюте, которую вы просили.

— Дай, я его распакую, страсть люблю золото! — потянулся старец к пакету всем своим существом.

— Ну, папаша, избавьте меня от этого сентиментального зрелища, — поморщился Колендаров. — Да мне и пора — дела.

— Иди, иди, после увидимся, — бросил трепещущий от нетерпения негоциант, не в силах оторвать глаз от заветного свертка. Когда Колендаров ушел, он, стеная и повизгивая от нетерпения, разорвал бумагу, и на стол вытекло желтое блестящее содержимое. Это были старинные испанские дублоны, тяжелые, с медовым оттенком. Джезуайя долго, более часа, глядел на золото, не в силах оторвать взгляда, потом зацепил своей сухонькой ручкой один золотой, подошел к темному бронзовому божку и бросил монету прямо в деревянную чашу, в густую запекающуюся кровь, рядом с коченеющим трупиком пушистого длинноухого зверька...

* * *

Потолок опустился ниже примерно на метр. Придя в себя после долгого бреда, лежавший понял это со всей отчетливостью. Стало быть, негодяи решили прикончить его медленным и мучительным способом. Но почему? Он был не в силах понять скрытых причин происшедшего с ним. Спокойно и не таясь вошел он в контору, адрес которой был ему указан. Забрал со стола папку с бумагами и сунул в портфель, переданный ему старым Зомби. Спокойно вышел из офиса и тронулся потихоньку обратно. Он шел по пустынной глухой улочке, слабо освещаемой редкими лимонными фонарями. И тут на него набросились. Как ему удалось вырваться из плотного окружения, он и сам представить не мог. Видимо, бывают в жизни ситуации, когда дилетантизм и неопытность спасают от самых, казалось бы, частых и профессионально расставленных сетей. Если бы он побежал назад, как поступил бы профессионал, все было бы кончено за две минуты, ибо со спины его поджи-

дал особенно мощный заслон, составленный из дюжих молодцов в спортивных тапочках. Если бы бросился вперед — его бы перехватили. Но он неожиданно прыгнул вбок — в темную, полную зловония и мазута речонку.

Она оказалась достаточно глубока для того, чтобы беглецу не разбиться, ибо прыгал он с высокого парашюта. Уже в реке вспомнил он, что не умеет плавать. Это и спасло Ваню во время второго за последние дни насильственного купания. Вместо того, чтобы плыть через реку, к спасительному, как казалось, спуску противоположного берега (где дежурили, чего он не знал, трое вооруженных до зубов и отлично тренированных головорезов), он затаился у самого основания парашюта, в нише какого-то не работавшего, на его счастье, водостока, не видной ни сверху, ни с противоположного берега. Там Тихвинцев просидел часа три, а потом, решив, что его не преследуют более, вылез оттуда и поднялся по недалежному спуску, до которого доплыл с небольшим трудом. Мысль о том, что его не преследуют, была верной только наполовину. Наружное наблюдение было оставлено на всякий случай в разных концах города, оно-то и засебло Ваню, чувствовавшего себя уже почти в полной безопасности. Портфель свой он потерял еще во время купания. Чем же закончилась вторая погоня, читатель хорошо знает — похищением на дюралевой эстакаде.

Тихвинцев снова попытался приподняться на своей поролоновой подстилке. На сей раз ему показалось, что члены его тела неохотно, но слушаются. Он протянул руку к животу, стараясь нащупать ранение, но ничего не нашел, только сильная боль ниже пупа заставила его снова прилечь.

— В меня стреляли, и я упал! — думал Ваня. — Почему же нет крови? Непонятно... И зачем на меня напали? К чему пистолет? Все это до крайности непонятно, а в сущности — чистый бред... Потолок еще опускается... Если мне не придут на помощь, меня раздавит...

— Ему вдруг стало очень и очень страшно. Вот он в чужой стране, похищенный и одинокий. Никто из своих не знает о том, где он сейчас находится. Он в полной власти таинственных злоумышленников. И кончится это, скорей всего, очень плохо...

Неожиданно багровый блик заскользил по гладкой металлической стене, и часть ее, невысокий прямоугольник, ушла вверх. Ване в лицо дуло свежим воздухом. В темном проходе, образовавшемся на месте прямоугольника, возвышалась чья-то плотно слепленная фигура, сверкающая голым багровым черепом с глубоко запавшими глазами. Незнакомец переступил порог, и Ваня узнал его — это был Гюнтер Макклопски.

— О, Иван, это вы? — радушно заулыбался вошедший. — Очень рад, очень рад! Вот уж не ожидал! Какая приятная встреча!

— Где я? — спросил Ваня глухо, не отвечая на деланное радушие негодяя. Он-то отлично помнил подлое поведение Гюнтера в ресторане.

— Где вы? Милейший Иван, вы у меня в гостях... Надеюсь, вам здесь не холодно? Главное, милый мой, — опасайтесь сквозняков, заклинаю вас! Они очень дурно действуют на здоровье, ну да вам ли не знать, старому питерцу?

— Что со мной? — спросил Ваня.

— С вами? О, да ничего особенного, скоро пройдет. Вы, молодой человек, просто-таки застрелены.

— Как застрелен? — спросил Ваня, и легкий холодок пробежал по его спине. — Раны вроде бы нет, я не нашел...

— А вы уж искали? Ах, молодой организм, юность... Как быстро возвращаются силы в вашем прекрасном возрасте! Значит, я пришел как раз вовремя, и вы уже можете говорить! Вот и отлично! А застрелены вы, как говорится, шуточно, понарошку. Правильно я выражаюсь? Мои мальчики, этикие остолопы, так испугались, увидев в ваших руках пистолет, что сдуру пальнули в вас резиновой пулей! Каковы? Ну, я им, конеч-

но, задал! Сами понимаете, на что мне трусливые ассистенты?

— Так все это ваши козни? — спросил Ваня с едва сдерживаемой ненавистью.

— Что значит козни, юноша? Вы, можно сказать, врываетесь в мой кабинет, крадете важные документы, бежите... а теперь еще негодуете на неделикатное обхождение! Чего ж вы еще ожидали?

— Я ничего не крал, не имею такой привычки! — гордо сказал Тихвинцев. — Я взял то, что мне было поручено, официально...

— Поручено? А кем, интересно?

— Секрета тут нет, господин Макклопски. Поручил мне забрать документы глава фирмы, к которой я прикомандирован.

— Зомби и сын? Старый маразматик? Ох, не смешите меня, мой юный друг! Скажите уж лучше, что вы хотите запутать следствие...

— Какое следствие? Так вы — представитель закона? Тогда заявляю со всей решительностью — никакого преступления я не совершал, требую сейчас освободить меня. То есть отпустить... — добавил Ваня упавшим голосом.

— Чье следствие, спрашиваете? Мое следствие, личное. А я возглавляю довольно могущественную организацию. Неужели вы думаете, что я поверю вашим нелепым рассказам? Неужели поверю, что вы, человек неглупый, хоть и молодой, — игрушка в руках выжившего из ума старикана? Что он может строить козни кому-нибудь, кроме приставленных к нему нянек? Нет, вы попросту хотите меня запутать. Ваша миссия куда тоньше — это я понял из сопутствующих обстоятельств... Куда пропали тапочки Сленгера?

— Какие тапочки? О чем вы?

— Белые, юноша, белые... И не делайте вид, что вам об этом ничего не известно. Кроме того, чайная посуда Каперса оказалась тщательно вымытой... Ясно?

— Чайная посуда? Какая посуда?

— Какая? Вы только поглядите на него, на этого коварнейшего юнца! Каперс корчится от отравления, прямо у чайного стола... А его посуда оказывается самым тщательным образом вымытой! И все это — заметьте! — происходит за короткие полтора дня. Те самые полтора дня, которые вы находитесь в пределах нашего государства!

— Не знаю я никакого Каперса. А чайную посуду сроду не мыл — этим матушка занималась, когда живая была. Сейчас я, знаете, питаюсь в столовых и мыть посуду мне не приходится... А кроме того, почему я должен перед вами оправдываться? Ваш подлый поступок на Островах сам за себя говорит. Вы — человек недостойный, и я не признаю вашего права меня допрашивать!

— Ах вот как, щенок? — лицо Гюнтера Макклопски перекошило от ярости. Он подскочил к Ване с поднятыми над головой кулаками, хотел уже врезать ему пару раз, но, сообразив все неудобство (чисто физическое) бить лежащего и поскольку на ногах его была все та же щегольская мягкая обувь (о чем он внутренне пожалел), он развернулся всем корпусом, словно кабан, и отскочил от лежащего.

— Хорошо же, — сказал он глухо, глядя в стальную стену. — Вы знаете, где находитесь?

Ваня молчал. Злобная выходка Гюнтера глубоко его потрясла.

— Вы находитесь в часовой башне. Помните часы на ратушной площади? Так вот то, что вы принимаете за потолок, — всего лишь дно часовой гири. Как ходики устроены, знаете? Не пройдет и нескольких часов, и этот самый потолок, весом в полторы тонны, опустится на вас и медленно растворит! И хоть я, как видно, не получу нужной мне информации, но зато буду с лихвой отмщен! Желаю здравствовать!

Ваня и не заметил, как опустилась стальная дверь. Он лежал в тихой прострации, и разрозненные мысли, изредка его посещавшие, не рассеивали черного тумана злокозненных обстоятельств. Что делать? Что делать?

Как вырваться из смертельного тупика? Положа руку на сердце, скажем, что он не знал. Он уткнулся носом в щекочущий поролон и тихо заплакал. Ему некого было стесняться — стальные стены цилиндра наглухо отделяли его от всего остального мира...

* * *

Это была унылая окраинная кафешка. Несмотря на то, что в открытые форточки окон вливался свежий вечерний воздух, уснащенный свиристеньем звонких цикад из соседнего сквера, он лишь с трудом рассеивал чад, собравшийся под потолком. Кухонный дым, несшийся из-за пыльной плюшевой занавески, мешался с табачным и наркотическим, образуя плотное слоистое тело, схожее на вид с тортом «Наполеон». Запыленные окна кафе были украшены вырезанными из бумаги снежинками, оставшимися еще от далекой встречи Нового года, с потолка свисали обрывки золотого дождя.

В этот вечерний час заведение было переполнено. Юные проститутки и торговцы различной дурью, престарелые сутенеры с претензией на элегантность и бастующие водители из бессемейных, а также разрозненная хипповатая рвань наполняли его. Все столики были заняты, за исключением одного, накрытого чистой крахмальной скатертью, стоявшего в углу у окна. За этим столиком отдыхал одинокий скучающий посетитель. Весь его облик резко контрастировал с окружающей обстановкой. Посетитель был одет в белый летний, тщательно выутюженный костюм: белейшую рубашку венчал белый атласный галстук «бабочкой». Спокойствие и невозмутимость были написаны на лице джентльмена. Когда к его столику подлетали, стайками и поодиночке, шалые завсегдатаи заведения, он отпугивал их пристальным взглядом серых глаз и отстраняющим жестом сухой, но сильной руки. С легкой пренебрежительной ухмылкой слушал он худенького патлатого пацана, надрывающегося на малом помосте, построенном из

обрезков стружечных плит, некогда крытых лаком, но изрядно уже запылившихся и прокопченных.

Жил на свете Кроки.
Кроки продавал бекон.
Поехал он в Чикаго
Подбросить пару тонн...

Мальчишка бешено жонглировал маленьким микрофоном, так и сновавшим в его длинных костлявых ладонях. Угловатый, ушастый и кадыкатый, брызгавший слюной во время пения, он производил довольно отвратительное впечатление. Однако голос его был силен и резок. Его пению аккомпанировали двое стилигг постарше — дочерна заросший волосом различной длины и фактуры гитарист и обезьянка-ударник, колотившая костяшками пальцев по связанным в разнокалиберную обойму баночкам из-под пива. Кодла расположившихся неподалеку от одинокого посетителя молодых хулиганов выражала свое одобрение возгласами и свистом.

С явным неодобрением взирал он на все происходящее. Нетерпеливо поглядывал на часы, а потом на входную дверь, причем лицо его передергивала легкая гримаса нетерпения и злобы. Неоднократно поправлял резавший ему шею крахмальным воротничок. Тем временем певец подбирался к завершению своего залихватского шлягера, явно и безнадежно ослабевая. Наконец, он с трудом прохрипел:

Не суй свой нос в чужой ништяк,
Не то исчезнет нос!

— и рухнул на стул, побледнев и свесив руки чуть не до пола. Его вдруг стало мощно и трагически рвать. Хулиганы зычно захохотали.

— Что, Мигель, зацепило? — крикнул один из них. — Зацепило и потащило! — громким дьяконовским басом ответил ему другой, и вся компания снова зареготала. Гитарист и ударник взяли певца подмышки и поволокли в соседнее помещение. Престарелая уборщица

с тряпкой и ведром, что-то едкое ворча себе под нос, стала приводить эстраду в порядок.

Одинокий посетитель настолько увлекся происходящим, что на минуту изменил своей профессиональной привычке держать дверь под прицелом взгляда и не заметил, как та, кого он с нетерпением ожидал, вошла в дымную залу. Он заметил ее лишь в тот момент, когда она с легкой извиняющейся улыбкой встала над его столиком.

— Ну и прикид на вас! — сказала вошедшая (это была юная голенастая девица, пестро и вызывающе расфуфыренная). — Просто — супер!

— Вы что, не могли прийти вовремя, деточка? — с плохо скрываемым раздражением ответил Артур Кокчаевич Колендаров (а это был, несомненно, он). — Даже мой друг, международный обозреватель Фарид Сейфуль-Мулюков не позволял себе ничего подобного! Вам, кажется, изменяет чувство субординации...

— Вы в свободной стране, шеф! Оставьте свои солдафонские приколы! — бойко парировала девица.

— В свободной стране, говорите? — глаза Колендарова отвердели. — А кто поставляет вам, моя милая, но слабовольная девица, высококачественную анашу? Кто, мой расцветший бутон порока, потекает оному? Или вам захотелось три месяца отдохнуть на принудительном лежбище для котиков? Это можно легко устроить. Вы выйдете оттуда добродетельной, но, будем надеяться, старик Джезуайя посмотрит на это сквозь пальцы, по крайней мере, до поры до времени...

— Послушайте, — сказала Сильва (а это была она, как уже понял догадливый читатель, именно она), — я так и буду стоять перед вами, как манекен? Может быть, пригласите меня присесть? А то на нас уже внимание обращают.

— То-то, май литтл герл. Сит даун, плиз. И не надо думать...

— Закажите мне чего-нибудь выпить, мой дорогой и мужественный покровитель! — сказала она, садясь. —

Хоть и говорится, что кайф будет лом, но с таким кайфоломом...

— Опять? — сдвинул брови возмущенный Артур Кокчаевич.

— Ну-ну, не буду... Я вся — внимание.

Пока Колендаров заказывал две рюмки «Камю», Сильва озорно перемигивалась с сидевшими неподалеку и явно знакомыми ей хулиганами, стараясь, чтобы ее перемигивания остались незамеченными для собеседника.

— Итак, — сурово сдвигая брови, начал Колендаров, — пропал наш молодой друг.

— Ваня пропал? — вырвалось у Сильвы. — Так где же он?

— Что это ты так остро реагируешь? — спросил Колендаров, пристально глядя на собеседницу. — Или у вас на то есть о с о б ы е основания?

Сильва ответила на его пристальный взгляд своим, загадочным и чуть туманным.

— Нет, зачем же, — ответила она, усмехнувшись с легкою горечью. — Если бы я увлекалась каждым маленьким бурбизоном...

— Вот и отлично. Все-таки должен огорчить вас — по моим сведениям, его уже нет в живых. Цум тойфель! Боюсь, это так...

— Его замочили? — воскликнула Сильва, теряя самообладание. — Боже мой, кому мог помешать этот ребенок?

— Ну, во все подробности я не стану вас посвящать. Да и сам их, прямо сказать, не знаю. Но, по всей видимости, дело обстоит именно таким образом. Что мне нужно от вас? Да не пейте коньяк залпом, это не принято! Так вот — завтра вы должны ассистировать.

— Каким образом? Простите, вас не затруднит заказать еще рюмку?

— Пейте мое, я не прикасался. И больше — ни-ни, не то обязательно что-нибудь перепутаете. Итак, организация, которая, судя по всему, столь брутально обошлась с нашим другом, необходима нам в неких, я бы

сказал, торгово-промышленных целях... Имея на руках такие козыри, как информация об устранении Тихвинцева, мы можем принудить их к конструктивному сотрудничеству. Мы уже прощупали кое-кого из них — Сленгера и других. Но все упирается, конечно, в главу организации. Я надеюсь иметь с ним свидание завтра. На эту встречу я возьму вас. Итак, запомните: для вас я — всего лишь младший компаньон фирмы «Зомби и сын», не более. Кстати, мой уважаемый папаша ничего не должен знать о готовящейся операции. Я, может быть, взял бы на сей раз кого-нибудь понадежнее, но вы, Сильва, в данном случае подходите на все сто процентов. Все же вы — штатная сотрудница фирмы, и вас неоднократно видели вместе со стариком. О том, что вам придется делать, я расскажу перед самым началом операции. Все поняли?

— Да, я поняла, — ответила Сильва угасшим голосом. — Все будет сделано, как велите, — можете не сомневаться. Нельзя ли еще чего-нибудь выпить?

— Дорогая, ваша личная жизнь меня не касается, но поверьте: пьющая наркоманка — это уже слишком... Впрочем, как хотите. Официант!

Сильва была глубоко потрясена трагической новостью. Как, этого несмышлениша, этого безвинного мальчугана, собиравшего спичечные этикетки, над которым она посмеивалась не скрывая, уже нет в живых! Она много злого и горького видела за свою недолгую жизнь, но сердце ее не успело еще достаточно огрубеть в его тягостном окружении. Она мгновенно поняла, что гибель мальчика — не случайность и косвенной тому виною, а может быть, и прямой — ее непосредственное начальство. Ей захотелось плакать, но она понимала, что лучше для нее будет, если она сдержится и изо льет свое горе где-нибудь в тишине, подальше от чужих глаз. А сейчас — надо крепиться.

Когда она подняла голову, то увидела, что Колендаров смотрит на нее пристально, с видимым подозрением. Она смешалась и отвела глаза. Еще секунда, и он

поймет ее состояние, а она, потеряв самообладание, плюнет в его самодовольную морду и разрыдается. Но тут — о счастье! — она увидела стоявшего над их столом знакомого ей молодого солиста, недавно певшего здесь, в кафе. В руках он держал поднос с тремя полными рюмками. Одетый в легкий плащ модного покроя, он выглядел как-то значительно и старше, чем на эстраде.

— Привет, Сиви! — сказал он девушке, не глядя на Колендарова. — Мне официанты сказали, что вы заказывали коньяк, и я решил с вами выпить. Не помешаю?

— Что ты, Мигель! — обрадованно воскликнула Сильва, специально не замечая того, что Колендаров подает ей различные знаки, с целью отшить непрошеного собутыльника. — Садись с нами, выпьем! Ты уже пел сегодня?

— Да, мы тут сбацили один хит... Но мне нездоровится, детка. Фуфло мне подсунули вместо дури... Чуть всю контору не заблевал...

— Ну, ничего, бывает.. Все образуется. Как Линда?

— А что с ней, метелкой, станется... Все те же крезовые приколы. Рама-Хари, Хари-Рама... Ну и теде.

— А маленькая как? Здорова?

— Ей лучше всех. К матушке моей отослали, в деревню. Да я не о том.

— Чем так-то маячить, молодой человек, лучше бы сели! — проворчал Колендаров. Он был решительно недоволен, ибо привлечь постороннее внимание к их конспиративной беседе он не хотел, а теперь, с приходом певца, на их столик пялились чуть ли не все посетители.

— Я сяду, Сиви? — спросил девушку исполнитель, упорно игнорируя Колендарова.

— Само собой, лапонька. Так о чем ты?

— Я все пытаюсь врубиться, каково это — летать среди звезд, рассекая полуночное пространство. Представляешь, в прозрачном, легком эфире, одной душой, бестелесно...

— Примем! — сказала Сильва и выпила. — Гони дальше, Мигель, я тебя понимаю.

Их гость к рюмке не прикоснулся. Он сидел, задумчивый, иссиня-бледный; лицо его было покрыто легкой, едва заметной испариной, глаза устремлены на качающиеся в клубах дыма, колеблемые слабым ветром из форток плети золотого дождя.

— Лететь, не думая ни о чем, ничему не внимая... Только слабое треньканье люстровых граненых стекляшек, да прозрачный, реденький, едва ощутимый свет одиноких звезд, свет астральный... Если лететь так подолгу, веками, может быть, душа смеется...

— Да ты не грусти, ты хороший, — тихо сказала Сильва. — Тебе и смывать-то нечего, не то что иным-прочим...

— Да-с, молодой человек, — назидательно сказал Колендаров, — проветрить бы вас тут всех не мешало. Больно уж вы копченые, ёк-королек, доннер-веттер, зажрались, падлы...

Сильва с удивлением, несколько, правда, нетвердым из-за хмеля, который ощутимо стал ею овладевать, воззрилась на Колендарова. И поняла, что хамит он намеренно, чтоб избавиться от непрошенного застолья. Лицо его было, как всегда, спокойным и невозмутимым, хранящим полную уверенность в своей мощи и правоте.

— Что за Фантомаса ты подцепила, Сиви? — спросил Мигель. — Не видишь, что ли, у него же башка каучуковая...

— У меня и кулак железный, — спокойно сказал Артур. — Так что вот вам десяток шиллеров за спиртное, и валите отсюда куда подальше.

Мигель посмотрел на протянутую ему руку с монетами и ловко ударил по тыльной стороне ладони. Реакция была у него хорошая — недаром с такой сноровкой манипулировал он летающим микрофоном. Но и хорошая реакция Мигеля спасовала перед непобедимой тренированностью Колендарова. Тот, не обращая внимания на разлетевшиеся монеты, схватил протянутой рукой противника за грудки и, казалось, несильно пихнул его в сторону от стола. Мигель отлетел на несколько мет-

ров и бухнулся прямо под ноги удивленным и слегка растерявшимся хулиганам.

Но эта растерянность продолжалась недолго. Один из них, кричавший Мигелю во время пения, поднял его и стал отряхивать. Другие (их было еще трое) — повскакали со своих мест, отбрасывая падающие стулья. Какая-то женщина, впав в истерику, пронзительно завизжала.

— Кенты, здесь, кажется, обидели нашего Мики, — сказал тот, что отряхивал павшего. Но ребят не надо было настраивать. В руках у них появились кастеты и сверкающие ножи. Колендаров медленно поднялся из-за стола. Сильва с надеждой смотрела на нападавших, отойдя к стене и боясь проронить хоть слово.

— И-я-а! — коротко выдохнул Колендаров, ломая руку парню, напавшему на него первым. Остальные бросились стайей. В образовавшейся свалке мелькали руки и ноги, оттуда вылетали то нож, зажатый в кулаке, то режущая ладонь Колендарова. Трудно было определить, на чьей стороне перевес. И вдруг...

В помещении со звоном вылетели все стекла. Здание покачнулось, а с потолка осел огромный пласт штукатурки, накрывший сражающихся. Погас свет, и в наступившей тишине стало особенно явственным зловещее поскрипывание перекрытий.

— Землетрясение! — раздался чей-то испуганный тонкий крик, и посетители в панике бросились к дверям и пустым окнам. Сильва, которая стояла возле окна, одной из первых выпрыгнула на улицу и отбежала подальше от трескающегося и ломающегося здания и остановилась, машинально посасывая расцарапанное запястье. Колендарова рядом с ней не было.

* * *

Мерцающий стальной круг, опустившись, уже наполовину закрыл утопленный в стену багровый фонарь, и в помещении стало полутемно. Теперь, даже если бы

он захотел этого, Ваня Тихвинцев не смог бы подняться во весь рост. Он чувствовал, что гибель недалека. Могильный холод, исходивший от стального тяжелого круга, сковывал все его телесное существо. Но дух его был не здесь, где тело готовилось к последнему прощанию с действительностью. Воображение его витало там, в далеком и милом городе, где проживала виновница всех его неудач, многостепенно им обожаемая, Нефедова Людмила Терентьевна...

.....

Она бродила по приречным питерским переулкам. Лимонные огоньки на Неве, отражающиеся в зыбкой и текущей, как жизнь, воде, иногда открывались ей в перспективе сбегавших к берегу редких доходных домишек и особнячков. Прохладный ветер шевелил густые, крупно сложенные кудряшки. Тихими, светло сияющими фантомами проплывали звездные цепи речных трамваев. Даже машины, изредка пробегавшие мимо нее по проезжей части, шелестели на асфальте тихо, умиротворенно, как бы готовясь к близкому сну.

Вдруг слух ее резанул громкий телефонный звонок. Она подняла голову, очнулась от неясных и светлых дум, суть которых, пожалуй, не смогла бы словесно выразить. Телефонный звонок на улице — это было столь неожиданно, что до нее не сразу дошло, откуда доносится этот звук. Оказалось, что из соседнего телефона-автомата с обкрошенными стеклами. Машинально, не отдавая себе отчета, она вошла в кабину автомата, зажгла свет и подняла трубку.

— Алло, Нефедова? — раздался, к ее удивлению, будничным женским голосом, голос телефонистки, какой мы слышим в междугородних переговорах.

— Да, это я! — ответила Людочка, недоумевающая.

— Нефедова, слушайте! вас вызывает жм-жм-жм.

— Людочка? — спросил на том конце провода высокий, скрипучий мужской голос. — С вами говорит генералиссимус Клецкин. Как слышите?

— Слышу неплохо. В толк не возьму, откуда бы...

— В толк не возьмешь, потому что дура! Ы! Да не вешай трубку, тебе говорят. У, р-редиска!

— Послушайте! — вскипев, воскликнула Людочка, — если вы будете продолжать в том же тоне, я немедленно прекращаю разговор!

— Нет, но я прошу извинения! Находясь в затруднительных обстоятельствах, вынужден, так сказать, припасть к стопам вашей милости... Даром что генералиссимус! Секешь?

— Что вам нужно? — изо всех сил сдерживаясь, спросила Нефедова.

— Вот это другое дело! Вопросца и ждали-с! Еже-ле нашему брату вопрос не задать, то и ответа не взыщешь! Уж такой мы народ проклятый!

— Кто это «мы»? — спросила Нефедова.

— Мы? Я же только что объяснил, полупочтенная. А на ваш первый вопросик тоже ответим...

— Валяйте! — сказала Нефедова, начиная смеяться.

— Ваню Тихвинцева любишь сердечно?

— А вам что за дело?

— Да ты не отнекивайся, говори, дело серьезное! Любишь? Не любишь? Плунешь? Поцелуешь?

— Ну, предположим, что поцелую...

— То-то вот и оно... загогулина! Ты с кем говоришь? С самим Клецкиным, генералиссимусом! Это ж понимать надо.

— Что же вы мне расскажете? — спросила Людочка, давась от едва сдерживаемого хохота.

— Так вот. Обскажу дело вкратце, — (в голосе абонента появились нудные бюрократические нотки). — Я вышел на вас, гражданка Нефедова, отнюдь не случайно. Дело в том, что по нашему ведомству существует известного рода конкуренция. По делу вашего Ванечки задействовано как раз конкурирующее звено. Тоже проклятые, не тем будь помянуты. Вот же повезло дуракам. Такой экстрасенс их призвал! И, заметьте, на том са-

мом месте, где вы сейчас пребываете. А результат? Его жизнь в крайней опасности. И помочь ему, а заодно и им повредить, шелудивым, дудакам несмышленным, можете только вы.

— Что же я должна делать? — решительно спросила Нефедова. Смешливое настроение тотчас ее оставило.

— Опять вопрос задали? Молодец. Объясню. Вы должны сотворить некое знамение...

— Крестное, что ли? — мигом догадалась Нефедова.

— Ай! Ну что вы! Хотите, чтоб у меня ухо отвалилось? Прошу вас, выбирайте выражения. Впрочем, вы мыслите в правильном направлении...

— Так, ну а дальше что?

— А дальше папашу припомнить, сынишку...

— Что-то не пойму я вас.

— Ну, сотворите некоего рода знамение и примолвите: — Во Имя...

— Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

— Ай! Вы меня оглушили! Я пропада... пропа...

Людочка стояла долго и ошарашенно, машинально вслушиваясь в короткие гудочки отбоя. Потом, повесив трубку, тут же, не выходя из будки, осенила себя широким крестом и вымолвила:

— Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, сделай так, чтобы с Ванею все обошлось!

— Что же, меня не убудет, — думала она по дороге домой, даже забыв удивиться странному случаю. — А Ванечке, может, и впрямь на пользу пойдет.

.....

Ваня очнулся резко и неожиданно. Острое предощущение перемены дрогнуло в нем. Нет, это дрожали стены стальной башни. Он почувствовал себя гораздо лучше и резко поднялся со своей холодной подстилки. Не рассчитав дистанции, стукнулся головой о гладкую по-

верхность нависшего над ним груза. И, словно от этого толчка, башню вдруг явственно закачало. О чудо! От толчков сработал дверной механизм, и дверь поднялась, открыв узкий недлинный проход, сквозь который был виден ломтик освещенной фонарями ночной улицы. Тихвинцев не стал долго раздумывать и бросился вон. Не успел он выбежать на свободу, как за спиной раздался грохот рухнувшей чудовищной гири. Часы на башне вдруг не ко времени зазвонили и пробили ровно тринадцать раз. Потом башня с часами качнулась, треснула и обрушилась вниз, на мостовую ратушной площади. К счастью, обломками его не задело. Ощущая бодрость, неведь откуда случившийся прилив сил, Ваня бросился подалее от опасного места сквозь вой пожарных машин, крики раненых, языки пламени, выбивавшиеся из иных окон.

Куда он держал путь, Ваня и сам не знал; единственным его желанием было — скрыться куда потише. На одной из улиц мародеры грабили лавку. Он обогнул проишествие, свернув в соседний темный переулок. Всюду погас свет — видимо, городское начальство отключило электроэнергию. В темноте прямо на него, топоча, словно бешеный носорог, несся какой-то тип. Ваня бросился в сторону и прижался к водосточной трубе. Бегущий поравнялся с Тихвинцевым и, видимо, обо что-то стукнувшись в темноте, рухнул прямо напротив Вани. Тот затаился.

— О, ч-черт! — грубо взревел упавший. К ногам Тихвинцева отлетела картонная, судя по звуку, коробка. Продолжая крепко ругаться, упавший поднялся на ноги и, отряхиваясь, размахивая руками и что-то несвязное восклицая, побрел дальше вдоль переулочка. Вскоре его шаги стихли за поворотом. Ваня нагнулся и поднял коробку. Он развязал легко поддающуюся тесьму и при свете кстати взошедшей луны увидел лежащие среди легкой бумаги отличные дамские сапоги, красивых обводов и чистых линий, модные шкуры, вожделенный импортный «казачок».

Он и сам не заметил, как снова оказался на окраине города. Здесь было совсем тихо. Окна домов мирно светились. Звуки пожарных сирен, отдаленный шум, отдельные крики едва доносились до этого тихого места. Судя по всему, это был район людей состоятельных — небольшие одноэтажные особняки, сложенные из природного камня, с подвальными гаражами, совершенно не пострадали. Свет горел в редких окнах, причудливо пробиваясь сквозь тщательно ухоженные заросли небольших палисадничков.

На одном из перекрестков этого тихого и безлюдного микрорайона Ваня увидел высокий, затейливо украшенный, блиставший обильною позолотой, шелестевший узкими флагами на флагштоках одинокий пивной ларек. Из его окон лился яркий свет, золотивший посыпанные песком пешеходные дорожки и часть гудроновой мостовой.

У ларька стоял одинокий любитель пива и о чем-то тихо беседовал с элегантным представительным продавцом, одновременно сдувая обильную пену, слоившуюся над кружкой. Тихвинцев проглотил скупую слюну. Только сейчас он понял, что уже более суток ничего не ел и, главное, не пил. Он ощупал карманы и с негодованием обнаружил, что они очищены злоумышленниками до совершеннейшей пустоты. Тем временем он поравнялся с ларьком. Невысокий молодой человек в элегантном, правда, со следами меловых пятен, сером плаще внимательно смотрел на него. Ваня невольно еще раз сглотнул слюну, глядя на прозрачный легкий напиток, пронизанный восходящими пузырьками. Пьющий пиво заметил это невольное телодвижение.

— Хелло, кент! — сказал он, приветствуя Тихвинцева уже знакомым ему жестом, то есть показав рожки двумя пальцами. — Подходи, присоединяйся. Что там в городе происходит?

— Спасибо, — вежливо ответил Ваня, — но...

— В кармане голяк? Так я угощаю. Подходи, не менжуйся.

— Спасибо, — снова поблагодарил Тихвинцев, не в силах устоять против столь заманчивого приглашения. Он взял в обе руки большую хрустальную кружку, поданную ему продавцом в строгом черном смокинге, и выпил ее не отрываясь. — Если можно, еще, — сказал он, краснея. — Я запишу ваш адрес, и завтра же...

— Ну ты и феню задвинул, — сказал незнакомец. — Что мне, трудно выложить для хорошего человека каких-нибудь двадцать два шиллера? Пей, не стесняйся. Ну, что там, в городе?

— Похоже, здорово тряхануло, — отвечал Ваня. — На ратушной площади часы обвалились. Кое-где лавки грабят. Пожары...

— А меня чуть в кафе не накрыло, где я работаю. Едва удалось свалить. Хорошо, что неподалеку. Бежал домой, думал: эх, сейчас бы пивка! Спасибо Рубиллеру — торгует себе, как ни в чем не бывало.

— Бизнес! — коротко бросил представительный продавец. — Да и присмотр здесь нужен — не дай Бог, под шумок все бочки раскатают...

— А у тебя что за коробка? — спросил незнакомец.

— Подарок невесте, — ответил Тихвинцев. — Только добыл я его странным образом...

— Ну, это меня не колышет. Где ночевать собираешься?

— Сам не знаю. Видите ли, меня здесь обчистили и еще что похуже. Так что не знаю, куда деваться...

— Небось, мальчики Гюнтера поработали? — спросил собеседник.

— А вы почему знаете? — вскинулся Ваня.

— А в это легко врубиться. Он ведь известный всему городу мафиози. Группа «Олеарий». Слыхал?

Ваня молчал, потрясенный.

— Как тебя звать?

— Ваня Тихвинцев.

— А меня Мигель, или просто Мики. Ты что, иностранец?

— Я из России.

— О, из России? Василий Блаженный? Нил Сорский? Лев Шестов?

— Наверное, это так, — смущенно отвечал Тихвинцев, несколько сбитый с толку.

— Ну, старик, считаю, что тебе подфартило. Ночевать будешь у меня. Там и заправимся. Я, видишь, попсовые песни двигаю. Максают неплохо. Так что у меня флат — на все сто... Только хунта засела там, как и водится. Ну, ничего, для начала сойдет. Как-нибудь ночку перекантуешься, а там видно будет.

Через десять минут они сидели в изрядно, хоть и безалаберно обставленной комнате. Мигель скромничал, называя свое жилье флатом, то есть квартирой. Это был опрятный невысокий коттедж типовой постройки. Все его комнаты были в большей или меньшей степени заполнены молодыми людьми. В гостиной, правда, кроме нашего героя, были еще только хозяин с хозяйкой. Увидев вошедшего Тихвинцева, жена Мики, молодая особа в платье из мешковины, коротко взглянула на него, указала на кресло и врубила кассетный магнитофон, из которого полились чистые звуки ситара.

— Рави Шанкар! — сказала она вместо приветствия.

— Линда! — обратился к ней Мики. — Надо приятелю что-нибудь схавать. С ним тут крутняковый вариант вышел...

Линда, по-прежнему молча, удалилась на кухню. Ваня покоился в кресле в ожидании ужина, слегка разомлевший в тепле и домашнем свете. Вскоре со стороны прихожей раздался звонок, и в комнату ввалились двое — мужчина и девушка. Гостья, увидев Ваню, вдруг всплеснула руками и бросилась его целовать. Ваня, оцепеневший от многочисленных, горячих и страстных поцелуев, слабо пытался высвободиться, но ему это не удавалось. Когда, наконец, девушка отстранилась, вытирая со щек размокшую тушь, перемешанную со слезами, Тихвинцев с трудом узнал Сильву.

— Ваня! Сердце мое! Ты живой! — затараторила Сильва. — Вот это попс! Как же ты спасся, милый?

Ваня, растроганный, сам чуть не плачущий, рассказал ей свою историю.

— Это все козни Колендарова! — решительно молвила Сильва, успевшая за время рассказа привести в порядок свое лицо, вновь приобретшее слегка отчужденное, сомнамбулическое выражение. — Он-то, крокодил, радуется... если живой остался. Кстати, как ты, Мигель, из кафе выбрался? С тобой все в порядке?

— В дверь вышел! — коротко усмехнулся Мигель. — В самом начале! Так что со мной — все о'кей!

— Кто же это такой, Колендаров? — спросил вдруг высокий сухопарый мужчина, вошедший вместе с Сильвой, дотоле сидевший без речей. Ваня взглянул на говорившего. Он смутно припомнил, что где-то видел его, но где, понять определенно не мог.

— Это мой сослуживец, Артур Кокчаевич... Ну и тип, знаете...

— А по какому делу он приехал сюда?

— Да я не в курсе... Мы с ним давно в контрах...

— Где у вас телефон? — спросил сухопарый, вставая и становясь на длинную узловатую жердь.

— Это в соседней комнате. Можете позвонить, — ответил Мигель.

— Где ты его подцепила? — спросил Мигель, кивая в сторону вышедшего.

— У твоих дверей встретились. А вы не знакомы?

— Да он у нас был, кажется, один раз... А, Линда?

Линда коротко пожала плечами. Тут Тихвинцева осенило.

— Вспомнил! — воскликнул он возбужденно. — Сильва! Во время демонстрации! Помнишь репортера на фонарном столбе, его еще полицейский стягивал? Так это он!

Сильва ничего не ответила, но ее набеленное лицо стало, казалось, еще бледнее.

— Ну, мастера, кажется, все мы сегодня легко отделались. Надо вспрыснуть такое дело! — сказал Мигель.

Ваня отнюдь не был пьяницей, но сегодня он пил коньяк с особенным удовольствием. Еще бы, ведь ему, бедняге, случайно пришлось избежать мучительной смерти. Он не заметил, когда хозяйка выключила индийскую музыку и врубила телевизор. Передаваемые новости доходили до него очень отрывочно. Диктор, широко улыбающийся человек с лошадиной челюстью, громко вещал:

— ХЕЛЛО, БРАТЦЫ! ЭТО ОПЯТЬ Я, ВАШ ЛЮБИМЫЙ ВИЛЛИ ЮНГМЕЙСТЕР. ТАКИЕ НОВОСТИ С БИРЖИ, НАШ ГОРОД БУКВАЛЬНО ТРЯСЛО! ХА-ХА-ХА! НЕТ, КРОМЕ ШУТОК! ПРОШЛО ВСЕГО ТРИ ЧАСА С ТЕХ ПОР, КАК НАС ТРЯХАНОЛО, А УЖЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ! ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ, КАК ВОДИТСЯ, НЕ БЫЛО. ПРАВДА, ОДНА СТАРУШКА ЧУТЬ НЕ ПОМЕРЛА ОТ ИСПУГА, НО ЕЕ ОТКАЧАЛИ. ХА-ХА-ХА! И ВОБЩЕ ВСЕ ЭТО АХИНЕЯ. Я О ДРУГОМ. ТУТ В НАШ ГОРОД ЗАЕХАЛ ОДИН НЕВИННЕЙШИЙ КЛЕРК — ИВАН ТИХВИНЦЕВ. ИВАН, ВЫ МЕНЯ ПОНИМАЕТЕ? И ЧТО БЫ ВЫ ДУМАЛИ? ПРИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЕГО ЧУТЬ НЕ УБИЛИ, ПОДОЗРЕВАЛИ НАШЕГО ПОЧТЕННОГО ГРАЖДАНИНА, ВЛАДЕЛЬЦА НЕДВИЖИМОСТИ, МИЛЕЙШЕГО ГЮНТЕРА МАККЛОПСКИ, НО ВЛАДЕЛЕЦ НЕДВИЖИМОСТИ ВСЕГДА НЕПОДВИЖЕН, НЕ ТАК ЛИ? ХА-ХА-ХА! ИСТИННЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ ПОКУШЕНИЯ ОКАЗАЛСЯ НЕКИЙ АРТУР КОКЧАЕВИЧ КОЛЕНДАРОВ, ЛИЧНОСТЬ ДОВОЛЬНО ТЕМНАЯ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ТЕМНАЯ ВОЛОСОМ. ХА-ХА-ХА! САМОЕ ПИКАНТНОЕ, ЧТО КОЛЕНДАРОВ — СОЖИТЕЛЬ, СООТЕЧЕСТВЕННИК И СОСЛУЖИВЕЦ ИВАНА! НОУ КОММЕНТС!

— Подлец! — закричала Сильва. Что он себе позволяет, гнусный репортажишко! Это его работа! Фейсом об тейбл его! Сволочь! Где он?

Бросились искать долговязого репортера, но его в доме, увы, не было...

* * *

У читателя, вероятно, скопилось уже немало вопросов к неловко ерзающему автору. Что это, например, за такая нелепая заграница, где тебя понимают без переводчика, особенно если ты уснащаешь речь уличными

оборотами? Что это за государство, конкретно, и в какой части земного шара оно находится? Или: как так может случиться, что вдруг зазвонит телефон в телефонной будке? Или... и прочее?

Что за государство? Отвечу. Подумайте: где то и дело происходят уличные перестрелки, забастовки, землетрясения? Догадались? Ну, вот так же, при помощи несложных логических операций, вы сможете понять и все остальное. А если что останется непонятным, то загляните в эпитафию. Тогда уже все станет кристально ясным.

Но — вернемся к нашим героям. Одним из ценнейших вариантов недвижимости, коей владел наш знакомец Гюнтер Макклопски, был небольшой окраинный театрик. Ценен он был не собственной стоимостью и не доходами (здесь выступала труппа каких-то полусумасбродных биомехаников). Ценен он был тем, что среди суеты и сутолоки театральной обстановки было очень легко соблюдать правила конспирации — любое новое лицо, здесь слоняющееся, могло запросто оказаться подрядчиком, актером без ангажемента или попросту праздным поклонником Мельпомены.

Таким праздношатающимся зрителем, в неурочное время забредшим в театр, и выглядел Артур Кокчаевич Колендаров, тыкавшийся из темного зрительного зала за пыльные мертвенные кулисы, путешествующий по скрипучим таинственным переходам, полутьма которых высветлялась вдруг пасмурными лучами из невесть откуда возникшего захватанного оконца. Он был приглашен на переговоры попросту в театр, без дальнейших пояснений, и теперь безуспешно искал хозяина. Когда он, после долгих и бесплодных прогулок по глухому театральному лабиринту, вновь, в душе чертыхаясь, вышел в пустой зрительный зал, его окликнули.

— Эй! — услышал он голос, доносившийся с балкона, из глубины. — Эй, там! Чего тебе надо?

Колендаров мгновенно развернулся в сторону, откуда донесся голос, и громко, уверенно отчеканил:

— Мне нужен хозяин, Гюнтер Макклопски!

— А за какими шишами?

— Мне назначено свидание. Только без глупостей!

— воскликнул он, услышав негромкий сухой щелчок с той стороны, откуда слышался голос, и приняв его за щелчок взводимого оружия. Но Колендаров ошибся. Щелкнул всего лишь электрический выключатель, и зрительный зал, в котором он находился, вдруг озарился ярким веселым светом, игравшим мириадами брильянтовых искр в подвесках хрустальной люстры. В противоположной стороне прохода, в дверях, улыбаясь и посверкивая лысиной в праздничном свете, стоял тот, кого он искал, — обворожительный переводчик, лихой мафиози и покровитель искусств — Гюнтер Макклопски собственной персоной.

— О, о — кого я вижу! — воскликнул Гюнтер. — Никак всесветно знаменитейший Колендаров! Давно, очень давно ищущ с вами личной встречи! Доселе мы общались только через посредников, а теперь...

— Весьма рад! — сухо поклонился Артур Кокчаевич. — Может быть, перейдем к делу?

— С большим удовольствием! — масляно улыбаясь, ответил Гюнтер и указал на ряд кресел, расположенных у прохода. Вскоре договаривающиеся стороны сидели рядком в партере, забросив ногу за ногу, как два заправских режиссера во время репетиции. Не торопясь начинать разговор, Гюнтер достал манилу, обрезал ее специальным ножичком и с наслаждением закурил.

— Что же вас привело ко мне, уважаемый? — спросил он, слегка улыбаясь.

— Начну без предисловий. Мне стало известно, что ваши функционеры, друзья в белых тапочках, весьма негуманно обошлись с одним из сотрудников нашей фирмы. Короче, его уже нет в живых. Располагая по этому поводу исчерпывающей информацией, я согласен не давать делу хода, если заручусь вашей поддержкой в неких тонких, я бы сказал, торгово-промышленных операциях. Что вы скажете, к примеру, о партии хоро-

ших брандспойтов, которую надо доставить по назначению?

— Так-так... — задумчиво отвечал Гюнтер. — Очень хорошо... Позвольте, в свою очередь, задать вам один вопрос...

— Пожалуйста! — сухо отвечал Колендаров. — Только не пытайтесь увести разговор в сторону от заданной темы. Я этого не потерплю!

— Итак, любезный Артур Кокчаевич, ответьте, пожалуйста, что вы делали вчера вечером и сегодня утром?

— Что я делал? Хоть это касается только меня одного, отвечу: сидел в своей комнате и производил некую косметическую процедуру...

— Сняк закрашивали? — с нескрываемой издевкой спросил Гюнтер.

Колендаров на минуту смешался. Он пробурчал:

— Следы катастрофы, землетрясение, балка упала... А вам что за дело, — нашелся он наконец.

— Не волнуйтесь, Артур Кокчаевич, сейчас все объясню, — ответил Макклопски, продолжая сладостно улыбаться. — Так вы прямо из дома? И телевизор вчера не включали? И сегодня газет не читали?

— Нет! — коротко бросил полностью овладевший собой Колендаров. — К чему вы, собственно, клоните?

— А к тому, милейший, что дело уже приобрело нежелательную огласку и, поскольку мне удалось ситуацию проконтролировать, обвиняют во всем... вас, милейший!

Колендаров сидел, как громом пораженный. Такого оборота событий он вовсе не ожидал. А Макклопски, пользуясь его растерянностью, уже контратаковал.

— Послушайте, милейший Артур Кокчаевич, — каким-то особым голосом негромко сказал он, пристально глядя на собеседника. — Я с глубоким уважением, а отчасти и восхищением слежу за вашей глубоко профессиональной деятельностью. И, пользуясь случаем, хочу вам выразить не только свое полное восхищение, но и,

в свою очередь, предложить вам конструктивное сотрудничество. Дело в том...

Но спецам на сей раз не суждено было договориться. Двери в зрительный зал вдруг широко распахнулись, и, как говорится, на авансцене событий появилась группа из трех человек, узнав которых заговорщики внутренне содрогнулись. Это были — Иван Тихвинцев, сопровождаемый... кем бы вы думали? Ни за что не догадаетесь! Его сопровождал сам Петр Никодимович Африканов! На заднем плане маячила хрупкая фигурка Сильвы.

Пылая старческим возбужденным румянцем, бросая молнии сквозь толстые стекла очков, Африканов подошел к собеседникам почти вплотную и коротко бросил:

— Да я вас в бараний рог скручу!

— В чем дело, Петр Никодимович? — холодно встретил его Колендаров. — Вас, кажется, никто не уполномочивал...

— Молчать! — крикнул хороший старик, пылая благородным негодованием. — Вы у нас, между прочим, оформлены начальником пожарной охраны! Прошу все же не забывать о субординации! Но с вами я еще поговорю! А вы, бандюга, поберегитесь! — обратился он к Гюнтеру Макклопски. — Нам ваши штучки очень хорошо известны. Тут, понимаете, никакими взятками не отделаешься! На кого вы подняли руку! На простого и невинного парня, очень далекого от ваших грязных делишек! Мы этого так не оставим!

Гюнтер молчал, несколько ошарашенный. Тем временем Петр Никодимович снова набросился на Колендарова.

— Что вы себе позволяете! — продолжал он свою речь на изрядно повышенных тонах. — На каком основании вы, который должен был позаботиться о безопасности своего младшего товарища, проявили преступнейшую халатность, чтобы не сказать хуже? И не предприняли все для того, чтобы защитить нашего сотруд-

ника от дальнейших немис-ли-мых посягательств. А кроме того, милейший, благодаря вашей топорной работе этот случай привлек нездоровое внимание мировой общественности! Он скомпрометировал наш любимый и незапятнанный ИНТЯЖМАШЭКСПОРТКУРОРТ-ТОРГ! Поэтому данной мне властью я разжалую вас в топорники!

Не скрою, Ваня Тихвинцев с некоторым удовлетворением смотрел на своего поверженного врага. Поверженного чуть ли не буквально, потому что Колендаров неожиданно сполз на пол и, обхватив свою голову руками, стал раскачиваться, распевая какую-то бесконечную и заунывную песню, что-то вроде:

Аль хурды булды башка
Иль хурды мурды балда...

Он долго пел, всхлипывая и содрогаясь, потом вдруг, ударив себя кулаками по голове, воскликнул:

— О я, сын шакала! — и затих, для тебя, читатель, уже навсегда.

* * *

Поясню: Тихвинцева и Африканова на конспиративное свидание привела Сильва. Спешно прилетев на спасение Тихвинцева, Петр Никодимович бросился в контору Зомби. Там он и столкнулся с Сильвою, которая, оповещенная Колендаровым, знала, где застать обоих злоумышленников. Этим и объясняется столь драматичное появление наших друзей в зрительном зале.

На обратном пути Петр Никодимович счастливо улыбался.

— Доверительно сообщу вам, Ваня, — говорил Африканов, — я рад, что все так получилось. Ну и надоел же мне этот лощеный индюк Колендаров! А вас за хорошую работу и проявленное мужество надо бы поощрить. Кстати, должен объяснить подоплеку всего происшедшего с вами. Все происшедшее, дорогой мой, было

ничем иным, как международными учениями недружественных пожарных команд «Сполохи». А вас избрали условным противником. Условным, вы понимаете? До срока об этом нельзя было сообщать даже вам! И если бы не глупость Колендарова, то все обернулось бы самым приятным образом!

Ваня слушал Африканова очень внимательно. За эти короткие дни он здорово повзрослел.

— Да, Петр Кокчаевич! — вежливо отвечал он Африканову. — Я вам очень благодарен. Спасибо за заботу, Артур Никодимович. Да что это я — путаю ваше имя! Простите... Весьма вам признателен...

* * *

Перед отъездом Иван Тихвинцев нанес визит почтенному негодянту — самому Джезуайе Зомби. Этот визит был отчасти вынужденным. Дело в том, что ему было необходимо подписать командировочное удостоверение. Отчетность — всегда отчетность! Надо отдать должное престарелому бизнесмену: он принял Тихвинцева почти как родного сына.

— О, мистер Тихвинцев! — бодро воскликнул он. — Как я рад вам, просто чертовски!

— Здравствуйте, мистер Зомби! — коротко бросил Тихвинцев. Ему не хотелось особенно здесь рассусоливать. Уж больно двусмысленной была роль старого пигмея во всех приключившихся с ним несчастьях. Но Джезуайя как будто совсем не заметил холодного тона Тихвинцева.

— Я очень, очень рад! — снова воскликнул он. — Вы поступили, как заяц из нашей народной сказки — чик, чик, и врагу плохо, а вам хорошо! Похоже, что мое пожелание насчет калebasы себя оправдало...

— Вот моя командировка, подпишите, пожалуйста! — коротко отвечал Тихвинцев.

Джезуайя с ногами вспрыгнул на свое прекрасное гиппопотамовое кресло и закричал в сторону двери:

— Сильва! Принеси мне перо! Только паркера, слышишь?

Тут же в кабинет вошла Сильва с авторучкой в руках и бросилась ниц на зеленый ковер.

— Я принесла, повелитель! — воскликнула Сильва.

— Ах ты, мерзавочка! — заулыбался негоциант. — Вставай, вставай, ну вставай же. Опять эти китайские церемонии! Можно подумать — сама покорность! А на самом деле — девчушка себе на уме. Ведь так, мистер Заяц?

— Я сохраню о мисс Сильве самые благоприятные впечатления! — отвечал Тихвинцев.

— Ну, еще бы! Если бы не она, вам бы, пожалуй, несдобровать. Не так ли? И все — благодаря моим точным инструкциям. Не так ли? — снова спросил Джезуайя, теперь уже у Сильвы, голосом, терпким, как яд кураре.

— Вы совершенно правы, мой повелитель, — ответила Сильва, бледнее своих белил.

— Ну, мы к этому делу еще вернемся, разберем его на досуге... Вот... Как поживает ваше начальство, любезнейший Петр Никодимович? Мне нравится его фамилия... А как ваш коллега, бедный Артур Кокчаевич? Я слышал, ему крепко досталось во время... землетрясения? — Тихвинцев готов был поклясться, что на губах старика змеится ехидная, торжествующая улыбка.

— Спасибо, он вполне здоров! — отвечал Тихвинцев.

— Но я-то знаю, ему крепко досталось! И все из-за самонадеянности! Я ему всегда говорил: главное, юноша, — блюсти определенного рода традиции. Носорог, побеждающий крокодила, — знамение. Удав поедает птицу при звездах — это как семью восемь... Три в уме — щит черепахи...

Старик, как видно, завелся и понес уже совершеннейшую африканскую галиматью. Его била дрожь, маленькие конечности конвульсивно сокращались. По знаку Сильвы Тихвинцев на цыпочках вышел из комнаты,

плотно притворив за собой дверь. В приемной он оглядел командировочное. На том месте, где должна была помещаться подпись негоцианта, стояло тщательно выведенное русскими буквами: попка-дурак!

* * *

Тихвинцев со своими сослуживцами отбывал морем. Проводить его пришла только Сильва. Она плакала, и опять краска на ее лице потекла. Когда лайнер отвалил от берега, она замахала рукой, а потом показала ему рожки. Стараясь пересилить грохот отплытия, Тихвинцев закричал:

— Что это за рожки ты мне показываешь, дружище? Я уже видел такие!

— Это не рожки! — плача, кричала Сильва в ответ. — Это латинское V — Виктория, то есть победа. Это значит — мы победим, мы, дети, мы, чистые от рождения! Я верю — так будет, так ведь обещано! Помни об этом, друг мой далекий, помни всегда! Целую! Мы еще, даст Бог, встретимся!

Вдруг он увидел, что она вздрогнула, как ударенная, а на ее груди, на кофточке из белого полотна, прямо где сердце, расплывается большое красное пятно. Она покачалась, улыбаясь жалобною улыбкой, и рухнула на дебаркадер. Последнее, что он заметил, была густая толпа провожающих, мигом ее окружившая. С ним произошло нечто, какое-то странное выпадение из времени. Когда окружающий пейзаж снова стал доходить до него — это было всего лишь пустое море, застланное пеленой слез, исчерченное резкими зигзагами чаек, метавшихся в кильватере теплохода.

1981

ОДИННАДЦАТЬ ДОЩЕЧЕК

Тогда лишь недавно
Закончились тяжкие войны.
Мой бедный народ
Изнемог от лишений и зла.
Я только и думал
О муках, о горе народа,
Еще не изведав
За это гонений и бед.

Бо Цзюй-и

Предисловие толмача

В связи с тем, что переводчик или, если хотите, толмач и виновник настоящей публикации не слишком сведущ в лингвистических тонкостях старокитайской письменности и не совсем профессионально разбирается в разных там иероглифах, запечатленных к тому же не всегда твердой рукой некоего летописца минувших веков, — а именно такой труд отдается на твой суд, мой читатель, — в связи с этим, а также многим другим, при переложении на русский язык в старые как мир истории могли вкратце по вине толмача неточные словесные обороты и речения, русизмы и неологизмы, чуждые описываемой эпохе и тому культурному пластику, к которому относятся исторические события, бытовые сценки и не совсем обычные положения героев данного повествования.

Принося читателю свои извинения, переводчик, однако, должен признаться, что не все отступления от подлинника — результат его слабых знаний и невольных промахов. Иногда, для более тонкой передачи древнего текста, толмач вынужден был сознательно пользоваться понятиями и сравнениями, близкими сегодняшнему читателю.

Впрочем, подобное омоложение или, говоря языком критиков, современное прочтение текста в наш, стремительно летящий куда-то, технический век полезно уже тем, что с известной легкостью позволяет ввести широкого читателя, не слишком отягощенного знаниями хронологии и прочих мелочей, в область чуждых ему обычаев, нравов, матримониальных, сословных и иных отношений отдаленной эпохи, сделать его как бы участником, а не сторонним наблюдателем происходящего.

Основному тексту сопутствует, а вернее, предвещает его обрисованный беглыми штрихами портрет безымянного автора, и поведена вкратце история написания настоящего литературного памятника.

С этого вступления толмач, или переводчик, чье имя, за неимением авторского, выставлено на титульном листе, и начинает свое повествование. Итак:

Жил поэт в одной из провинций
Императорского Китая.
Жил давно. И дорога в жизни
У поэта была крутая.
Хорошо богатым в дороге —
В паланкинах и на колесах!
У него были только ноги
Да корявый терновый посох.
Он свой путь искал по созвездьям,
Спал с котомкою в изголовье...
Впрочем, тоже случалось, — ездил
На комолой красной корове,
Не для славы, не по обету,
Не в зачин обычаев новых,
Просто думал, что все поэты
Путешествуют на коровах!

Озадаченный целью высшей,
В годы странствий и на постое,
Как умел, сочинял он вирши,
Вспоминая пережитое.

О возвышенном и нелепом
Он слагал неровные строки
И читал их справа налево,
Как читают их на Востоке.
Бросив посох свой и котомку,
Он писал их, не зная правил,
И, к досаде своих потомков,
Даже имени не оставил.
На циновке своей сутулясь,
Он не кистью писал, а шилом.
А торговки с окрестных улиц
Называли его Плешивым.
Ныла в непогодь поясница,
Сон докучный смежал ресницы,
Тихо таял огарок свечи...

Вот и книга.
В ней не страницы,
А бамбуковые дощечки.

ДОЩЕЧКА ПЕРВАЯ,

*которая рассказывает о некоем выходеце из Лояна,
ставшем китайским императором,
о любопытных особенностях его правления
и о том, чего он испугался однажды ночью*

Не без обуха и удавки
И другой подходящей снасти,
Проявив, так сказать, задатки
Основателей всех династий,
В Поднебесной, во время оно,
Сам случайно избегнув яда,
Овладел богдыханским тронном
Некий выходец из Лояна.

Церемонию воцаренья,
Столь блестящего, тут же справив,

Царедворцев склонив к смиренью,
Оскопив или обезглавив,
Истошив свою желчь в расправе,
Пристрастившись к питьям и яствам,
Он прибавил к «Старинной славе»
Титул «Славное постоянство».

По утрам брадобрей в жилете
Выбривал ему лоб и уши...
Никого не любил на свете
Повелитель моря и суши,
Ни о чем не спрашивал Небо,
Никого слезой не оплакал,
Не испытывал даже гнева,
Непокорных сажая на кол.
Отреклись от него родные,
Проклял нищий народ. Усталость
Одолела. И сны дурные
Стали сниться ему под старость.

Богдыхан однажды проснулся,
Обливаясь холодным потом,
И от ужаса задохнулся,
Тень в изножье увидев:
— Кто там? —

Но — ни отклика, ни ответа...
Вся округа — во сне глубоком.
Только слышится шелест веток
У дворовых, в решетках, окон,
Только плющ обвивает дикий
Стены спальни его палаты...

Спят рабыни в садах владыки,
На себе разметав халаты,
Спят под кровлею изразцовой
Палачи, повара и слуги.

Спит Начальник стражи дворцовой
В налокотниках и кольчуге.
Борода и усы — как сажа.
И, во сне равняясь направо,
Спит вполглаза Начальник Стражи,
Как положено по уставу.

Растолкал его император:
— За Министром! Гонца! Немедля! —

Как и следовало солдату,
Тот пустился, бряцая медью,
Не на шутку беспокоясь,
К чину, ведавшему гонцами...

И гонец надевает пояс,
Весь увешанный бубенцами.

На расспросы время не тратя,
Ложь тотчас Министр покинул:
Как застали в ночном халате,
Так и выбежал к паланкину.
Понесли его скороходы,
Принесли ко дворцу владыки.
Стража каменная у входа
Развела и скрестила пики.

В пышной спальне глаза Министра
Хитро вспыхнули и потухли.
Подбежав неслышно и быстро,
Он припал к богдыханской туфле:
— Чем смущен По Ночам Не Спящий,
Недостойным Дарящий Милость?
— Сны дурные снятся мне чаще...
Но такого еще не снилось!
В страхе мы очнулись за ширмой,
И доньше на сердце тяжесть:
Государство наше обширно,
Только будто — от южных княжеств

До улусов, богатых рогом,
Где номадов кочуют орды, —
С городищами и народом
Обретаемся без присмотра!
Без присмотра в степях кочуют,
Без присмотра в стогах ночуют,
Без присмотра шагают в гости,
Пьют, едят и играют в кости,
Что невесть языком болтают
И, болтая, на ус мотают...
Так и кажется: всюду правит
Дух крамолы и возмущенья! —
— Обяжи, государь, исправить
Это важное упущенье!
Как мне дорог покой державы,
Разрешь доказать на деле,
Прикажи, Старинная Слава,
Чтоб глаза мои — поглядели! —

ДОЩЕЧКА ВТОРАЯ,

*которая рассказывает о том, какие удивительные
глаза были у Министра и что он ими увидел*

Лишь поднимет Министр ресницы,
У Министра такое зренье,
Что ни тварь иная, ни птица
Не имела со дня творенья.
Неспроста на посту высоком
Он оставлен в казенном доме!
Под его неусыпным оком
Государство — как на ладони:
Кто не чтит в богдыхане бога,
Кто дары приносить скупится,
Что за поясом у любого,
Что — под каждую черепицей...
Богдыхан Министра голубит,
Награждает за то и любит

Больше предков, рабынь и даже
Своего Начальника Стражи.
Да и то сказать, не ленился
Тот себя показать на деле:

Распахнулись глаза Министра
И туда-сюда поглядели.

...На востоке — синее море,
А над морем — синее небо.
Между морем и небом — парус,
Легкий парус в цветных заплатках
Показался вдруг из тумана
Перепончатой красной лапкой
Рыбака-нырка-пеликана.
Волны надвое разрезая,
К берегам торопится джонка.
Рад удаче ее хозяин
Под худой своей одежкой:
Ждет жена с детьми у порога...
Но, завидев парус, к причалу
Аккуратный сборщик налога
Приближается величаво.
В цифры пальчиком пухлым тыча,
Исчисляет доход с улова.
И рыбак отдает добычу,
Отдает, не сказав ни слова.

...В неоглядных полях, за дамбой,
Как-то на ноги встать надеясь,
На земле отцов благодатной
Мирно трудится земледелец.
Серп остёр! Да расчет-то шаток...
Снова труд его не задался:
Объявляет Указ глашатай
О поставках для государства!
Оглядев поля гаоляна,
Податные чины с солдатом

Растерявшимися поселянам
Предъявляют свои мандаты.
И со всех гумён на дорогу,
Сбив хозяев речами с толку,
Преспокойно вывозят с тока
Все — до зернышка — под метелку.

...Перед совестью и народом
С неких пор в долгу неоплатном,
Книгу пишет седобородый
Летописец в халате ватном —
Правду истинную, для внуков.
Вот окончил, поставил дату...
Но приходит, о том пронюхав,
Кандидат наук — соглядатай.
Ох, как вкрадчив и велегласен
Человек в кацавейке куцей:
— Или ты, сосед, не согласен
С тем, что нам говорит Конфуций?
Век наш, «Солнечным» нареченный,
Таковым не считаешь веком? —
И согбенный в трудах ученый
Соглашается с человеком.
Ведь нужна и ученым ссуда
За труды их — на пропитанье...

Как очами ни зри — повсюду
Единенье и Процветанье!

Хоть народ и сидит на жмыхе,
И угнали, в неразберихе,
Тех — на юг, а иных — на север,
Никакой по стране шумихи,
Кроме шума от новоселий.
Гром и тот в сосну не ударит,
Ни разбоя нигде, ни мора,
Чтоб явить перед государем
Хоть какую-нибудь крамолу.

Караул у дверей сменился,
Поварята стол обновили,
Когда всё же глаза Министра
Нечто важное уловили:

Мимо зарослей злой крапивы,
Мимо высохшего колодца,
Мимо старой дуплистой ивы
У запруженного болотца,
Мимо окон фанз невеселых,
Мимо каменного верблюда,
Обогрет и накормлен в селах
Милосердьем простого люда,
С трупом, огнивом и кресалом
В земли предков, нахмутив брови,
Возвращается старый Сяо
На комолой красной корове;
Едет гатью, тропой кремнистой,
По дощатым мосткам, над бездной...

Обратились глаза Министра
К повелителю Поднебесной:

— Хуже язвы, страшнее мора
Зло в народе от недогляда...
Так и есть, государь, — крамола
Не за тысячу ли, а рядом!
Замышляющий злое дело,
Непокорный и дерзкий в слове,
Старый Сяо в твои пределы
Возвращается на корове...

ДОЩЕЧКА ТРЕТЬЯ,

которая рассказывает о человеке по имени Сяо, о его скитаниях по свету и о том, зачем он вернулся на родину

Едет путник тропой, что вьется
По лесам, холмам и долинам...

Не был путник ни полководцем,
Ни зазнавшимся мандарином,
Ни завистливым звездочетом,
Ни послом-крючкотвором истым,
Чтоб свести с ним хотели счета
Богдыхан со своим Министром.

Он родился, в ряду с другими,
Под случайной дорожной вехой,
Не от феи, не от богини,
Не из корня, не из ореха,
Не из пятки и не из уха,
А как должно, в должные сроки,
И услужливой повитухой
Брошен был у большой дороге.

И ушел бы с этого света,
Не успев, как ни горько это,
В бытии своем убедиться...
Но как раз наступало лето,
Когда Сяо пришлось родиться.

Гнезда вили в кустах акаций
Птахи. К солнцу тянулся люттик...
Ведь с приходом весны рождаются,
Как известно, не только люди.
Через насыпь, к норе, бежала
И, младенца учуяв, тихо,
Хоть его она не рожала,
Подошла к нему барсучиха.
Ткнула носом... С рожденья маковой
Не имея во рту росинки,
Существо по-щенячьи плакало
И особой, но пахло псинкой.
Был прерывист, глух и натужен
Крик его.. И скажи на милость,
Что сосок детенышу нужен,
В том зверушка не усомнилась.

Не прошла барсучиха мимо,
Над чужим наклонилась чадом,
От сосца его покормила
И бегом в нору — к барсучатам...

Ах, неправда, что жизнь — полушка!
Двух колен еще не допела,
Над гнездом кружась, завирушка,
Помощь новая подоспела.
Мимо шел погонщик верблюдов
И, решив: Авось пригодится! —
Спас мальчишку от смерти лютой
И вскормил молоком ослицы.
Мальчик рос под дождем и градом
Без повойника, без пеленок,
А с мальчонкой бок о бок, рядом,
Брат молочный его — осленок.

Так родиться имея смелость,
Начал жить он, ничейный с детства,
Не за тем, чтобы жить хотелось, —
Просто некуда было деться.

Некий угольщик в стужу уголь
Научил развозить в двуколке,
А бродячий писец науку
С ним прошел — от корки до корки.
Забулдыга и старый воин
Тож преподавал свои уроки...

Сяо вырос. И поневоле
Стал он Сыном Большой Дороги.

За полвека своих скитаний
В бедняках лишь найдя участие,
Он задумал, в глубокой тайне,
Принести этим людям счастье.
От заставы идя к заставе,
В караванах, с людьми простыми,

Семь лесов за собой оставил,
Десять рек и одну пустыню.
Износилась одежда в клочья —
На плечах и зимой, и летом,
Но увидел старик воочью
То, за чем колесил по свету...

Он торопится, видят боги!
Возвратясь из чужого края,
Не свернул он с большой дороги
Под навес караван-сарая.
И, опешив, стража ни слова
У ворот ему не сказала.
Въехал он и сошел с коровы
В толчее, посреди базара;
Меж скотов и повозок серых
Примостился под сенью лоха,
Знать не зная, что в высших сферах
Стал причиной переполоха...

Появленьем его в столице
Не на шутку обеспокоен,
Пересек Министр половицы
Императорского покоя:
— Не одними сильна держава
Нынче пиками-бердышами.
Прикажи, Старинная Слава,
Чтобы я шевельнул ушами!

ДОЩЕЧКА ЧЕТВЕРТАЯ,

*которая рассказывает о том, какие необыкновенные
уши были у Министра и что он ими услышал*

В посрамление всех законов,
У Министра такое ухо —
Не чихнешь ни в гостях, ни дома,
Слышно тотчас, хотя и глухо.

Посреди церемоний чайных,
На обед ли сойдись, на ужин,
Объясняются все мычаньем,
Потому что язык прикушен.

Вот и нынче Первому в Свите,
Удовольствие предвкушая:
— Шевельни, — кивнул повелитель, —
Поведи, покрути ушами! —

И Министр, улыбнувшись скромно,
Демонстрируя тонкость слуха,
Лопухом развернул огромным
Министерское супер-ухо.
И услышал он — слово в слово,
Уловил в нетерпенье лютотом
Все, что Сяо, сойдя с коровы,
Говорил площадному люду:

— Там, куда богдыханским пикам
Не указывалась дорога,
Там, куда в старанье великом
Не добрался сборщик налога,
Там, куда за церковною данью
Шли всю жизнь, не дошли монахи,
Наделенные по преданью
Долголетием черепахи,
Не докатывалась колесница,
Аист падал, не долетая, —
На окраине, у границы
Императорского Китая
Стоит Город.

Башни дивные там, с часами.
Нет застав у ворот... С рассветом
Открываются створы сами
На четыре стороны света.
И вступают, чуть оробело,
В Город, шествуя в караване,

Гости с Патмоса, из Тибета,
С берегов реки Иравади.
В простоте им кажется загодя,
Что вот-вот, уже лгать не в силе,
Замолчит бубенчик на пагоде,
Покачнутся стены и шпили
И дома, став дальними тучами,
Вдруг сломают свои шеренги,
Как мираж над холмами зыбучими,
Над барханами Баданьчжаренги...

Но бубенчик звенит счастливо,
И стоит, на глазах не тая,
Чудный Город — дивное диво
Императорского Китая.

Ни купцов, ни простых людишек
Там налогом не облагают.
Перед въездом: А чем ты дышишь! —
Не пытаются, не предлагают
Сто вопросов, а то — и за сто:
Кого хвалишь, кого поносишь?
Не следят за тобой глазасто:
Что ты вносишь, чего выносишь?
Ни рогаток тебе исконных,
Ни шлагбаума, ни заставы,
Кто ты, пеший ты или конный, —
Заходи со своим уставом!

Округлились глаза Министра,
Хитро вспыхнули и потухли.
Подбежав неслышно и быстро,
Он припал к богдыханской туфле:
— Весть, не слыханная при дедах
Ни на торжищах, ни в закутках:
Вольный Город в твоих пределах
Объявился невесть откуда!

Не пора ль, Благодетель Наций,
От грехов обелившись в храме,
Между делом тебе заняться
Государственными делами?
Праздность пагубную отринув,
Прикажи созвать мандаринов!
Хоть от них и не много проку,
Все ж предписывается законом
Для общенности широкой
Соблюсти, так сказать, декорум.

ДОЩЕЧКА ПЯТАЯ,

*которая рассказывает о том, как император
и его мандарины занимались государственными делами*

Рыболов еще перед жором
Не спешил к реке спозаранку,
Лесоруб с топором тяжелым
Не шагал на свою делянку,
Птаха ранняя не порхала,
Колонок из дупла не вылез,
А в переднюю к богдыхану
Мандарины уже явились.

Коли призван — являйся к сроку
В дверь единую, в час единый,
Дали место сбоку, так сбоку,
В середине — лезь в середину!
Коли просят — вноси налоги
Без вопросов и недоверья,
Коли гонят, то дай бог ноги
И не дай ошибиться дверью!

Жизнь подобная, между прочим,
Констатировать надо с грустью,
Поначалу стесняла очень
Мандаринов из захолустья:

— Богдыханское — не людское!
И ходи тут, как по канату,
Вдруг да влезешь не в те покои,
Или скажешь не то, что надо! —

Все же, правилам не переча,
В том не видя себе урона,
Мандарины твердили речи
И разучивали поклоны;
Вспоминали былые войны
У себя и за рубежами,
И прислушивались невольно,
Как на кухнях стучат ножами.
Напряженности удивлялись
У соседей, на белом свете,
И солидно осведомлялись:
— Между прочим, а что в буфете? —
Говорили вообще крылато
О цивильных делах, о войске...
Но виднелись из-под халатов
Поместительные авоськи.
Столбенел мандарин окольный:
— И кормов же тут, и добра же!

Но от мыслей, порочных в корне,
Избавлял их Начальник Стражи.
На гипотезы и гаданья
Он накладывал как бы вето,
Приглашая на заседанье
Императорского совета.

Заседать — это было дело,
Если вдуматься, не простое,
Потому что часть сидела,
Большинство заседало стоя.
Стоя что-нибудь одобряли,
Стоя в чем-нибудь заверяли.

И овация не стихала,
Когда слушали, тоже стоя,
Речь блестящую богдыхана
Против косности и застоя...

Между тем, разложив бумаги,
К повелителю речь держали,
Удивляясь своей отваге,
Независимые южане.

Предлагали суровой прозой,
Не сморгнув, мандарины эти
Дополнения свои к вопросу
О неясностях в этикете:
Как, традиции не нарушив
И почтения к парадным залам,
Выходить из дворца наружу
Надо — передом или задом?

Не теряя минуты праздно,
С мест, друг друга опережая,
Северяне единогласно
Боевых южан поддержали,
Уточнив притом в благородном
Тонком экскурсе и глубоком
Что, в особенности дородным,
Выходить допустимо боком...

Поработав, как видно, с толком,
Передав другим эстафету,
С чувством выполненного долга
Поспешили они к буфету.
К сожалению, те и эти
От большого волнения или
От густой тесноты в буфете
Что-то все же не поделили —
Грудь на грудь сошлись, не плошая,
И вцепились друг другу в косы,

Молча, в поте лица решая
Государственные вопросы.

Тут Начальник Стражи дворцовой
На кольчуге расправил складку —
Был он выправки образцовой, —
И трибунов призвал к порядку:
— Попечители о народе,
Мандарины вы, а туда же! —
И замешкавшимся в проходе
Дал по шее Начальник Стражи.

Богдыхан сему подивился,
Но, подумав, махнул рукою
И для спешных дел удалился
В прилегающие покои.
Все ж, оплот в мандаринах видя,
Их престиж укрепляя шаткий,
Выдать им приказал Правитель
За труды их — по куньей шапке.
Дать по шапке велел канальям.
А для крепости в организме
И для бодрости, персонально,
Пива свежего — по канистре.

ДОЩЕЧКА ШЕСТАЯ,

*которая рассказывает о причине небывалого доселе
переполоха в императорской столице, а также
о завидной расторопности Начальника Стражи*

С головною и прочей болью,
В размышленьях о мире утлом,
Словно после десятиборья,
Мандарины проснулись утром
И узнали с большим смущеньем —
Им соседи пересказали —
О вчерашнем своем решении,
Дружно принятом в тронном зале.

Подтвердил и прохвост-меняла,
Спешно скарб свой грузя на мула,
Что они — ни много ни мало —
Объявили войну кому-то!
Что, ввиду обстоятельств оных,
В доме с гейшами, чуть не голых,
Стража сцапала как шпионов
Мирно спавших гостей торговых.
И чего не бывало сроду,
Дали свыше приказ особый:
Раньше срока закрыть ворота
Городские на все засовы!
Так что даже торговка луком,
Жизни скромной весьма и мудрой,
К мужу, к детям своим и внукам,
Между прочим, явилась утром...

Как несчастная ни пыталась
Оправдать себя перед мужем,
Говорят, несмотря на старость,
В гнев пришел огородник дюжий,
Не стерпел поруганья чести
Дамой, прежде боготворимой...

От печальных таких известий
Призадумались мандарины.

Но, услышав, как с возвышенья,
Окруженный толпою шалой,
О воинственном их решеньи
На углу объявлял глашатай,
Ни минуты уже не медля,
Что бы чернь о них ни сказала,
Серебром запасясь и медью,
Поспешили они к базару:
Мандаринов вдруг осенило,
Что без них там, в связи с войною,
Разберут паникеры мыло,
Сало, крупы и все иное...

Очувтившись перед возами
С мелкой живностью и скотиной,
Видят странную на базаре,
Не обыденную картину!
Что творится тут — непонятно:
Ни души живой — ни в корытном,
Ни в горшечном, ни в сыромятном,
Ни в бобовом ряду, ни в рыбном!

Не манит балаган разиню,
Не колдует гончар над кругом,
Над пореем своим в корзине
Не хлопочет торговка луком;
Ткач забыл о холстах-полотнах,
А рыбак — о своем улове,
Обступили толпою плотной
Старика на красной корове.
В междурядье, в скопленье тесном,
Об услышанном вслух толкуют,
Краем шейного полотенца
Утираются, трубки курят:
— Ни налогов там, ни поборов —
Город равенства, Город братства!
Что тут скажешь? Хороший Город...
Только как до него добраться?

И покамест в толпе азартно
Толковали про Город Вольный,
Отложив, как всегда, на завтра
То, что сделать могли сегодня,
Налетев, как во время кражи
Иль на девок срамных охоты,
Расторопный Начальник Стражи
Занял выходы все и входы.
Перед лавкой торговца салом
Прочитал он Указ по буквам,
Снял с коровы и бросил Сяо
В клетку тесную из бамбука.

Сгреб, к хмельному непримиримый,
Из канавы — на срок недельный
Захмелевшего мандарина,
Неустойчивого идейно.
Тот шумел, как мог, протестуя:
Знаем, дескать, в питье границу!
И вздымал не совсем пустую
Императорскую канистру:
Мол, не пиво — жара сморила...

Видя, как человек поруган,
За окольного мандарина
Заступилась торговка луком:
— Пьян, да в норме! Дошел и сам бы...
Справедливости нету в мире! —

Но Начальник приемом самбо
Мандарина утихомирил.
И, давать не любивший спуску,
Сгоряча и другим в науку,
Приказал загрести в кутузку
Заодно и торговку луком.

ДОЩЕЧКА СЕДЬМАЯ,

*которая рассказывает о том, какое хлопотное дело
объявление войны и как блестяще справились
с этой задачей дипломаты Его Величества*

На базаре еще старухи,
Лук-порей подбирая в свалке,
Гомонили, вздымая руки,
О злосчастье своей товарки,
А уж весть о боях-сраженьях,
Славных подвигах и деяньях,
Всколыхнув, привела в движенье
Все сословья и состоянья.

И покамест жезлы вручали
Полководцам в старанье истом
Запинавшиеся вначале
Того времени активисты,
И с казенным добром покамест
В гуще рыночной, благодатной
В спекуляциях обретались
Того времени интенданты,
А на площади, у платана,
В предвкушенье плодов победы,
Вынув палочки, уплетала
Свита данные ей обеды,
Перед картой суши и моря,
Помня: тропы войны тернисты! —
Император в штанах с каймою
Слушал мудрую речь Министра.

— Объявить войну объявили,
Увеличили вдвое подать,
Но за спешностью дел забыли
Подходящий придумать повод.
На борьбу народ ополчая
И давая врагам оценку,
Не мешает иметь вначале
Хоть какую-нибудь зацепку! —

И Министр, и столпы режима
Вкруг Стоящего у Кормила
Призадумались о пружинах,
О шарнирах войны и мира:
Обратиться ли к прорицаньям,
Опереться ль на прежний опыт?

Но послышалось вдруг бряцанье
Медной сбруи и конский топот.
И в похвальном служебном раже,
При досье и в парадных латах,
Появился Начальник Стражи
С паразитнейшим из докладов:

— Караульных солдат у стяга
И зевак приведа в смущенье,
У дворцовых ворот дворнягой
Произведено нарушенье!
С ней, с собакою, не с народом —
Не втолкуешь... Вот и случилось:
Воровато она к воротам
Подбежала и помочилась.
Может, гнусное святотатство
Этой сучки и полукровки —
От природы... А может статься —
От натаски и дрессировки.
Все возможно! Была ж морока,
Обучил же студент со скуки
В дни проезда принцесс сороку
С чердака орать: «Потаскухи!»

Благосклонность явив живую
К столь бесхитростным откровеньям,
С чувством службу сторожевую
Похвалил богдыхан за рвенье,
Покрутил шнурок амулета,
Мысль, возникшую вдруг, смакуя:
— Уж не Город ли Вольный это
Подложил нам свинью такую? —

Но, к всеобщему удивленью,
Простодушный солдат-рубака
Внес досадное уточненье:
— Не свинью, государь, — собаку! —
Звякнул шпорой и дернул усом...

У придворных чинов спесивых
И сановников от конфуза
Даже лица перекосило.

Но тотчас же глаза Министра
Хитро вспыхнули и потухли.

Подбежав неслышно и быстро,
Он припал к богдыханской туфле:
— Прав по-своему славный малый,
Твой солдат, человек-рубаха,
Но затем и есть дипломаты,
Чтоб в свинью обратить собаку!
Ум и опыт у них, и связи...
Прикажи! — их святое дело,
Так постричь, раскормить, подкрасить,
Чтоб собака — свиньей глядела!
Хоть и сложностей тут немало,
Будет выглядеть, как в натуре...

И составили дипломаты
В окончательной редакции,
И направили всем державам
Нижеследующую ноту:

«Отколовшимся горожанам
Не впервые плести тенёта!
Всё терпели мы... Но — довольно!
При гуманном нашем режиме,
Объявивши свой город „Вольным“,
Нам они свинью подложили.
Но презревших наши законы,
Долг вассалов и святость флага,
Мы заставим их в наше лоно
Возвратиться — для их же блага!»

ДОЩЕЧКА ВОСЬМАЯ,

*которая рассказывает о необыкновенной
преданности солдат своему императору, а также
о неожиданной помехе, чуть не помешавшей
величайшему из походов*

Между тем, стороной прослышав,
Что скликают бойцов под стяги,

Ни кола, ни двора, ни крыши
Не нажив, но полны отваги,
Из провинций, в помятых латах
И в кольчугах до пят — на вырост —
В императорские палаты
Уйма старых солдат явилась.
В благородной щетине лица
И носов баклажанных спелость...
От карманной чумы в столице
Им в поход бежать не терпелось.

Меж сановников с веерами
Протолкались они и с ходу
Заявили: Пиры — пирами,
Государь, а поход — походом!
Так в поход же!

Среди прелестных
Здесьних фрейлин, живя парадно
И не зная расценок местных,
Поистратились мы изрядно.
Не посетуй за резкость тона,
Так продулись и отошали,
Что, не глядя в прицел, готовы
Хоть в кого разрядить пищали.
А тем более — в супостата,
Из окопа — пальбою беглой...
Мы, как требует дух устава,
За тобой, государь, — хоть в пекло!
Впрочем, речь, говоря по-свойски,
Не о тошной окопной прозе...
Твой удел, положась на войско,
Побеждать, находясь в обозе!
Как известно, обязан воин
Быть не только львом — и лисицей...

И, кивнув, государь изволил
С их доктриною согласиться:

Справедлив ваш невольный ропот,
Вижу, доблести вы отменной! —

Но слышался конский топот
И бряцание сбруи медной.
И, внося за собою запах
Конских яблок и дух парашаи,
Неуемный, в парадных залах
Вновь явился Начальник Стражи;
Делу преданность — в жилке каждой,
Озабоченность и досада:
— Как нам быть, государь, с продажной,
С оголтелою бандой Сяо?
Нет коварству его мерила!
Зло он сеет в народе глупом
С Неустойчивым Мандарином
И распутной Торговкой Луком.
Он и в клетке — опасней тигра!
Взявши факты в соображенье,
Опасаясь, чтоб не возникло
Нежелательного броженья...

Поведа на Министра оком —
Мол, за всех он решать не волен! —
Богдыхан в тишине глубокой
Слово дать ему соизволил.

Зашушукался двор со вздохом
В торжествующем единенье:
Как-то выберется пройдоха
Из подобного затрудненья?
Даже дамы, парчой блистая,
От волнения хорошея,
Любопытствуя, с мест привстали:
— Наконец-то он сломит шею!

Но, владевший других не хуже
Острым глазом и чутким ухом,

Как политик, Министр к тому же
Обладал и отменным нюхом.
Никогда еще речь Министра
Не звучала ровней и глаже!
Он сказал, поклонившись низко:
— О Бессменный Начальник Стражи!
Рад помочь я твоей заботе.
Лучший способ борьбы с крамолой —
Поместить старика в обозе
Со скотиной его комолой.
Ну, а чтобы народ окольный,
Справедливостью озабочен,
Не хватался притом за колья,
Не скоплялся бы у обочин,
Не шумел и не пялил буркал —
Мол, свободу ему даруйте! —
Клетку оную из бамбука
Чесучою задрапируйте,
Чтобы лезли в глаза не шибко
Цепи узника и бахилы —
Будто он о своих ошибках
Размышляет под балдахином...

Мудрой речью весьма доволен,
Усмехнувшись небезучастно,
Общий план государь изволил
Утвердить.

И поход начался.

ДОЩЕЧКА ДЕВЯТАЯ,

*которая рассказывает об осаде Вольного Города
и о том, какой редкостный боевой эпизод произошел
с Его Величеством на театре военных действий*

Проклиная собачий холод
И распутицы, утром рано
По дороге — на Вольный Город
С войском двинулись ветераны.

В стужу, в ростепель и ненастье,
Сквозь покинутые селенья,
Шли они не на жизнь, а на смерть
Без особого сожаленья.
Умереть не обидно, зная,
Что была у тебя когда-то
Окаянная, озорная
Да беспечная жизнь солдата!
Что умрешь ты, не обойденный
Песней женщины и пичуги,
На хребте коня, в прободённой
Вместе с телом твоим кольчуге:
Жил открыто, и глаз не прятал,
И скончался легко, с усмешкой...

Между тем, и сам император
С выступленьем уже не мешкал.

Триста евнухов и служанок
Сбились с ног, помогая в сборах:
Набиралось одних, пожалуй,
Воза два головных уборов!
Уложились за трое суток —
С мелочей и до основного,
С птичьих клеток и до сосуда
Императорского, ночного...

Словом, вскоре,
Под стягом взвитым,
Полагая предел злодейству,
Сам предстал государь со свитой
На театре военных действий,
Где, как должно, мужая в битвах,
Меж лесов и нив полосатых,
У машин своих стенобитных
Добровольцы вели осаду.

Там же, следом, гордясь отчасти,
Деловито, как на ученье,

Их успех закрепляли части
Специального назначения.
Призывая на бой великий,
Отметая пустую жалость,
В спину им упирали пики,
Чтобы войско не разбежалось...

Все же, выбив бревном ворота,
С божьей помощью, еле-еле,
Ужас сколько побив народа,
Неприятеля одолели!

Наконец-то на бранном поле
И звезда его воссияла! —
Император коня пришпорил
И мечом, в ослепление яром,
Среди конной толпы и пешей,
Вдруг отсек, как у супостата,
Нос у собственного, с депешей
Подвернувшегося солдата...

Не со зла — впопыхах случилось,
Сгоряча — не своим хотеньем!
Все же некое приключилось
Замешательство и смятенье,
Даже паника — в пышной свите,
Среди дам и оруженосцев.
С седел, носа нигде не видя,
Слезли многие: Где же нос-то?
Если б дело в обычной ране
От ядра или там от пули...
Ведь без носа — ни на параде,
Ни на смотре, ни в карауле!

В главном штабе, вопрос решая,
Согласились: И в самом деле,
Хоть потеря и небольшая,
Виноваты — не доглядели!

Для порядка писца сместили.
Вот okazия! Жди отставки...
Впрочем, тотчас оповестили
О решение Верховной Ставки:
Сделать нос не хуже людского —
Форма чтоб и ноздря зияла —
Из какого-нибудь такого
Подходящего матерьяла.

Император одобрил это,
А Министр подсказал идею:
Всем известного, из Тибета,
Вызвать мага и чародея —
Пусть-ка в строй возвратит вояку,
Пусть избавит бойца от бедствий!

И пришел на косматых яках
Срочно вызванный маг тибетский.

Но, увы, эскулап гуманный,
Несмотря на свою маститость,
Плату взяв, заявил туманно:
Тут, мол, тканей несовместимость!
Пусть-ка лучше Начальник Стражи
Меж трофеев пошарит в свите...

И представьте, нашлась пропажа!
Правда, в сильно помятом виде.
Оказалось: из свиты дама
Тайно, в память войны и мира,
В сумку сунула нос солдата
Просто в качестве сувенира.

К счастью, в сумке, по крайней мере,
Ни на самую даже малость
Не уменьшился он в размере —
Огорчала его помятость.
Дело стоило, впрочем, риска!
И тибетец в борьбе с бедою

Нос героя слегка опрыскал
Вслед за «мертвой» — «живой» водою.
И у всех на виду, согласно
Медицинских и прочих правил,
С заклинаньем, рукою властной
Там, где надо, его приставил...

И пошла кочевать по свету,
Среди шуток иных в народе,
С той поры и молва об этом
Примечательном эпизоде.
Отмечая победы дату,
Говорил гончар водоносу:
— И везет же у нас солдату!
Победил — и остался с носом...

ДОЩЕЧКА ДЕСЯТАЯ,

*которая рассказывает о триумфальном возвращении
императора в столицу, о сложностях
престолонаследия и о новых, неслыханных достижениях
тибетской медицины*

Так ли, сяк — утихают войны,
Брань усобиц не вечно длится.

Взяв осадю Город Вольный,
Возвращались войска в столицу.
На конях — государь, начальство,
Следом — пешее ополченье
И с возами трофеев части
Специального назначенья.

Императора и добычу,
Разодевшись, как на смотрины,
Вышли встретить, блюдя обычай,
Все наличные мандарины.

Богдыханша цветы бросала,
Стан склоняя в изящной позе,
В том числе — и на клетку Сяо,
Волочившуюся в обозе.
Торжества текли, не кончаясь...

Но в подобном коловращеньи,
Как и всюду, свои случались
И промашки, и упущенья.

Так, обрушились два помоста
На толпу и героев брани —
От наплыва гостей заморских
И сановников с веерами.
Виночерпий с почтенным стажем
Накануне успел упиться...

Важный промах случился даже
У Придворного Живописца.

Главный автор полотен ценных,
Как не многим и впредь удастся,
Прославлял он в батальных сценах
Жизнь Правителя Государства.
Так удачно писал да ловко!
Ждал в сановники выдвиженья...
Дал, чудак, не ту подмалевку,
И пожалуйста — искаженье!
Был не глуп, и таланта бездна.
Ни тебе ни чинов, ни пенсий...
Соглашались: писал помпезно,
Да ведь мог бы и попомпезней!
Мог пробиться бы к высшей славе,
Но сошел со стези, новатор...

Чтоб в параде, перед послами
Двор не выглядел простовато,

Чтобы — пусть и без дарований —
Всякий видной глядел особой,
Штат Пожалования Званий
Государь учредил особый.
Медь доставив из штолен, с Ганга,
Шелк на ленты, муар и камку —
Чтобы колер не одинаков! —
Завели при дворце чеканку
Всевозможных отличных знаков.
Вскоре некоторые, вначале
Тушевавшиеся из приличья,
Даже сами себе вручали
Знаки доблести и отличья
И, врученные так награды
Приколов, на парад спешили...

Были маленькие парады,
Были средние и большие.
Отмечая за вехой веху,
Даль салютами потрясалась...

Одного только человека
Это словно бы не касалось.
В дни торжеств и в часы досуга,
В сонме слуг и столпов режима,
И в гареме — томила скука
Богдыхана неудержимо.
Сколько было в иной рабыне
Тонких шалостей и ломанья,
Чтобы хитростями любими
Обратить на себя вниманье!
Как изящно, отставив ножку,
Дева смуглая из Непала
В этих райских садах дорожку
Повелителю уступала!
Но, бессильем от чар хранимый,
Не взглянув, не подав и вида,

Проходил император мимо,
Волоча за собою свиту.

И опять их тоска снедала,
Сохли многие, как от порчи.
И нередко уже скандалы
Возникали на этой почве.
Нет, чтоб с долей своей смириться —
Пересуды и перебранка,
Начиная с императрицы
До наложниц второго ранга.

Зачастую без окруженья
Вхожий издавна в их покои,
Был Министр таким положеньем
Не на шутку обеспокоен.
Вскормлен жизни суровой прозой,
Зная нравы владык Востока,
Он задумался над вопросом
О наследованье престола:
Коль продлить ни с одной красоткой
Род Правителя не удастся,
Будет важная потасовка
Претендентов на государство!
Огласятся военным кликом,
Озарятся огнями сопки...
И неясно — судьба двулика! —
Где окажешься в потасовке?

И Министр, понимая это
И несметной казной владея,
Лучше прежнего из Тибета
Вызвал мага и чародея.

И пришел на косматых яках,
Учредительной просьбы ради,
Составитель известных ядов
И новейших противоядий.

Полный творческого горенья,
Он, являясь гомеопатом,
Отыскал и отрыл коренья
Освященной в огне лопатой.
Приготовил особой марки
Жир из печени крокодила,
Так что вялая кровь в монархе
Как у юноши забродила...

Год от года бесперебойней,
В должный срок, а порой — до срока,
Дети — двойни, а то и тройни —
Тут посыпались, как из рога.
С колдовского того состава
От столицы и до провинций
Просто некуда плюнуть стало:
Угодишь ненароком в принца!

Хоть и недоросли, и хамы,
И ленивы на удивленья
Были отпрыски богдыхана,
Но каков прирост населенья!
Это вам не пушинку сдунуть, —
Редкий случай такого рода...
Так что спешно пришлось придумать
Новый титул — «Отец народа».

ДОЩЕЧКА ОДИННАДЦАТАЯ,

которая рассказывает о редкостном разнообразии форм налогообложения, связанного с содержанием двора Его Величества, о долготерпении подданных богдыхана, каковое, как ни странно, в конце концов лопнуло, и о том, что за этим последовало

Так в империи Поднебесной
В многотрудных делах и славе
Сколько лет еще — неизвестно
И царил богдыхан и правил.

Указаниям не переча,
Как их деды во время оно,
Мандарины твердили речи
И разучивали поклоны.
Поступаясь смыслом и сутью,
С подтасовкою, наспех, комом,
С мздою в лапе, вершили судьи
Суд неправый в обход закона.
На плацу, за тюремным зданьем,
Стража мыслящего инако
По утрам — толпе в назиданье —
Аккуратно сажала на кол.
Изобиженная, подругам
Говорила Торговка Луком,
Что уже ни во что не верит
И, хмельная, среди базара
Из-под юбки и зад и перед
Предержавшим властям казала.
Даровую рюмку с подноса
Пил Солдат Оставшийся с Носом.
А династии из Лояна
В Год Свиньи, согласно прогнозам,
Стать «Всесветною» предстояло.

Не с того ли, как полагали,
В новых — Зимнем дворце и Летнем
Двор, пируя, сорил деньгами
С бесподобным великолепьем.
С полу крохи свои клевала
И охрана двора и челядь...

Дань стекалась. Не успевали
Перечесть всего казначеи!
Донага обобрать, ограбить
Почиталось уже не в диво:
Дань — с родин, с похорон, со свадеб,
С переезда речного, с дыма,
С наковальни — в кузнечном деле,

С тляпки, с имени или клички,
Со свивальника — в колыбели,
С каждой, из лесу, драной лычки,
С каждой, в поле, головки мака,
С шила каждого, с каждых ножниц,
С нищей кружки — в руке монаха
И с циновки — в домах наложниц,
С нужной ямы, с подворья, с крыши,
Со стола — от куска урезав,
Ибо нет ничего превыше
Государственных интересов!

Двор смеялся. Смеялись даже
На прогулках, в ладьях, в саду ли, —
И Министр, и Начальник Стражи,
Будто ловко кого надули;
Повара хохотали люто,
Палачи. Отзывалось эхо,
Гогоча...

И простому люду
Стало тут совсем не до смеха.
Проняла нужда. Опостылел
Гнет верховных владык и местных:
Лучше голый песок пустыни
Пальм их фиговых в Поднебесной!
Пусть в садах, среди роз и примул,
Пир без нас на здоровье длится...

И, собравшись, народ покинул
Императорскую столицу.

— Как? Да слыханное ли дело? —
Несуразны порой и глухи,
По дворцу и его приделам
Поползли, расползаясь, слухи.
Зашепталась в буфетной челядь:
— Шу-шу-шу, — позабыв раздоры.
Будто в шоке отвисла челюсть
У придворного мажордома.

Заметались, в беде не сдюжа,
Мандарины по смежным залам,
Позабыв: выходить наружу
Надо передом или задом?
Слух не минул и дамских комнат,
Многим фрейлинам стало плохо...

Сцен разительней не упомнят
Очевидцы переполоха!

Перечтя фаворитов — тут ли? —
Озирая пустую даль,
Позабыв о подагре, туфлей
Топал, гневаясь, государь:
— Государство — и без народа!
И на что нам тогда корона?
Или небу я не угоден,
Иль сместилась земная ось?
Жили как-то же век в загоне
И еще поживут, небось!
Что придумали... Ишь, канальи!
Ничего не желаю знать!
Чтоб назад, хоть в цепях, загнали! —
И пошло по дворцу: Загна-а-ать!

И загнали бы верно, если б,
В тратах нервных не соразмерясь,
Не уснул император в кресле,
Аппарату двора доверясь.

Ведь покамест, для той погони,
Конюхов вызывали нужных,
Да седлались покамест кони
Застоявшиеся в конюшнях,
Да покамест чины по кругу,
Грузноватые от регалий,
Основательно друг на друга
То и это перелагали,

Грифы ставили на бумаги
С утверждением и отказом,
Да сзывали солдат под стяги,
Да зачитывали приказы, —
Из-за некой зацепки вздорной
Плохо смазанная машина
Канцелярии их придворной
Крах империи предредила.
А и дел-то! — хватило б роты,
Взвода, если бы не рутина...

Так, начавшись, уход народа
Стал событием необратимым.

Уходили, гоня обозы
С инструментишкой и дровами,
Кузнецы и каменотесы
С непокрытыми головами.
Постояв, уходили с миром
Мастера и в искусстве жохи:
Живописцы и ювелиры,
Кожемяки и углежоги.
Кто — с кибиткой своей двускатной,
Кто — с котомкой, текли толпою
Со скотиной, детьми и скарбом
Вдаль — по загородному полю.
Мулы ржали, скрипели шкворни
В знойном мареве, в вихрях пыли...

— Эй, живей там да попроворней,
Чтоб дорогу не перекрыли!

Из тюрьмы, за ее обводы,
Так же бойко, без ералаша,
Выгнав узников на свободу,
Вышла, службу покинув, стража,
Даже стража все побросала...
И последним — ему не внове! —

В поле выехал старый Сяо
На комолой красной корове.
Мрак узилищ, тоску, хворобу —
Все осилил он, не согнулся...

На высоком холме корову
Придержал старик, оглянулся:

Стольный град, как макет огромный,
Пусть в безмерном своем ущербе.
Лишь стекает под мост подъемный
В ров — журчащая струйка щебня,
Да над башней приватной вьется
Вспокоившаяся ворона...
Что без армии полководцы?
Что правители без народа?
Ни гонцов тебе, ни дозорных,
Ни копейщиков в латах медных...

Не успела за горизонтом
Пыль осесть за толпой несметной,
Степь огнями запылала,
И легла, погасив созвездья,
На дворец и сад богдыхана
Тень божественного возмездья.
Еле слышный, как в час потопа,
Из пустыни, с такыров голых,
Отдаленный донесся топот
Надвигающихся монголов.
И нахлынули конной лавой,
И сравняли с землею стены,
И ушли, колебая травы,
Их бесчисленные тумены...

* *
*

От Великих равнин на север,
Где лежала столица, ныне

Трехметровым слоem осели
Кочевые пески пустыни.
Над барханами не маячит
Даже мертвый ствол саксаула.
За сайгаком стрелок не скачет
С круглой пулей, забитой в дуло.
Не спешат торговые гости
Ни туда тропой, ни оттуда.
Не белеют там даже кости
Заблудившегося верблюда.

ГОРДИЕНКО Юрий Петрович родился в 1922 году в селе Алтайское Алтайского края. Первые стихи опубликовал во фронтовой печати. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Выпустил несколько книг стихов. В настоящее время в основном выступает как переводчик казахской, киргизской, молдавской и корейской поэзии. Над публикуемой поэмой, главной вещью в своей поэтической жизни, автор работал более сорока лет. Живет в Москве.

«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»

Каждый, кто хоть раз бывал в писательском поселке «Алая Пахра», расположенном на 101 км Каширского шоссе, не мог не обратить внимания на изящную виллу, приладившуюся в тени деревьев за высоким забором, ограждающим и скрывающим виллу от чужих глаз. Невысокое пропорциональное строение, плод безвестного архитектора-конструктивиста начала 60-х, казалось всем летящим деревянным парусом, положенным на сочную зеленую лужайку с виднеющимися там и сям гнездами маргариток, левкоев, гладиолусов, астр и анютиных глазок. Или бессильным крылом громадного дельта-плана, остальные части которого улетели за границу. Мягкие купы тополей, дарующие прохладу и отдохновение в самый жаркий полдень, дополняли пейзаж экстерьера здания и создавали тот его неповторимый абрис, который и до сих живо стоит перед нашими глазами, заставляя вяло волноваться наше бедное измученное сердце.

Итак, 20 августа 1984 года двое изящно одетых джентльменов пребывали на этой вилле, сидели в главной ее, «каминной» зале, покуривая «Галуаз» и помешивая длинной кованой кочергой малиновые уголья в отгоревшем камине.

Один из джентльменов, товарищ лет 50-ти, высокий, осанистый, с красивыми полуморскими усами, сидел ближе к камину и зябко кутался. Но ему никто бы не дал его 52-х! Дух, воспитанный чтением хороших книг, тело, тренированное хатха-йогой, и практический отказ от алкоголя делали его почти неуязвимым для этого возраста, и лишь небольшие морщинки, горизонтально пересекающие его чело, больше говорили о перенесенных им испытаниях,

нежели вся его большая стокилограммовая спортивная фигура, пахнувшая французским одеколоном «Драккар» и одетая в мягкие рубчатые джинсы, превосходный пуловер от «Льюис Гостсолт». Мощная шея его была обмотана длинным кашемировым шарфом индийского филиала фирмы «Диор». На голове изящно торчала черная «стетсоновская» шляпа с дырочками, и он энергично сплюнул в камин.

Товарищ товарища в шляпе выглядел гораздо старше своих лет. На первый взгляд казалось, что его возраст тоже колеблется в указанных пределах, и лишь при внимательном рассматривании и дальнейшем знакомстве становилось ясно, что ему всего лишь 38 лет, из которых 25 он отдал родной литературе. Весь череп его, начиная со лба и заканчивая затылком, пересекала обширная лысина, украшенная небольшим количеством жестких, черных волосков, что говорило о незаурядном даровании, пластических способностях и цепком уме этого молодого, как его называли в очередях, человека. Сложен, сбит он был крепко, и было понятно, что если он, обмотав кулак носовым платком, ударит этим кулаком кого-нибудь по лицу, то из этого лица немедленно выйдет кровь. Однако даже при беглом ознакомлении с его добродушной, пышущей спокойствием физиономией становилось ясно, что он, как говорится, «мухи не обидит»; видно было также, что он не очень-то в ладах с физкультурой: тело его слегка обрюзгло, хоть и не вышло из берегов, традиционно очерченных для его возраста и образа жизни, а бицепсы, ножные мускулы все еще были упруги, и он резвыми энергичскими шагами пересек «каминную», прежде чем остановиться и усесться во второе кресло перед камином в своих блуджинсах «Ли», майке с надписью «ауэр тикет ту зэ стар» и овчинной жилетке производства Казанской меховой фабрики.

— И так, сегодня 20 августа 1984 года. Кто бы мог подумать? — вдруг сказал он и зачем-то добавил: — 1984.

— Да, ты это совершенно точно заметил, — помолчав, иронически отозвался его собеседник и, выдержав вторую паузу, осторожно спросил:

— Спят?

— Спят, — ответил молодой товарищ.

— Обе спят? — тем же обеспокоенным тоном продолжал допытываться собеседник.

— Обои! Как из пушки! — нарочито употребляя вульгаризмы, ответил молодой человек и, внезапно посерьезнев, вдруг тихо сказал:

— Я думаю, Василий, что женщины сейчас стали пить гораздо больше мужчин, но никак не могу понять, с чем это связано.

Тот, кого называли Василием, медленно поднял от огня свою красивую голову.

— Это правильно, Евгений, — так же тихо согласился он. — Но не ищи в этом явления социальных обусловленностей. Это асоциально, в том смысле слова, который я ему сейчас придаю.

— Да, я знаю, — угрюмо отозвался Евгений, и они надолго замолчали, по крайней мере один из них, Василий, который как повернул к камину свое волевое, резко вылепленное лицо, так больше и не поворачивался обратно.

— Ты был на заседании приемной комиссии? — нарушил молчание Евгений.

— Был, как не быть, — нехотя процедил Василий.

— Ну и что? — в голосе спрашивающего слышалась искренняя заинтересованность.

— Забодали Фурдадыкина, — улыбнулся его друг.

-- Это хорошо, — рассмеялся Евгений, и опять на долгое время установилась тишина.

— Я довольно много поездил по Державе, — вдруг решительно начал Евгений, — и теперь многие ее города сливаются для меня в одно лицо, имеющее несколько туповатое выражение. Пойми меня правильно, ведь я не хочу, чтобы сказанное мною было истолковано превратно, ибо и сам воочию вижу те ростки новой прекрасной жизни, которые, произрастая в течение многих лет, образовали наконец те райские пущи, где созрели наконец те сладкие неземные плоды. Я скорее именно об этой, как ты выразился, «асоциальной» сфере. Благоденствие в бетонных блочных домах и отдельных благоустроенных квартирах со всеми удобствами стало общим фоном, и я действительно, по-видимому, оторвался от народа, потому что никак не могу с выпуклой четкостью определить ту суть, вершащуюся за бетонными стенами, стеклами, на этих улицах и площадях, украшенных звонкими, певучими фонтанами. Не то, совсем не то было в молодости. Как приятно вспомнить свои юные путешествия по стране! Как живые стоят у меня перед глазами следующие населенные пункты: Тура, центр Эвенкийского национального округа, 1965, навсегда запомню лик этой маленькой северной столицы — туманные сопки с вертолета, где стволы лиственниц, как желтые фаберовские карандаши, и Нижняя Тунгуска величественно катит свои быстрые холодные воды среди нависающих скальных утесов и диких отмелей; или — Одесса, 1962, осень, «привоз», арбуз, скандал в шашлычной близ Оперного театра, немецкая шляпа, сизые щеки гражданина в подтяжках, высунувшегося, и классический диалог между этим мужчиной и его женщиной: Жора, брось курить! — Я не в тебя курю, я в Дерибасовскую курю...; или Якутск, 1967, поле аэродрома, ветер задувает, свистят вертолетные лопасти, якут Николаев фотографирует меня фотоаппаратом «ФЭД», сверкая красивыми металлическими

зубами; Алдан, того же года, где и разыгрался тот тривиальный любовный многоугольник, о котором я так давно хотел тебе рассказать.

А дело в том, что да, я в те годы был отчаянно, безрассудно молод, юн, не имел прочных сердечных привязанностей и довольствовался короткими скудными встречами, изредка дарованными мне судьбою. Я знал, что практикантка Таня Д., дочь таежного охотника-промысловика, студентка геологоразведочного техникума, работавшая у нас в качестве младшего техника, то бишь «коллектора», была безнадежно влюблена в главного геолога экспедиции Манджиловского, коренного ленинградца, блестящего ученого с большой широкой бородой, умницу, эрудита, добряка, имевшего несколько нервную, экзальтированную супругу, которую он иногда бивал в пьяном безумном состоянии, но зато потом каждое утро плакал перед ее неприступными коленями, и если бы его слезы окаменели, то их можно было бы вставлять вместо алмазов в тысячерублевые золотые перстни, наделав этих перстней не меньше, чем на миллион рублей. Манджиловская преподавала в музыкальной школе, куда зажиточные жители поселка направляли учиться своих детей, чтобы те в дальнейшем были гораздо более образованны, чем их родители, имеющие очень много денег, но весьма далекие от того, что составляет тонус и стержень длительного пребывания человека на земле, то есть от культуры. Был богат и отец Тани Д. Да и сама она, будучи типической по Д. Лондону «дочерью снегов», являла собой удивительный пример гармонии человеческой особи с окружающей средой. Метиска с задубевшей красноватой кожей, она с детства привыкла к суровым испытаниям условного Севера, каковым являлась ее родная местность, по условиям оплаты труда приравненная к Заполярью. Привыкла к ночевкам в палатках и на сне-

гу, многокилометровым изнуряющим переходам по сопкам, крытым лишь жестким оленьим ягелем и плитчатыми каменными осколками, рвущими кеды и резиновые сапоги, стрельбе вдаль и влет из различных видов оружия, включая карабин, постановке силков, разделке туш, ошпыванию дичи на морозе, словом, ко всему тому, что диктуется окружающим социумом для выживания натурального человека и его успехов на производстве и в личной жизни. Однако она непосредственно перед поступлением в геологоразведочный техникум тоже занималась в музыкальной школе и даже добилась определенных успехов в игре на баяне, класс которого и вела Манджиловская в этом учебном заведении.

Сейчас, на протяжении уже стольких прошедших лет, я думаю, что не открою тебе, Василий, какого-либо секрета, если скажу, что экспедиция наша искала, как в фильме «Неотправленное письмо», пиропы, минералы группы гранатов густого кровавого цвета, являющиеся спутниками алмазов и при своем обильном нахождении в шурфах ли, пробитых сезонными рабочими-бичами, или просто в речных шлихтах, образующихся от промывки соответствующей породы в деревянном старательском лотке, указывавшие на вероятную возможность залегания в непосредственной близости от места обнаружения находки, алмазных трубок, столь необходимых Державе для последующей промышленной добычи этих неотшлифованных драгоценностей с целью приоритета страны на мировом рынке и дальнейшего благодетельствования сограждан, последовательного и неуклонного повышения уровня их жизни. Манджиловский все еще был полон энергии, неудачи не обзолили его, не заставили опустить руки, а годы, проведенные вне Ленинграда, лишь укрепили в нем веру в счастливую звезду и сладкое будущее всего человечества. Таким, целеустремленным, резким,

всегда готовым принять самое правильное решение в любой сложной ситуации, не дающим спуску лодырям и захребетникам, но одновременно всегда готовым к дружеской шутке и к тому, чтобы спеть в кругу друзей, аккомпанируя себе на гитаре, я и запомнил его и теперь, на протяжении стольких канувших лет, отчетливо понимаю, что такая девушка, как Таня Д., 19-ти лет, просто не могла в него не влюбиться, просто это было совершенно исключено, чтобы она, северная, не влюбилась в такого молодца.

А надо заметить, что холостая жизнь большого количества мужчин и женщин вне оседлого дома в значительной степени способствовала романтизации действительных отношений между обоими полами и животворное облако густого терпкого флирта окутывало таежные палатки в свободное от работы время. Якут Николаев ночью носил цветы за 10 км по распадку и складывал их у входа в жилое помещение одной дамы-«геофизички», страдавшей близорукостью. Он складывал цветы, улыбаясь глядел, как ветер чуть-чуть прогибает упругие брезентовые тенты палатки, где обитало его божество, и тут же возвращался обратно, чтобы утром, встав вместе со всеми, участвовать в напряженнейшей работе по освоению природных недр Восточной Сибири... Что-то слышал я и о драматической истории начальницы партии Валентины Ивановны Конь, влюбившейся в мальчишку, а две алданские подружки Валя и Тома просто-напросто не вернулись в техникум после окончания полевой практики и остались жить в палатках, стирая портянки и варя кашу своим новым друзьям. Любимой присказкой Вали было: «Ну ты, падла-курица», а Тома была очень томная.

Не избежал общей участи и я. И у нас с Таней Д. установились какие-то нельзя даже сказать, что ро-

мантические, но все же отношения частичной влюбленности, несмотря на то, что оба мы пользовались в обиходе нецензурными выражениями и не переступали того порога дозволенности, который мировая культура рекомендует в случае подобных, практически целомудренных отношений. Однажды мы, увлеченные сбором ягод, грибов, лекарственных растений, углубились в тайгу, и Таня Д. даже легла на спину, хохоча, но я, смеясь, лишь пощекотал ее блестящие влажные губы, открывавшие полоску ослепительно белых, чуть прокуренных зубов, придорожной былинкой, и она тоже хрипло засмеялась в ответ, с возрастающим любопытством глядя на меня, ибо внешне я отнюдь не был похож на дурака либо импотента.

А дело в том, что я, конечно же, знал о ее безнадежной любви к Манджиловскому, знал, что его супруга уже однажды избила ее и мужа в присутствии свидетелей, ни один из которых не отказался бы от своих показаний, если бы кто-то заинтересовался подробностями этой безобразной сцены, которая произошла непосредственно после демонстрации в поселковом Доме культуры фильма «Гранатовый браслет», снятого на киностудии «Мосфильм» по одноименному произведению А.И.Куприна. И, не будучи мелкой душонкой, отнюдь не опасаясь крепкого кулака главного геолога, все же считал себя не вправе вторгаться в чужую устоявшуюся жизнь, тем более, что моя практика через две недели заканчивалась и я с замиранием сердца думал о том, как возвращусь в столицу с ее студенческой обстановкой дружбы, культуры и любопытного быта 60-х годов, когда гремели, зажигались и, разгоревшись, сгорали ясным пламенем многие славные имена, как буквы на пиру.

К тому же в меня была влюблена плаксивая баскетбольная девица из Киева, к которой я однажды по

пьянке приставал, а она мне, как пел покойный В.Высоцкий, «отпустила две короткие затрещины», хотя тут же компенсировала свое поведение исполнением похабнейших куплетов про пещеру, где лежала дрянь, которой «кто-то кинул и пошел бежать», аккомпанируя себе стучением по верхней деке гитары, отчего у нас с тех пор уже установились какие-то отношения, и мой роман с Таней Д. она, подобно Манджиловскому, тоже могла рассматривать как измену. Однако я совсем не любил ее. Рыхлая и пучеглазая, она мне совершенно не нравилась, и я практически злился, когда видел, что она постепенно вбивает себе в голову что-то касающееся наших отношений, ибо это тут же отражалось на ее продолговатом лице и телячьей улыбке.

А в тот день, когда все случилось, я был на приiske «Искра», где выпил немного пива и спирту, сидя на деревянной бочке. А потом весело возвращался домой по лунной подмерзшей грейдерной дорожке, громко распевая студенческие песни конца 50-х — начала 60-х, о чем-то мечтая и абсолютно ничего не боясь. А уже стояла поздняя осень, и я забыл тебе рассказать, что в палатке мы жили вчетвером. Девушка из Киева, я забыл ее имя и фамилию, спала на раскладушке, а я и Таня Д. в индивидуальных спальнях мешках, на кошме, составляющей пол палатки. Якут Николаев в тот день куда-то уехал.

Когда я возвратился, обе дамы уже спали, но я принес бутылку водки, и киевлянка, открыв глаза, сказала, чтоб ей не мешали спать. А Таня Д., удивительно ладная и проворная, вылезла из спальника и, что-то на себя накинув, вздула огонь, захлопотала у железной печурки, принялась разогревать пельмени, подбрасывать в печурку дровишки, так что яркий свет на секунду озарил наши лица! Я умилился и увидел под ее глазом небольшой синяк, но из деликатности не стал спрашивать, откуда он, не ведая, что

вечером она была в поселке, смотрела фильм «Гранатовый браслет» и стала невольной участницей грязного эпизода с женой Манджиловского. Да-да, я только сейчас вспомнил, что ни в тот день, ни раньше я еще не знал об этом эпизоде, узнал позже, а то, может, вел бы себя как-нибудь совсем по-другому, хотя надежды на это мало.

Весело переговариваясь, мы с Таней Д. поужинали, выпили бутылку водки и легли спать.

Сон в палатке — это особый сон. Было слышно, как шуршат таежные ветви, камни осыпаются в реку, отвратительно скрипя пружинами, ворочается на раскладушке моя киевская так называемая любовь. Внезапно я почувствовал на щеке легкое прикосновение пальцев и тут же передвинулся в спальном мешке поближе к Тане Д. Через секунду мы уже жарко целовались. Я запустил руку к ней в спальник и еле слышно спросил:

— А почему ты бритая?

— От вшей. Когда подолгу живешь в тайге, то могут завестись мандавошки, — быстрым шепотом ответила она.

Киевлянка заворочалась еще мощнее.

— Давай я залезу к тебе, — тихо прошептал я в затылок Тане Д.

— Я боюсь, что эта сука не спит и нас подслушивает, — прерывисто ответила она.

— А мне уж так хочется, — признался я.

— Да и мне не меньше, — шепнула она, и мы оба засмеялись, довольные друг другом, договорившись исполнить задуманное в более удобное для нас время и в более подходящей обстановке.

Но более удобных времен не бывает никогда, равно как и обстановки. Я убедился в этом наутро, когда между нами троими вдруг возникла страшная неловкость. Киевлянка явно злилась и даже зачем-то подкашливала, как туберкулезница, глядя на нас

с подлейшим укором. Через несколько лет, когда я уже жил в городе К., стоящем на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан, она вдруг заявила ко мне из Киева, пославши предварительно телеграмму, что будет проездом во Владивосток и желает «навестить старого товарища, надеясь на удачу». Но я ей дверь позорно не открыл и, затаив у двери дыхание, долго слушал ее назойливые звонки, удаляющийся вниз по лестнице тяжелый топот словновых ног...

Однако Таня Д., несмотря на неловкость, выглядела спокойно. Она припудрила синяк, но, когда я попытался украдкой обнять ее, отвела мои руки и сказала, что ее переводят в другую партию. Да и моя практика уже заканчивалась. В тот же день мы все и разъехались. «Мотэ, мотэ!» — уныло кричали погонщики оленей. Звенели бубенцы. Лил серый дождь, смешанный со снегом, оседавшим на навьюченные пожитки. И лишь возвратившись в Москву, я узнал от знакомых геологов, что Таня Д. в тот же самый день застрелилась из карабина... Василий, да ты никак спишь?

Василий действительно уже спал, разметавшись. Мало того, что он спал, он спал уже в собственной постели, ибо Евгений, сильно увлеченный рассказом, как-то и не заметил, что его собеседник давным-давно перебрался от камина в постель и теперь даже немножко похрапывает, жуя во сне ус и что-то бормоча по-английски.

Лицо Евгения исказилось, и он обвел воспаленными глазами весь изящный интерьер дома, отметив про себя, что в широкое остекленное окно тычется лапа ели, над камином висит окропленная кровью натурального испанского быка натуральная мулета, в углу мерцает экран потухшего телевизора и камин тоже потух, как потухла под утро печка в его взволнованном рассказе о несостоявшейся любви.

— Спят, спят, все вокруг спят, как «спящие» из моего старого произведения, написанного в 1969-м и до сих пор не опубликованного под надуманными предложениями, что я, дескать, такой и сякой, — заворчал он и вздохнул, продолжая: — Якут Николаев потом утверждал, что Таня Д., как наш русский дореволюционный солдат, сняла сапог, размотала портянку, вставила дуло карабина в рот и большим пальцем правой ноги нажала курок, отчего кровавые ошметки мозга, кожи, волос размазались по брезенту палатки. Да врет, наверное, якут Николаев! Начитался, поди, того же Куприна, пьянь эдакая, прости Господи! Ведь рассказывал же он, как, закончив институт, поехал к себе домой, в селение Вартуй, а по дороге, в Якутске, его друг детства украл у него фотоаппарат «ФЭД», которым он меня когда-то снимал. С горя напился и обнаружил утром, что старейшины селения связали его ремнями, а сами укоризненно цокают языками, пьют чай, собравшись в кружок и дожидаясь его пробуждения, потому что он в день возвращения на родину с дипломом и обмывания значка о высшем образовании в стакане со спиртом к вечеру перебил камнями окна местной милиции, начальником которой был другой друг его детства, но честный. После он работал инженером взрывного отряда и оторвал направленным взрывом ухо бурому медведю, который повадился драть оленей, являющихся государственной собственностью и находящихся у якута Николаева на подотчете. Про якута Николаева тоже нужно написать. Он был очень культурный, любил Кафку и А. Вознесенского, но стоило ему выпить хотя бы 5 грамм водки, как он тут же на глазах дичал и начинал крушить все вокруг, чаще всего просыпаясь по утрам связанным, с синяками и кровоподтеками, — бормотал Евгений, тоже засыпая.

После чего окончательно затих писательский поселок «Алая Пахра», расположенный на 101 км Каширского шоссе, потому что Евгений был единственным, кто не спал в этом поселке в столь позднее время, за исключением будущего лауреата Фурдадыкина, но это уже, как говорится, другая история.

20 августа 1984 г.

ПОПОВ Евгений Анатольевич родился в 1946 г. в Красноярске. Окончил Московский геологоразведочный институт. Печатался в журналах «Новый мир», «Аврора» и ряде других. Участник и один из пяти редакторов-составителей альманаха «Метрополь», за что был исключен из СП СССР. В 1981 г. в издательстве «Ардис» (США) вышла его первая прозаическая книга «Веселие Руси». В настоящее время широко публикуется как у себя в стране, так и за рубежом. Живет в Москве.

СТИХИ ИЗ РОССИИ

Александр Розенштром

РЯДОМ С ОТКРЫТОЙ ФОРТОЧКОЙ

Только с детства полюбив горький
запах дыма, что еще слаще,
если снегом занесет горки,
если будет сыпать снег чаще,

чем положено ему свыше,
чем дозволено ему, скажем,
если к ночи занесет крыши,
а потом и все дома даже,

если будет только свет тусклый,
лишь огарочек луны только,
и не дрогнет ни один мускул
на лице заблудшем, нисколько

не обидно пропадать даром,
разменявшись мелочью медной,
в части света, где снежком талым
протирают утром лоб бледный,

где из крови самогон варят,
на погосте городят грядки,
а потом впотьмах глаза скалят
и играют с наждаком в прятки.

Только с детства полюбив зябкий
ветерок, что, залетев в фортку,
не пропустит ни одной тряпки,
ни одной бумажки, ни свертка.

Разбросает по полу прозу
зимних будней и тряпье быта, —

разлетятся зеркала в слезы,
разорвется, что и так шито

грубой ниткой впопыхах, сдуру,
словно губы через край спьяну, —
глянешь, словно ветерком сдуло,
глянешь, снег идет, совсем рано...

И поймешь, что не прожить в мире
с этим городом, страной, горем, —
не найдешь дождей, чтобы смыли,
не затопишь никаким морем.

Ты поймешь, что, как ни бей в било,
не разбудишь никого — поздно, —
все останется тут, как и было,
ну а что-то там про свет звездный —

мы оставим эту чушь чадам
праха, детям лагерной пыли,
нам, отравленным другим чадом,
нужно только, чтоб о нас забыли.

Нужно, чтобы как сундук старый
в заготовленном на снос доме,
нужно, чтоб земная ось стала,
нужно, чтобы никого кроме —

никого и никогда боле,
ни во вторник, ни потом — в среду,
чтобы, как костры в пустом поле,
зажигать вокруг себя беды.

Не махнуть ли нам с тобой в Питер,
не рассыпать ли на пол зерна, —
ты купи мне, брат, такой литер,
чтоб дурной башкою в снег черный.

1989

* * *

я живу в розовом саду...

Р.А.

Словно монеты в ночной водоем,
в черные бездны бросаю стих.
Усекновенна мысль о твоём
голосе, о волосах твоих —

цвета дубовой седой листвы,
цвета солнца в ночной воде, —
даже не знаю — на ты, на вы —
мне обращаться,

в местности, где

солнечный ливень льет напролет,
лупит по листьям, еловым усам,
в местности, где остаток пройдет
вечности — ветками по волосам, —

словом, в местности той, где слова
значат не больше, чем говорок
кровельных капель, слышных едва...
Все же, вдогонку несколько строк —

скрепок железных в потной горсти
я посылаю — в надежде спасти

куртки дырявой ночной капюшон,
тонкую изгородь на сквозняках,
желтое крошево, теплый крюшон,
мерзлую соль на сбитых мысках.

Вспомни испарину, стужу, ожог,
кашу сырую, сердце в силках, —
словно губами жаркий снежок
с варежки мокрой хватать впопыхах.

Что же почудится вчуже мальцу,
или пространство опять ни гу-гу, —

теплую копоть, сухую пыльцу
в памяти пальцев не сберегу.

Смерть — это оттепель, сырость, озноб,
это отдышливый страшный простор,
кашель полночный, оттаявший лоб,
это скребков и ворон разговор.

В час, когда снова снега горячи
и беспокойны сны сторожих,
лишь о тебе глаголаю в ночи,
плоть подстилая стихов чужих.

Боже, прости мне чужие слова,
Боже, помилуй, даром живу,
словно навеки утратил права
на золотую лесов татарву,

на золотистых твоих голубей,
заполонивших небо вдали.
Боже, помилуй и пожалей,
прошлое тихим снежком убели...

НОЯБРЬСКИЕ СТАНСЫ

Не Кузбассов и не Загэсов —
мы боялись будничных бесов,
каши гречневой с молочком.
Не сарказма, не укоризны,
а уютной службы акцизной,
в толчее кулачка с пяточком.

Не рубцов, а холеной холки,
да воскресной пустой кошелки,
да двуспального забытья...
Не каких-то глупцов каленых —
мы боялись мыслей краплёных
и предательского колотья.

Где-то справа, точнее — слева,
мы боялись, как божьего гнева, —
бесконечного мартабря.
Не огней на ночных заставах,
мы боялись суждений бравых,
вместо правды где — пруха, пря.

Как и жить среди стишков пайковых,
среди торжественно-образцовых
пустыррей, где всему конец, —
если сами не из таковских,
чтобы сгинуть в ямах мордовских,
скомороший зажав бубенец.

Был ноябрь, первые числа,
серебристая морось висла
на линиялых шелках знамен.
Под ленивый вой кабыздоха
шутовская кончалась эпоха
скукой кукольных похорон.

Пахли сумерки мокрым мехом,
пахли судьбы недолгим смехом
и холодным сырым углом.
Что мерещилось неумехам,
нам, прорухам, и нам, прорехам,
нам, не сдюжившим напролом.

Так и сгинуть нам на вокзалах
стаей беженцев одичалых,
не возвысившись до судьбы.
Сизарями в помойных дырах,
мертвецами в чужих квартирах,
горсткой швали и голытьбы.

Так и жить нам, в парадных рея,
возле люков крылышки грея,
и не знать, как воздух упруг.

Ах, последние эмпиреи,
курослеп, хохолок пырея,
и разъятых зрачков перепуг.

Где ты бродишь, дева Мария,
где ты слезы роняешь сухие,
на кусачем каком сквозняке?
Где, бубенчики, где, литавры,
где веселая зелень лавра,
где вы, розы в дожде и песке?

РОЗЕНШТРОМ Александр Игоревич родился в 1960 году, закончил факультет журналистики МГУ в 1983. Работал дачным сторожем и переводил поэтов народов СССР, американскую и индийскую поэзию. Оригинальные стихи в СССР не публиковались.

* * *

Соленые бумажки — это деньги.
Они, как стебли дорогих цветов,
кочуют по ладоням потным.
Их и на двор приносят скотный —
крестьянам показать в сторонке от коровьих ртов.
Уже крестьянин к подвигу готов
и нищему в ладонь не положить
то, что в сберкассу может положить.

* * *

Морским зверьком лежала стройка тихо.
Толкая круг, строитель с барышней плывет.
Строитель — трус. Вдруг барышня-трусиха
лимитчиков на помощь позовет?

И позвала. И люстру из наследства,
как якорь, прижимает к животу.
Лимитчиков в строительное бедствие
шлет Айвазовский на плоту.

Морской зверек. У барышни глаза поголубели
июньским сахарным талоном.
Жив Соллогуб. Его качели
лимитчикам кладут поклоны.

* * *

Нравится, когда не срочно
документ встречает пулю.
Постранично и построчно
им героя обвернули.

Колосятся вражьи травы.
Поднимая ветерок,

героиней лесосплава
тянет, тянет пуля срок.

Стал герой худее сабли
в тех доку́ментовых ножнах.
Пули, острые, как грабли,
ковыряют осторожно.

Героическим росточком
героический кулак
выбрал темненькую ночь,
вырос в сторону, где враг.

* * *

А Родина не делает нахальным.
И форточка, и занавеска
на этаже полуподвальном
поют хвалу жилищам коммунальным.

Жми тапочкой домашней на педаль,
веди послушный экскаватор
в ту очарованную даль,
где хлебушка для нищего не жаль,
где в храм подселишь элеватор.

* * *

Палец у виска ночует.
Дура лошадь снег не чует,
глазками сверлит.

Щелкнул ножик перочинный,
на войну бежит мужчина.
Где, мужик, болит?

Спичка будит на работу,
от нее горит болото,
крестит брат-шалун зевоту,
теплится микроб.

Лошадь бродит, как простуда,
как немытая посуда,
не съедят ее покуда
барин и холоп.

* * *

Экономные ребята
от халата до халата
натянули провода.
№6 в степи палата.
А у Маркса борода.

Вредно думать о плохом.
Зря хорошие мыслишки
собирают ребятишки
за Чапаевым верхом.
А у Фурманова книжки.

* * *

Барабанщик потянулся к блюду.
Пионер, потомок Иоана,
в царскую тук-тук посуду
палочками мимо барабана.

Ленин умирал от пуль эсерки.
Где бездетную пасет охрана?
Ей не внучки наши пионерки.
Где они с потомком Иоана
в царскую тук-тук посуду?
Некому рожать Иуду.

* * *

Это должен знать каждый —
сколько стоит проезд в трамвае
и на сколько проездов в трамвае хватит зарплаты.

Если бы хан Батый жил сегодня в Москве,
и он получал бы зарплату.
И был бы из всех пассажиров самый злой и богатый.

Но Батый этот умер давно.
И что Москва ему дань платила —
должен знать каждый.
Хотя не узнать все равно —
на сколько проездов в трамвае той дани ему бы
хватило.

* * *

Головку птичью защитил ушанкой,
свою ушанку птичке перешил.
И петухов передушил,
чтоб не будили спозаранку.

Сам не умел он не шуметь,
не плакать, не смеяться.
А птичке разрешалось все уметь
и тоже человеком притворяться.

И, слезы поклевав с его лица,
умела птичка радовать ловца.
И тоже притворялась человеком
с коротким человеческим веком.

Зачем в чужой ушанке умирать?

АСИНОВСКИЙ Олег Эдуардович родился в 1964 году в Москве. Инженер-системотехник, живет и работает в Москве. В декабре 1989 года в московском издательстве «Прометей» вышла первая книга стихов «До и после», изданная за счет автора.

*

Когда решил,
Иди и не оглядывайся.
Любовь
Жметя
Слепым котенком
К автомату с газированной водой,
К мегаполису,
К многоэтажной перспективе
Замысловатых любезностей.
Иди —
Ибо
Ты одинокий прохожий
Ничем не можешь помочь.

*

Полдень.
Все кажется
Полным особенного значения.

Мальчик,
Играющий на свирели.
Старуха,
Шепчущая о смерти.
Вон те двое,
Идущие по траве,
Которую стелет ветер.
Бродячий пес.
Фуражки стариков-косарей,
Выгоревшие на солнце.

И любовь,
Сама превратившаяся
В подобие ветра.

*

Найду
Непредвиденное.
Пригублю.

Полюблю
Нелепый
Случай.

Стану зависеть
От завета
Доверчивым
Быть.

*

Я удивляюсь —
Почему
Мне снятся
Не еловые рощи,
А покинутые мной
Города,
Где по мирным улицам
Бродит мечта в измятых кружевах,
И голуби царят отрешенно
Над страстотерпицей-мостовой.

*

Покой
на удивление легко уживается
с яростью.

Здесь, в переулке Коте Месхи
почему-то мне кажется,
что люди
начинают стареть еще в детстве,
седея от клятв.

Клятвы
не менее трудны,
чем ощущение
вечности любви
и верности ей.

Так из правды и нежности
слагается
утонченная летопись переулка,
курится,
как дым в речах,
тонкой вязью вылетая из окон,
исчезая
перед подножьем фуникулера,
как фимиам.

*

Летопись была окончена.
Ее внесли в храм.
Покрытые фресками стены
Слушали хоры слов —
Отзвуки
Мифов,
Злоключений героев,
Падений городов
И княжеств.

Но раньше,
Чем писалась эта книга.
До того,
Как счастье хлебных колосьев
Опоясало мир.
Прежде,
Чем весной крестьянин пел
И пахал
Истомившийся,
Сыпучий пласт.

Раньше всего — ИСТОРИЯ, —
След в след шагая
За каждым из нас
По гигантской дороге,
Утвердила начало начал,
Утрамбовала фундамент.

Столь неделимый,
Что даже
У самого отчаянного лгуна
Только одна судьба
И одна правда.

*

Научная общественность возмущена.
Милиция права.

Но Колумб
Перешел океан
В неположенном
Месте.

МИЛОРАВА Юрий Григорьевич родился в 1952 году в Тбилиси, окончил французский факультет Тбилисского института иностранных языков, работает на Тбилисском производственном объединении «ОРИОН». Пишет по-русски, публикуется с 1969 года в периодике и сборниках — в частности, в журналах «Литературная Грузия» и «Русское слово» (Тбилиси), в тбилисском сборнике-ежегоднике «Дом под чинарами», в коллективном сборнике «Кольчугинская весна» (Ленинск-Кузнецкий, 1988).

* * *

Явилась осень.
С вымокших осин
уже опали крылья неохотно,
и солнце светит из последних сил,
и, слава Богу, кончена охота.

И, слава Богу, тишина кругом,
когда ночами глухо ноет тело.
Что делать, если я с одним крылом.
И ты с одним.
и стая улетела.

* * *

Незаконнорожденный сын виноградной лозы и мула,
мимо денег и мимо времени прущий в прах,
отвалили киты,
и надежда тебя обманула,
и покоится нынешний мир на своих черепах.

Посиди у огня,
на щепу расщепляя поленья,
озаряя мерцающим светом последний вокзал.
И из скорости времени
вычти скорость мышленья,
чтобы стало понятно,
насколько ты опоздал.

Пусть поведает Ягве, почем черепа на рынке?
И почем Его чаша?
И что в ней?
И с чем ее пить?
Мы уже не умеем молиться,
но мы по старинке
на краю преисподней приходим в Его общепит.

Но и так уже ясно,
что некуда больше деться,
что едва ли уже дотянем до новой весны.
Неожиданно различаю в себе младенца,
колясочного по миру
в катафалке
родной страны.

* * *

Ворвавшись в заспанный январь
кульбитом, сумасшедшим сальто,
голубкой снега — на фонарь,
пятном белил — на холст асфальта,

лежу на Внуковском шоссе
и, разделяя участь птицы,
гляжу на стынущие лица
в текущем мимо колесе.

А в небе,
Богу вопреки,
печальный пасынок России
летает наперегонки,
покуда не иссякли силы.

Еще не угадав судьбы,
летит, выпячивая локти,
туда, где пьяные столбы
и жаркий дух ревущей плоти,

где, в небе пропахав между,
с отравленными голубями
в обнимку
я уже лежу
в унылой придорожной яме.

Россия,
сводная сестра,
не сотвори себе кумира!

Когда закончится игра
в театре стынущего мира,

тогда останутся в конце
пути,
где занавес закрыли, —
зрачки, ползущие по крыльям,
и мертвый голубь на лице.

* * *

Напророчила снег
одинокая туча-пророчица.
И московский декабрь —
словно пес у закрытых дверей.
На звенящем ветру
догорает фонарь одиночества —
пожалуй, единственный
из еще не погашенных
фонарей.

Я живу на десятом.
По небу текут тротуары.
Подгулявшие вопли срываются с черных мостов.
И стоит поставой,
словно замок на берегу Луары,
на высоком посту
охраняя влюбленных котов.

У ночного окна
ожидая случайного гостя
из далекой страны,
у которой названия нет.
Отработала медь.
Возвратились деревья с погоста.
Проступил дирижер.
Тишина.
Начинается свет.

Я привык ко всему.
И на выстрелы щею не выгну.
Я играю с листа.
И умею дороги листать.
Я привык к этой жизни.
А надо — и к смерти привыкну.
Будем водку с ней пить
и по сонной столице летать.

Провыврнемся в ночи по Арбату,
а после — по Трубной.
И заглянем домой,
где томится огонь в камельке,
где тепло и светло,
где я сплю с телефонною трубкой,
разговаривающей на чужом языке.

* * *

Ночью тревожно кричали цикады,
плакал ребенок, натужно дыша.
Целую ночь между раем и адом
осиротело металась душа.

Целую ночь бесноватые тени
бились, и с дверью шептался замок.
И в полудреме я видел, как стены
глухо сошлись.
И проснуться не мог.

Не получалось.
На помощь позвать бы —
голоса не было, не было сил.
А за окном августовские свадьбы
пели.
И ветер их шум приносил.

А за окном фонарями чадила
улица детства.
По улице той

молодость что ли тайком уходила,
пользуясь долгой ночной темнотой.

Или внезапно кончалась эпоха,
ключьями мрака сползая со стен.
Мне было страшно.
И мне было плохо.
Я умирал без единого вздоха.
А над огромной землей между тем
буйным пожаром заря просыпалась,
и в ослепительном свете ее,
свесившись с тазика,
улыбалось
свежевыстиранное белье.

НА ОСТРОВЕ

Мой остров был стихиями влеком,
он, как корабль, вспарывал пучину.
А я на нем служил истопником
и в печь бросал шипящую лучину.

Мой остров плыл неведомо куда.
Вне времени.
Ничтожный и великий.
А я — топил.
И со стены скита
глядели в печь задымленные лики.

Я был один.
До времени. До дней
великого пришествия людского.
Но, хворост собирая меж камней,
я знал уже, что все начнется снова.

Я знал, что эти лики оживут,
продолжат род
и сотворят молитвы,

костры зажгут,
и весело заржут
гнедые кони у истока битвы,

Я знал, что снова реки запоют,
и сложатся, сомнения развеяв,
и явные сообщества иуд,
и тайные сообщества матфеев.

Я знал, что все на свете неспроста:
пройдут снега,
и снова грянет лето,
и снова предстоит распять Христа
уже за сотни верст от Назарета.

И я топил.
В лицо дышала печь
густым огнем.
И ночь перед рассветом
на убыль шла.
И так хотелось петь!
Но я не мог.
Я слов еще не ведал.

БЕРШИН (Беренштейн) Ефим родился в 1951 году в Тирасполе, окончил факультет журналистики МГУ, работает зав. отделом литературы и публицистики в еженедельнике «Советский цирк». Стихи печатались в сборнике «Гамма» (Сыктывкар) и в журнале «Юность».

* * *

в развалинах бесцельных филомел
поет простую песнь культуры
ау! обрушился фасад
ау! осыпались колонны

ему лесничий говорит:
«здесь зрячий город расступился
и дал незрячему пройти

он посохом увитым хмелем
чуть тронул земь — взбрыкнулись камни
и усмиренные лежат»

1987

* * *

сыграй же пианист сердюк
прощание славянки
да так чтоб заглушить испуг
в бесстыдной перебранке слуг
в ухмылке содержанки

пиши безумный велимир
пещеры и пенаты
в отместку тронется эфир
и выскользнет звезда маир
в сырые казематы

а ты хмельной гиперборей
истлевшими перстами
дом нарисуй жену детей
и слезы хитрые пролей
над мертвыми холстами

1989

* * *

там вдруг почувствуешь какой-то нежный смрад
тут полыхнет чертеж средневековья
здесь свалится стремительный снаряд
цветком на изголовье

се говорит эдемская гроза:
чуть обожди все сменится местами
раздвинутся пески и расцветет лоза
мясистыми листьями

1989

* * *

отшельник батискаф и мантия хмельная
каким ключом ни отопрешь ларец
в обломках караван-сарая
все скалится мертвец

надежно погребен засыпан требухою
на весь подземный мир стозевно голосит
и как загнать его немеющей рукою
во гроб повапленный в хрустальный скит?

1989

* * *

и робб-гриье не довелось писать
а что косноязычному де саду
молись чтоб скомкала кровать
бесстыдную усладу

нет не под шорох ветерка —
в чертополох айда
туда — в суглинок позвонка
тупой кариатиды

вонзить в ночном полубреду
спеленутое жало
шел — и свалился на ходу
пружина завизжала

и смолкла гул затих «октавио пойдем
печально здесь тревожно
поодаль блещет водоем
в нем искупаться можно»

«но нет — чуть слышно отвечал —
там не поют сирены
а мне милей теперь кимвал
и топот мельпомены»

1989

ВОЛЧЕК Дмитрий Борисович родился в 1964 году в Ленинграде. В 1982-84 гг. редактор самиздатского журнала «Молчание», с января 1985-го — редактор литературного «Митиного журнала» (вышло 28 машинописных номеров). С февраля 1988 г. член редакции общественно-политического журнала «Гласность». Автор нескольких самиздатских сборников стихов, прозы, работ о русской и американской поэзии XX века.

* * *

Хмурый туман, как усталый художник,
Глаз утомив слишком яркой картиной,
Бросил на берег противоположный,
Как на треножник, кусок мешковины.

Сразу исчезло с полсотни кварталов,
Дюжина улиц, полдюжины скверов.
Хмурый туман, как художник усталый,
Глаз успокоить желает на сером.

Лег он над гаванью, как на перине
На три часа — повелитель погоды.
Хоть ненадолго — ни звуков, ни линий
На три часа, но как будто свобода.

* * *

Рвано, размашисто, нервно, контрастно
Сотней голов, миллионами рук,
Плугом и пушками, черным и красным
Пишется новый истории круг.

Новый виток бесконечной спирали
Войн, поклонений, восстаний и иг.
Красные пятна тайком подтирали
И разбавляли белилами их.

Вот получилась картина на славу!
В розовой гамме, ажур и пастель.
Будто бы ангел-хранитель державы
Всем обеспечил и стол и постель.

Голос часов колыбельно спокоен,
Тих, безмятежен у времени ход.

Правду и ложь, палачей и героев
Стрелка спиралью тугою свернет.

И не взглядеться во тьму тех закаток,
Не раскопать, не нарушив, пласты.
К тайнам палитры, не зная Разгадок,
Истинный цвет не вернуть на холсты.

Залит пейзаж розоватым елеем,
Стяги алеют, всегда на посту,
Бдит караул у дверей Мавзолея,
Розовой гаммы храня чистоту.

* * *

Вот ветерок пахнул над храмом,
И стройный звон колоколов
Поплыл в давно знакомой гамме.
Но люди свыклись и голов

Не поднимают, твердо зная,
Что ветер стихнет, тишина
Опять дома запеленает
Для идиллического сна.

А этот, глянь-ка, малохольный,
Едва вдали услышал звон,
Уж рад, полез на колокольню
Под самый-самый небосклон.

Но какофония, какую
Людей он радовать мечтал, —
Презревший все каноны боя,
Злой, оглушительный металл.

Ему кричат: «Ты языками
Зря не качай, ведь не звонарь».
А звонарей по всей программе
Готовят в храме, как и встарь.

Пусть, пыля, закручивают смерчи,
Дует свежий ветер перемен.
Только я брюзгливо недоверчив,
Я привык к покою старых стен.

Плющ на них так славно зеленеет,
Паразит, а дотянул до крыш,
Над домами ветер все сильнее,
А внизу спасительная тишь.

Да, с высот, где грудь вольнее дышит,
Кажется убог людской планктон.
Но уж больно круты эти крыши,
И неловко падать на бетон.

Ветер хлопнет флагом и умчится,
Только пыль развеет по углам.
Глянь, а флюгер на высокой спице
Новый курс указывает нам.

ЯБЛОКИ ИЗ САДА ШЛИЦБУТЕРА

Рассказ

В те годы я часто летала в Москву.

Почему-то мне было необходимо глотнуть керосиновых вихрей Домодедова, домчаться на экспрессе в город, представлявший мне тогда центром мироздания, и с неделю примерно заниматься чепухой: слоняться по редакциям, заскочить два раза в какой-нибудь не лучший театр на случайный спектакль, вечерами околачиваться в прокуренном Доме литераторов и напоследок истечь потом в давяльне ГУМа, выполняя заказы друзей и соседей... Словом, зачем-то вычеркнуть неделю из своей тихой и толковой жизни.

Перед одним таким сумасшедшим набегом в Москву, когда весна переполнила мой южный город страстью рвущихся почек, когда не стало вдруг сил на ежедневное проживание в моей убогой келье времен первой оттепели и я срочно взяла билет на послезавтра, — перед поездкой позвонил мне знакомый литератор, парень свойский и приятный.

— Ты, говорят, в Москву летишь? — спросил он без акцента. Он и писал на русском языке, но странное дело: на бумаге узбекский акцент оживал и озорно витал над утомительно правильными фразами.

— Лечу! — крикнула я в трубку, вся уже устремленная в бестолковый гул Домодедова, в жадную радость московских разговоров.

— Не в службу, а в дружбу, а... — сказал он. — Занеси мой рассказ в один журнал. А?

— Делов-то, конечно, занесу... — В те годы я охотно бралась выполнять любые поручения, сил было немеряно. — Что за журнал?

— А знаешь, оказывается, есть журнал на еврейском языке. Хочу им один свой рассказ предложить. От неожиданности я замялась.

— Понимаешь... — торопливо заполнял неловкую паузу мой знакомый, — их должно заинтересовать... — Рассказ — не буду кокетничать — гениальный. На еврейскую тему... — и, поскольку недоуменная пауза на моем конце провода все длилась, он пояснил: — Это про нашего соседа, сапожника, дядю Мишу. Я ведь в махалле вырос, у нас там кто только не жил. Сосед, дядя Миша, смешной такой мужик, еврей... Их должно заинтересовать. Это на тему дружбы народов. Сейчас, сама знаешь, придают большое значение... интернационализм, то, се...

— Понятно, — сказала я наконец. — Но разве журнал выходит не на языке идиш?

— Переведут! — вдохновенно заверил он. — Это в их интересах! Там такой махровый интернационализм!.. Переведут. Передай, расходы за мой счет.

— Ладно, — сказала я и, не удержавшись, осторожно добавила: — Неожиданная, признаться, сторона твоего творчества... Чего это ты?

— Захотелось, — доверчиво объяснил он. Парнем он был бесхитростным.

Я прочла этот рассказ в самолете. Отчасти из-за любопытства, отчасти из-за того, что забыла прихватить какое-нибудь чтиво, а мне во время полета необходимо отвлекаться. Дело в том, что обычно в середине пути, где-нибудь над Аральским морем или пустыней Кара-Кумы, когда бортпроводница убирает поднос с едва укушенным огурцом желчного цвета, а дремота морит заложника Аэрофлота и мотает его бедную голову по продуманно неприятной спинке кресла, в этот самый момент одна дикая мысль с наивной простотой и шизофренической ясностью посещает меня. Как это, в сущности, с т р а н н о, думаю я, непостижимо... Так в ы с о к о ... Я, еще зем-

ная до земной дрожи в коленях, до земной тошноты в груди — как я смею появляться здесь до срока и глядеть в круглое оконце живыми чуждыми глазами на этот спящий покой? Что мне нужно? Земной пустяк: переместиться как можно быстрее из одного края страны в другой. Зачем? За земными пустяками... Как же я смею? — думаю я, — греметь, сотрясать, рвать в клочья тупым земным орудием эту юдоль другой моей жизни? Как смею я так нагло забегать вперед и срывать глупой шкодливой рукой это покрывало?

...Словом, в самолет я беру обычно хороший детектив. А в тот раз, забыв дома книгу, волей-неволей потянула из сумки красную папку с рассказом ташкентского прозаика и довольно быстро прочла его. Этот рассказ «на еврейскую тему» оставлял довольно живое впечатление. Написан был он в форме монолога. Сапожник-еврей забегает на минутку к своему соседу, узбеку. Несколько фраз на бытовые темы, и — слово за слово — сапожник вспоминает всю свою жизнь, трагикомичную, как это водится у подобных персонажей, и делится с другом-соседом своими бедами, в частности, такой тяжелой бедой, как отъезд беспутного сына в Израиль.

На этом месте я поняла, что с рассказом все будет в порядке, его напечатают. Я аккуратно завязала тесемочки на красной папке, спрятала его в сумку и наклонилась к иллюминатору. Самолет, содрогаясь, висел над глазурированной равниной облаков, выпирающей там и тут спящие под солнцем сахарные головы. Это хорошо, подумала я машинально, это надо запомнить — сахарные головы облаков...

Да, я не сомневалась теперь, что рассказ моего знакомого опубликуют, и именно в еврейском журнале.

Любопытное то было время: изображать евреев в текущей литературе считалось не то чтобы запрет-

ным, но нежелательным, а лучше сказать, не совсем приличным. Если сравнение перевести в плоскость кожно-венерологическую (а оно почему-то просится именно в эту плоскость), то так примерно: не сифилис, нет, но неприятный некий грибок.

Во всяком случае, в одном популярном журнале как раз в эти годы целомудренный редакторский карандаш переправил в моем рассказе балбеса Семку Бухмана на балбеса Петьку Сидорова.

По врожденной дотошности некоторое время я пыталась выяснить мотивы национального перерождения героя и решила, что объяснить это можно всяко: например, попыткой редактора заверить читателей, что бухманы в нашей местности не водятся; а может, попыткой спасти репутацию автора, которого кто-то из читателей мог незаслуженно заподозрить в симпатиях к Бухману, хоть и балбесу. Наконец, это можно было расценить как намек: мол, не хватало Бухману быть ко всему еще и балбесом. В другом рассказе редакторская рука, не дрогнув, вычеркнула имя Лазарь, тем самым отказав персонажу в самом факте существования. Лазарь приказал долго жить, зато в мое гражданское мировоззрение влилась дополнительная струя иронии.

И только в одной ситуации герою позволялось быть евреем: когда он клеймил тех предателей и подлецов, которые, бросив Родину, уезжают в Израиль. Тут у героя открывались безбрежные возможности для монологов, диалогов и эпилогов, тут он узлом завязывался, чтобы доказать свою преданность Отчизне, свою ненависть к изменникам и свое заветное желание как можно меньше самому быть евреем и если Родина позволит, то и вовсе отвести от себя эту неприятность.

Словом, ту эпоху уже называли эпохой застоя, и я, чувственно воспринимая мир, представляю себе некое огромное, неопрятное, лежащее тело обще-

ства, по жилам которого вяло течет застойная кровь, бессильная снабжать сосуды мозга для полноценной деятельности.

Конечно, в нынешнюю прекрасную эпоху повальной гласности дело обстоит иначе. Например, недавно в одном передовом журнале, широко внедряющем идеи демократизации в различные слои общественного сознания, мне предложили даже помянуть в рассказе Петрова на Шапиро! Но... характер ли портится с годами, усталость ли, побеждая молодую иронию, точит душу — только я не приняла столь дорогого подарка. Тогда, уже в гранках, два молодых, смысленных и очень прогрессивных редактора переплавили неприкаянного Петрова-Шапиро в нейтрального Хабибулина... О, отечество мое!..

Редакторские манипуляции с фамилиями героев невольно напоминают мне историю переименования одной нашей семейной вещицы, а именно — глиняного дракона с клыками и вываленным, как у забегавшейся таксы, языком; дракона с интимной домашней кличкой Сашка Ибрагимов.

Ибрагимов крепко стоял на телевизоре четырьмя приземистыми, как у таксы, лапами, под одну из которых — левую заднюю — обычно подсовывали нужные бумаги: рецепты, справки, а также трешки и пятерки на хозяйственные нужды.

Ибрагимов довольно долго носил звучное тюркское имя, пока мой сын не вступил в полосу освоения непечатных выражений. Это была довольно тяжелая полоса в жизни семьи, когда за диванами и шкафами то и дело обнаруживались нацарапанные на обоях словеса. «Заведи тетрадь, — в сердцах посоветовала я своему второкласснику, — и пиши в ней на здоровье!» Тетрадь он завел, но непечатные вопли души иногда вырывались из тетрадного плена на волю. Однажды, вытирая с Ибрагима пыль, я обнару-

жила на задней левой лапе чернильную надпись: «Сукин с.»

— Ты глуп, — горько сказала я паршивцу, — можно было толковее зашифровать, например — «С. сын».

Стоит ли говорить, что бедный Ибрагимов сразу переименовался в Сукина Эса, тем самым приобретя турецко-китайский колор. Со временем он вообще плавно перетек в латиноамериканского, а то и мексиканского, если не испанского Сукинеса:

— Куда я справку ту подевал, из ЖЭКа?

— Посмотри под Сукинесом...

...Весна в тот год — буйная, душная — навалилась на Москву слишком рано и грубо, как после свадьбы жених, одуревший от ожидания. Волоча тяжелую сумку к остановке рейсового экспресса, на ходу расстегивая пуговицы дубленки, я кляла погоду, себя, а заодно и родителей, уговоривших меня надеть этот чертов тулуп: «Москва тебе — не Азия, там как ударят заморозки...»

Сейчас уже не помню — кто привез дубленку из степных просторов Краснодарского края, который, как известно, славится животноводством. Дубленка оказалась хитрой, с двойным дном: сверху — восхитительная натуральная, из мягкой, хорошо выдубленной замши, она выглядела довольно элегантно. Снизу же, то есть изнутри, то бишь со стороны меха — меха не было. Вместо благородной овчины сноровистые артельщики вшили подкладку из какого-то начеса, откровенно смахивавшего на вату. Венчал все это хозяйство воротник из искусственного меха с наивной блестяшкой, и, когда воротник поднимался, он окружал мою голову достаточно пошлым ореолом романтичности.

У меня даже есть фотография, где я снята в дубленке с поднятым воротником, вполне удачная фотография, «характерная», на фоне осенних деревьев,

я там похожа то ли на чилийскую патриотку в неблагоприятных условиях подполья, то ли на белогвардейскую контру перед расстрелом, исторически оправданным. Во всяком случае, несколько лет эта фотография предваряла мои публикации, даже заграничные. А если еще добавить, что уже недавно дубленку целую зиму носила в Москве англичанка Розамунда Барнет, неосмотрительно приехавшая в Россию глядя на зиму — в твидовом пиджаке, — можно сказать, что сей тулуп имеет свою задушевную историю.

Сейчас, зимами, дубленка висит в углу прихожей: я надеваю ее, когда нужно съездить за картошкой на Бутырский рынок...

Но в тот год легендарная дубленка была только куплена, и, хотя за три месяца зимней носки вата на ее подкладке уже свалялась в грязные комья, сверху все выглядело вполне респектабельно.

Задача заключалась лишь в том, чтобы в присутственных местах сидеть, аккуратно запахнув полы, а в гардеробах игнорировать гримасы гардеробщиц, имеющих скверную привычку бросать на барьер одежду подкладкой вверх...

...Подкатил автобус. Кондукторша с красной сумой на толстом животе обилетила уморенных банным теплом пассажиров, автобус вырулил на шоссе, разогнался, посыпались в окне березки-спичечки, и — воронка московской жизни завертела меня, втянула, всосала и выбросила только через неделю, после особенно длинного, морочного и никчемного дня, начатого в Доме литераторов, а завершеного где-то на задворках Измайлова, в тесной и захлавленной квартирке модного режиссера, на день ангела которого пригласили меня друзья...

...Утром, натягивая свитер, пропахший вчерашним сигаретным дымом, морщась и чихая, я думала: ну, довольно свинства, целая неделя сдохла, хвост

облез, и за каким рожном надо было сюда приезжать — неясно.

Укладывая вещи в сумку, я наткнулась на папку с рассказом ташкентского прозаика и тогда только вспомнила, что должна еще заскочить в какой-то (черт бы его драл, а заодно и меня, с моими обещаниями!) — еврейский журнал, значит, вылететь сегодня едва ли удастся.

Не переставая чертыхаться, я обзвонила московских приятелей — никто понятия не имел, где находится эта редакция. Наконец, кто-то вспомнил улицу... Да, кажется, там, номера только не знаю, иди и смотри на вывески...

Напялив все ту же дубленку, с сумкой потащи-лась я на аэровокзал за билетом.

Женщина в окошечке кассы растерянно полистала мой засаленный трепаный паспорт, то и дело вскидывая глаза от фотографии на мое лицо, не в силах, видимо, поверить, что ветхий этот документ принадлежит не пенсионеру, последний десяток лет воюющему с нарсудами и райсобесами, а молодой особе со свежими щеками.

Увы, это так: нет во мне почтения к документу. Нет почтения — ни к самому документу, ни к этому социальному институту как таковому.

Тут не могу удержаться от искушения рассказать о моем друге Лутфулле, замечательном узбекском поэте, который уже тридцать пять лет живет без паспорта. Когда я об этом рассказываю, меня спрашивают обычно: — Как так? Потерял?

— Почему — потерял? — с тайным восторгом возражаю я. — Вообще не получал.

— То есть как это? — спрашивают меня. — А как он Аэрофлотом летает?

— А он не летает, — отвечаю я вдохновенно, — он живет в пригороде Ташкента, пишет талантливые стихи и выращивает редкие сорта винограда.

— Но позвольте, позвольте! — уже раздражаясь, говорят мне. — А прописка, а...

— Да какая там прописка! — перебиваю я, симулируя радостный наив. — Он живет в доме, построенном еще дедушкой, с тремя своими братьями и пятнадцатью племянниками.

— Ну это вы бросьте! — желчно восклицают собеседники с паспортами и пропиской. — Так не бывает... приличный человек, стихи издает... Кроме того, существует районный участковый, который обязан...

— Да какой там участковый! — с презрительным упоением выпеваю я. — Участковый — это дядя Рауф, отчим двоюродной сестры жены старшего брата Лутфулла... — и клянусь, не знаю, что больше мне нравится: поэтический талант моего друга или его существование вне социума...

Неожиданно просто купив билет на вечерний рейс (место двадцать седьмое в хвосте летательной машины) и уже предчувствуя ледяную тоску высоты в середине полета, я сдала свою сумку в камеру хранения и с красной папкой подмышкой вышла в томиительно солнечный полдень. В сущности, дел у меня не осталось в Москве никаких, разве что пристроить чужой рассказ в еврейский журнал. Я нырнула в метро «Аэропорт» и, минут через двадцать вынырнув на нужной станции, побрела по солнечной стороне улицы, вглядываясь в вывески.

Проклятая дубленка тяжелым компрессом обнимала меня со всех сторон, снять ее совсем было опасно, коварный апрельский ветерок продувал подворотни. Расстегнуть же ее и вовсе оказалось немислимым — подкладка уже напоминала то ли измыленную мочалку, то ли бороду престарелого козла, то ли свалявшиеся внутренности ватного одеяла.

Я шла, вяло передвигая ноги (безумная московская неделя плюс весенний авитаминоз, утепленный

дублировкой) и так же вяло соображала — как представить в редакции рассказ моего знакомого.

Во-первых, необходимо сразу объяснить, что писатель — узбекский, это очень важно как укрепление связей между народами. В то же время нужно уточнить, что написан-то рассказ на русском языке, а то они испугаются возни с двойным переводом. И уж совсем обязательно сразу сказать, что в рассказе преобладает еврейская тема, а то зачем им вся эта музыка... Сложность заключалась в том, чтоб эту пеструю информацию заключить в одну сжатую фразу.

Я брела по улице и шлифовала в уме одну-единственную фразу, в которую, как в складной металлический метр, улеглась нужная информация.

— Здравствуйте, — скажу я непринужденно, — вот, привезла вам рассказ узбекского писателя, на русском языке, на еврейскую тему.

Да, именно так. Просто, спокойно, ничем не выдавая, что я тоже литератор, это им ни к чему. Никакой я не литератор, совсем наоборот. Бухгалтер, например. Меня попросили, я завезла. Отдам рукопись и пойду вон из Москвы.

Отыскав наконец нужную вывеску, я толкнула дверь и вошла в помещение редакции. За темным сыроватым предбанником показалась сумрачная комната, довольно просторная, нечто вроде холла, с двумя шкафами образца казенной мебели начала века и огромным пустым столом, забрызганным чернилами и изрезанным, похоже, еще ножичками нерадивых гимназистов. Стояло несколько стульев, и ни одного парного, будто собрали их по разным домам.

Со стены на меня смотрел грустный человек, плохо написанный масляными красками. Человек был похож на нашего соседа Даню Моисеевича, нудного, медлительного и настырного старика. Он подслеповат, когда обращается к вам, говорит, уперев

взгляд в землю, но вдруг поднимает глаза (а они расфокусированы, стары и беспомощны), и кажется, что смотрит он не на вас, а куда-то в века: одним убегающим взглядом в века прошлые, погромные, дымящие крематориями, другим — в века будущие, еще, может быть, более страшные. Взгляд — эпический, библейский, ужасающий; взгляд Господа на Содом и Гоморру; в это время насморчным голосом он изрекает какую-нибудь глупость вроде: — Не знаете, соседусшка, прекратятся когда-нибудь в ЖЭКе безобразия с горячей водой?

Подойдя к портрету, я прочла, что это — Менделе Мойхе-Сфорим. Вообще-то, надо почитать что-нибудь из еврейской литературы, подумала я смущенно, свинство, конечно, с моей стороны...

На углу стола стопкой лежали гранки на языке идиш. Я искоса оглядела рубленый шрифт — эти чудные топорики, крученые веревки бичей, — шрифт, перешедший в идиш из древнееврейского — сурового, как выветренные скалы, шелестящего ветрами тысячелетий, свистящего хлыстами вековых гонений, сдавленного поминальными воплями языка Библии, до середины нынешнего столетия пребывавшего в летаргическом сне молитвенных песнопений... Поверх этой пачки лежала записка, придавленная красным карандашом и им же написанная: «Шлицбутер! Вы скандалили, что гранок не дожدهшься, так ради бога!..»

...Вокруг было тихо. Ну, подумала я раздраженно, долго мне топтаться в этой черте оседлости?

Наконец, из глубины темного коридора послышались шаги и женские голоса. Один — оправдывающийся, другой — презрительно властный.

— ...и приходится все время брюки носить, — торопливо пояснял оправдывающийся голос, — потому что у меня ноги полные...

— Полные?! — воскликнул властный голос. — А что, нужно, чтоб худые были? Ты ими что — в зубах хочешь ковырять?!

Показались две фигуры. Одну, молодую, но уже оплывшую женщину с покорными глазами я сразу мысленно окрестила Жертвенной Коровой. Вторая тоже была полной, но по-иному — крепко сбитой, цельнокроенной. Она звенела серьгами, браслетами, бусами, шевелила бровями, сросшимися на переносице и потому напоминающими пушистую гусеницу, и похожа была на царицу Савскую, хотя я и не видела ни одного изображения последней, да и вряд ли такое изображение могло сохраниться.

Увидев меня, женщины остановились, переглянулись. Жертвенная Корова пригорюнилась и как-то подобрала ноги, выставив навстречу бюст, а Царица Савская, потрянув жерновами серег и браслетов, спросила властно-певуче:

— Слу-ушаю ва-ас?

— Здравствуйте, — сказала я непринужденно, как и было задумано. — Вот, привезла вам рассказ узбекского писателя на русском языке на еврейскую тему.

Вместо того, чтобы отослать меня в семнадцатую комнату в конец коридора — зарегистрировать рукопись — или сказать замороженным голосом: — Ну, оставьте... Учтите, мы отвечаем через три месяца... — словом, как это делается обычно в нормальных редакциях, женщины переглянулись, причем взгляд Жертвенной Коровы приобрел еще более скорбный оттенок, а Царица Савская пошевелила гусеницей брови и пробормотала:

— Вус?...

— Слушаем ва-ас?.. — встрепенувшись и зазвенев, повторила она. Надо сказать, сочиняя свою представительскую фразу, я как-то не рассчитывала на частое ее употребление, понимая изрядную долю

идиотизма, в ней заложенную. Но, тренируясь, я так к ней привыкла, что расчленишь или объяснишь как-то иначе ситуацию почему-то уже не смогла.

— Здравствуйте, — повторила я громче и аккуратней. — Вот, привезла вам рассказ узбекского писателя на русском языке, на еврейскую тему.

Возникла неуютная пауза.

— А с кем он договаривался? — спросила вдруг царица Савская, подозрительно вглядываясь в меня. Я растерялась.

— Со мной...

— А вы кто? — таким же тоном спросила она.

— Бухгалтер... — пробормотала я, томясь в дубленке.

— Ну?..

Я разозлилась. Мне все надоело: жара, Москва, тупость здешнего редсовета. Одновременно я вспомнила, что журнал-то еврейский, и отвечать здесь, по-видимому, следует вопросом на вопрос.

— Что — ну? — ответила я.

— Он что — тоже бухгалтер? — спросила она недовольно.

— Почему — бухгалтер? — ответила я. — Он писатель. Узбекский.

— Ну, и?..

— Ну, и написал рассказ. На русском языке. На еврейскую тему.

— А чего это он?

— Захотелось, — сказала я, протягивая красную папку. — Извините, я тороплюсь. Здесь адрес автора указан.

— Так он что — ни с кем-таки не договаривался? — повторила она, не забирая у меня папки.

Я совсем разозлилась.

— А с кем он должен был договариваться? У вас здесь что — особая система связей? В других редакциях пришел-отдал-ушел, — продолжала я, обнару-

живая странную для бухгалтера осведомленность о стиле работы литературных журналов. — А у вас я полчаса топчусь, и меня допрашивают и чуть ли не обыскивают, точно я бомбу принесла! Не нужна вам свежая рукопись — до свиданья!

— Пойдите! — полнозвучно воскликнула Савская, простирая длань царственным жестом. — Идите за мной!

— Зачем?

— За мной! — повторила она и, прихватив со стола пачку гранок, пошла прочь по коридору, звеня, шелестя, постукивая каблучками и покачивая размашистыми бедрами, похожими на деку дорогого итальянского контрабаса.

Я расстегнула дубленку и повлеклась за Царицей по темному коридору. Мы свернули направо, потом налево. «Черт возьми, электричество они экономят, что ли?»

— Осторожно, здесь три ступени вниз! — предупредила Савская с необъяснимой гордостью, точно речь шла о большом мраморном фонтане, выложенном александрийской мозаикой. — Не упадите! — и открыла дверь в квадратную комнатку с двумя окнами во двор, отчего в ней было светло и тихо. Тягуче, душновато пахло яблоками, и почти сразу обнаружился в углу мешок, доверху набитый бледно светящимся «гольдером».

Сердце мое тихо тронулось в груди и закачалось, как маятник бабкиных напольных часов «Павел Буре», непостижимым образом уцелевших после всех войн, погромов, революций и эвакуаций... Сердце мое тихо тронулось и закачалось, потому что пять яблонь сорта «гольдер» росло во дворе моего деда, в Рыночном тупике Кашгарки — самого вавилонского района Ташкента. Цельнокроенная спина Царицы Савской заслоняла от меня того, кто сидел за

столом. Вообще я была укрыта за этой спиной, как от ветра — стеной волнореза.

Царица тряхнула тяжелой бижутерией и сказала по-еврейски:

— Гриша, хватит лысину чесать. Тут приехала одна счетовод в тулупе, привезла какого-то турка на итальянской подкладке.

— Говори по-русски, — сказал по-еврейски усталый голос. — Сколько тебе повторять! Мы не знаем, куда этот счетовод захочет стукнуть про шовинизм на местах.

На протяжении этого диалога я растерянно молчала, ибо открытие, что я п о н и м а ю идиш, поразило меня... К тому времени прошло лет пятнадцать, как я не слышала вечно препирающихся бабку с дедом, и полагала, что давно забыла этот совершенно не нужный мне язык — бедный скарб в холщовой суме вечного скитальца.

... — Ты не знаешь родного языка! — бушевала бабка. Я сидела с ногами в кресле и лениво отмахивалась надкушенным яблоком: бабка мешала мне читать «Каштанку». «Молодая рыжая собыка — помесь такса с дворняжкой — очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам...»

— Надо учить родного языка!

...«Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она сейчас заблудилась?»...

— Видишь идут и говорят два идн*, иди следом, и слушай, и запоминай каких-нибудь слов!

Однажды в трамвае я предприняла попытку изучить идиш по бабкиному методу. Впереди сидели две

* евреи (идиш).

старухи еврейки и горестно обсуждали поведение великовозрастного сына.

— Вус махт он сейчас? — спрашивала одна.

— Он гебросил ди арбайт, — скорбно отвечала другая, на что первая в сердцах воскликнула:

— А за мерзавец!

Я поднялась и выскочила на следующей остановке. Нет, я не хотела изучать этот свой язык. И искренне полагала, что не знаю его.

Однажды, впрочем, я гоняла по улице, и бабка крикнула из окна, чтоб я сбегала к тете Риве, попросила стакан постного масла. Тетя Рива, маленькая пучеглазая старуха, жила с дочерью в соседнем узбекском дворе, в комнате на балхане. Взобравшись по ветхой деревянной лестнице и вызвав тетю Риву, я выпалила бабкину просьбу, приплясывая от нетерпения, так как бабка отозвала меня в разгар игры.

— Подожди, — сказала старуха и пошла в глубину прохладной комнаты. Балхану увивал виноград, щекотал зелеными усиками мои голые ноги. По рассохшимся деревянным перилам лениво ползали осы.

— Муся, — услышался голос тети Ривы, — тут прибежала Рахилина Динка, просит масла, а у нас самих осталось на дне бутылки.

— Ну, нет, так скажи — нет, — ответил Мусин голос. Я сорвала виноградные усики, сунула в рот и скатилась с лестницы.

— Эй, погоди! — окликнула меня старуха сверху. Она держала стакан, на треть заполненный маслом. — Куда же ты?

— Но вы сказали, что нет масла! — кислота виноградных усиков вязала челюсти. Старуха прищурилась удивленно:

— А ты что — понимаешь идиш?

Я покраснела, пробормотала что-то и ринулась в калитку...

...Однако сейчас я понимала все, я ничего не забыла — ни словечка, ни интонации. То, что всегда казалось мне чуждым и совершенно бесполезным, оказывается, цепко жило в глубинах подсознания. Я стояла в спешно застегнутой на свету дубленке и молчала.

Наконец царица Савская отступила, и я увидела перед собою очень пожилого человека с изможденным лицом и обширной лысиной, по которой гулял яркий солнечный блик от окна. Этот смиренный нимб над изможденным лицом, мятым, как перезревший огурец, придавал человеку сходство с каким-то святым великомучеником. Великомученик сидел за столом, подперев телефонной трубкой седую скулу, и грыз яблоко «гольдер». На тарелке перед ним высились стопка привлекательных на вид бутербродов. Великомученик уставился на меня, надкусил желтый бок «гольдера» и ласково сказал:

— Слушаю вас...

Понимая, что сейчас в третий раз произнесу идиотскую фразу собственного изготовления, и чувствуя полное свое бессилие и обреченность шальной белки, крутящей колесо, я глубоко вздохнула и сказала:

— Принесла рассказ. Узбекского писателя. На русском языке, на еврейскую тему.

Великомученик прожевал кусок и так же доброжелательно спросил:

— А с кем он договаривался?

Обморочная тошнота подкатила мне к горлу.

— Со мной, — тихо проговорила я, обалдевая от жары.

— А вы кто?

— Бухгалтер... — по-моему, у них в редакции все еще топили батареи.

— Это хорошо, — он склонил голову набок, убирая лысину из-под сияющего нимба, повертел огры-

зок яблока, проверяя, не осталось ли на нем сочной плоти, наконец выбросил огрызок в урну под стол и спросил приветливо:

— А узбек тоже бухгалтер?

— Почему — бухгалтер? — цепенея, возразила я. — Он писатель.

— Ага... — он с интересом разглядывал мою дубленку. — И как же он там прижился, узбек на Севере?

— Почему — на Севере? — тупо переспросила я. — Ташкент же — на юге.

— Гриша, у меня такое впечатление, — встряла по-еврейски Царица Савская, — что эту девочку ее мамаша немного не доносила...

— Говори по-русски! — вяло напомнил Гриша.

— Совсем немного, — по-русски продолжала настырная Савская, — месяца четыре, — и ободряюще мне улыбнулась.

— Так! — сказал Гриша, опуская трубку на рычаг. — Значит, писатель узбекский.

— Но рассказ написан на еврейскую тему, — напомнила я, — хотя и на русском языке.

— А чего это он? — поинтересовался Гриша.

— Захотелось...

Мы помолчали.

— Идеологически рассказ безупречен, — добавила я, теряя терпение, ибо даже бухгалтеру, при всей его усидчивости, простительно потерять терпение в обстановке всеобщей бестолковости.

— Это хорошо, — согласился Гриша.

— Герой, пожилой сапожник, не хочет ехать в Израиль.

— Правильно делает! — встрепенулся Гриша. А Царица Савская проговорила по-еврейски, не снимая ободряющей улыбки с обольстительных уст: — Кому он там нужен, старый ишак...

— Анна Григорьевна, — строго оборвал ее Гриша, не глядя в сторону Царицы. — Кажется, Шлицбутеру нужны были гранки.

— Нужны — придет, — ответила Савская, не колыхнув бровью.

— Я вам так скажу, — Гриша поднялся ко мне из-за стола и оказался длинным тощим стариком с несоизмеримо рабочими кулачищами, на которые перекочевал с лысины солнечный зайчик. — Тема осуждения отъездов нам сейчас нужна, как никогда. Вы, как я понял, человек восточный, так и знайте и передайте всем на Востоке: советские еврейские патриоты гневно осуждают тех отщепенцев, ту мизерную часть нашего народа, что рвет кровные связи с родной землей и устремляется на земли якобы каких-то своих праотцев...

По-видимому, Гриша неплохо поднаторел в подобных выступлениях. Он говорил жарко, убежденно, взмахивая кулачищем, по которому метался солнечный зайчик. Жаль только, Царица Савская портила впечатление легоньким постукиванием каблучка в такт Гришиным речам. Да и мне, в моей дубленке, честно говоря, было сейчас не до речей.

— Что они там забыли?! — грозно вопрошал Гриша. — И что найдут эти выродки и предатели? Вредную сионистскую пропаганду! Блеф и миф!

— Антрекот и ростбиф... — пробормотала Царица Савская, стряхивая с юбки крошки.

И тут со мною произошло нечто странное. Плаваясь в наглухо застегнутой дубленке, одуревая от вида мелькавшего Гришиного кулака и желания схватить со стола яблоко и впиться зубами в его пружинистую мякоть, я вдруг разлепила губы и слабым голосом проговорила:

— Иди! Или вы берете у меня продукт этого миротворца, или отпустите меня к чертям собачьим...

Когда я осознала, что совершенно не намереваясь, произнесла все это на языке идиш, я почувствовала зыбкость в коленях, оба они накренились, выстраиваясь журавлиным клином, взмыли к потолку, и я успела только почувствовать, как, подхватив под руки, меня опускают на стул...

...Тут я опять отвлекусь...

Подобные странности случались в моей жизни раза два-три. Когда, временно утерев контроль над собственным мыслительно-речевым аппаратом, я летела в гулкий обморочный колодец и выныривала в самом неожиданном для меня месте, в самом непредвиденном образе.

Например, в девятом классе, на уроке физики, со мною стряслось временное расставание души и тела: в то время, как тело осталось за партой, душа вылетела в окно и совершила два плавных разворота над спортплощадкой.

В студенческие годы я задремала однажды в кресле перед тихо воркующим телевизором. Это была летучая легкая дрема, когда перемежаются успокаивающие голоса домашних, наплывают и смываются впечатления дня. Мама из кухни окликнула отца, тот что-то ответил негромко...

— Вы знакомы с Хуаном Родригесом? — спросил приветливый женский голос. — Неправда ли, это весьма достойный сеньор? На своей ферме он откармливает породистых свиней и на будущий год надеется приобрести двух быков для увеличения поголовья стада коров...

Выслушав информацию о достойном сеньоре Родригесе, я приоткрыла глаза и убедилась, что по телевизору идет передача «Испанский язык. Второй год обучения».

— Супругу сеньора Родригеса тоже зовут Хуана, — улыбаясь, говорила ведущая по-испански.

Я похолодела от глубинно-атавистического ужаса и, конечно, мгновенно перестала понимать ведущую, что было вполне естественным, поскольку в жизни своей я не пыталась выучить ни одного испанского слова...

Интересно, что никому из близких я не говорила об этих случаях и только однажды в поезде, оказавшись в купе с ученым-лингвистом, спросила — как объясняет наука подобные вещи. Лингвист долго и подробно пересказывал свою диссертацию, потом нырнул в дебри психологии. Словом, я поняла только, что во всех людях живет ощущение предъязыка и в гипнотическом или полугипнотическом состоянии наш мозг может вытворять черт знает что...

В ту минуту, как взглядом я проводила улетающий к потолку журавлиный клин оконных переплетов и под усилившийся запах яблок полетела в обморочную глубину гулко колодца, я вынырнула в до боли знакомом месте и, оглядевшись, поняла, что стою в дверях дедовского сарая, в тихом и зеленом Рыночном тупике Кашгарки. Мгновенно выяснилось, что я клянчу у деда полтинник на кино, а дурная и ленивая собака Найда, не признающая своих, рвет цепь и беснуется у калитки.

— Ты не знаешь, за что я кормлю эту мешигинэ* тварь? — меланхолично спросил меня дед из глубины сарая, где он наводил порядок: копошился, перекаладывая пачки старых, перевязанных шпагатом газет. В углу сарая стоял мешок, плотно набитый крупным, с тонкой, лимонного цвета кожурой, «гольдером».

— Знаешь, что идет — «Лимонадный Джо»! — ныла я, переминаясь босыми ногами на глиняном по-

* чокнутую (идиш).

лу сарая, куда падала от двери косая горячая плита солнечного света.

— Мамалэ, ты же в курсе, — мягко втолковывал дед из клубящейся золотой пылью глубины сарая. — За то, что ты лезла ин фортка и не слушалась бабушка, ты довки таки ё, ништ геен ин кино*...

Это было бабкино наказание, и я знала, что без памяти любящий меня добряк-дед рано или поздно дрогнет. Поэтому я осадила его в сарае и подвывала, приплясывая босыми ногами на жгучем от солнца глиняном полу.

— Ты не видел, что это за фильм! — завела я в пятый раз.

— Не видел, — согласился дед, — и я еще не умер.

— Ты ничего не понимаешь! Такой шикарный фильм! Ты старый, тебе ничего не надо...

— Мне на-адо, — выпевал дед, кряхтя от тяжести под очередной пачкой газет, — чтобы ты была не слишком глупая де-свочка... Восемь лет — это большой возраст, мамэлэ, а ты в третий раз хочешь бежать на этого лимонадного идиёта...

— Я здесь чокнусь, как твоя Найда! — взвыла я, исчерпав аргументы. — Погибну, понял? Я сдохну здесь, понял? Тебе внуки лишние, да?!

Любопытно, что еврейский акцент появлялся у меня через два часа после того, как родители водворяли меня на каникулы в Рыночный тупик, и исчезал без следа минут через десять после начала контрольного сбора нашего класса перед учебным годом.

...Следует признать, что Найда была дурой, но не настолько. Она рвала цепь и изрыгала проклятья, потому что с улицы забор подпирали, колотя в него босыми пятками, мои приятели. Они напоминали, что до начала сеанса осталось немного. Найда бе-

*таки-да, не пойдешь (идиш).

зумствовала, дед меланхолично воспитывал меня, я выклянчивала полтинник.

Вышла бабка на крыльцо дома — вылить помои или сыпануть курам пшена... Она всмотрелась в конец двора, где шло мое единоборство с дедом, и крикнула:

— Дувид, не жалея эта петлюровка! Ей будет сегодня то кино! Пусть сначала махт ди арбайт чистить картошка!

— Я тебе сегодня мусор выносила?! — завопила я в возмущении. — У меня каникулы! Я тебе не малай!

— Ты не малай, ты петлюра! — бодро отвечала с крыльца бабка и вошла в дом.

С улицы чьи-то босые пятки выбили на заборе чечетку. Найда рванулась на цепи, раздирая грудь, как пьяный матрос в кабаке. Я зарыдала и исступленно заколотила ногой по полу сарая.

Дед неторопливо переложил две последние пачки старых газет и сказал:

— Чтоб он так обпился тем лимонадом и лопнул, американская холера, как этот ребенок страдает! — Он сунул руку в карман пыльных стариковских брюк с вечно застегнутой на одну пуговицу ширинкой, достал мелочь и сказал:

— На. Возьми, мамэлэ...

Он протягивал мне истертую жизнью ладонь из глубины сарая. На ладони лежали три монеты по пятнадцать и тусклый рыжий пятак, истертый и старый, как дедова ладонь... Господи, сколько этих полтинников я выколотила из его скудной пенсии!

Дед стоял в клубах золотой пыли и протягивал мне мелочь. Пахло яблоками, пылью старых газет, мешками, ветошью. Я отерла ладонью слезы и сопли и подалась к нему — забрать деньги. Но дед, пряча глаза, вдруг отступил, смешиваясь с пылью в глубине сарая, я осталась стоять одна в проеме двери, да

уже и не было ни двери, ни самого сарая, он распался, закружился пылью, и только тонко звучащий в воздухе аромат гольдера все витал и витал надо мною...

—...Делай ветер!

— Я делаю.

— Делай сильнее. Это у нее от жары. Я же просил тебя позвонить куда следует и сказать, чтоб перестали, наконец, топить баню в редакции!

— Причем — баня, когда она сама в тулупе! Я еще таких идиоток не встречала. Она б еще унты надела.

— Ладно, молчи. Делай ветер!

— Я делаю.

Надо мною трудилась Царица Савская. Раскачиваясь всем телом, как цадик в молитве, она обеими руками опахивала меня красной папкой с рассказом ташкентского прозаика.

— Спасибо, достаточно, — пробормотала я.

Гриша склонил ко мне апостольскую лысину и спросил:

— Ду бист айдышке?*

— А кто же еще? — слабо огрызнулась я.

— Так что ты здесь голову всем морочила со своим узбеком?

— Я не морочила! Я действительно привезла рассказ узбекского писателя на русском языке, на...

— Хватит, — сказал он. — Это мы уже слышали... На, съешь бутерброд.

Он держал бутерброд перед моим носом. Машинально я взяла его. На стуле подкладкой вверх, так что грязная вата топорщилась во все стороны, лежала дубленка. Я отвела от нее взгляд и надкусила бутерброд.

— Ну, и что ты делаешь в Ташкенте? — спросил Гриша.

* — Ты еврейка? (идиш).

— Живу... — ответила я, уплетая бутерброд. Только сейчас вспомнила, что не завтракала; была мысль заскочить в аэропортовский буфет, да как-то ноги не дошли.

— Господи, — вздохнул Гриша, — ты расшвырял нас по всей земле... Он открыл бутылку минеральной, и вода толчками полилась в стакан.

— Пей. Докатилась до жизни — в голодный обморок упасть. Ты что — бедная студентка?

— Нет, я бухгалтер! — весело возразила я, почему-то противясь окончательному разоблачению

— Ешь дальше... Когда-то в Ташкенте жило много наших... Как сейчас?

— Навалом... — промычала я, принимаясь за второй бутерброд. — Хотя в последние годы многие едут.

— Да, — сказал он, как-то погрузнев. — Люди едут... — и непонятно было, по какому поводу он печалится: то ли из-за утечки еврейского населения за границу, то ли от невозможности последовать примеру этой части отщепенцев.

— У кого есть мозги в голове, у того они есть! — загадочно и торжественно встряла Царица Савская. Похоже, она давно доказывала что-то Грише.

— А ты уже можешь нести гранки Шлицбутеру! — велел он Савской раздраженно.

— Хорошо, — спокойно сказала она, усаживаясь на стул. — Пять минут Шлицбутер не умрет без гранок.

Вообще у меня сложилось впечатление, что, помимо служебных, она выполняет при Грише еще кое-какие обязанности.

— И что тебя в Ташкент занесло? — опять спросил он. Я обиделась.

— Почему — занесло? Я там родилась и живу. Думате, в Ташкенте жизнь хуже, чем в вашей сумасшедшей Москве?... Занесло не меня, а родителей.

Отец после ранения в госпиталь попал, так и остался. А мама с дедом и бабушкой — в эвакуацию... Вообще-то они с Украины.

— А!.. С Украины!.. — он оживился. — Возьми яблоко. Этот сорт называется «гольдер»... А где они жили на Украине?

— Под Полтавой, — я с весенней жадностью надкусила сочный, с кислинкой плод. — Может, вы знаете — было такое местечко под Полтавой — Золотоноша.

— Нет, она мне рассказывает!! — вскричал вдруг Гриша страшным голосом. — Она — мне! Рассказывает про Золотоношу! Приехала из Азии в тупе и рассказывает — мне! — где есть Золотоноша!

Он выбежал из-за стола, схватил меня за плечи обеими руками и встряхнул так, что кусок яблока, откушенный мною, вылетел на стол.

— Киндэлэ манц!* Я вот этими вот ногами, и часто — без ботинок, семнадцать лет бегал по всем дорожкам Золотоноши! А ты мне рассказываешь!

Он забегал по комнате в каком-то странном возбуждении.

— Ай-яй-яй! — восклицал он. — Ай-яй-яй, какая встреча! — хотя, на мой взгляд, ничего такого уж сверхъестественного в нашей встрече не было.

— Фамилия! — он остановился.

Я замялась. Фамилия моего деда настолько знаменито-русская, что обычно я избегаю хвастаться ею.

— Жуковский, — наконец призналась я.

Гриша хлопнул себя по лысине.

— Ты внучка дяди Давида?! — закричал он и, оборачиваясь к Царице Савской: — Она внучка дяди Давида!

* — Дитя мое! (идиш).

Я растерянно переводила взгляд с возбужденного Гриши на Царицу Савскую, которая сидела с выражением на лице кровожадного зрительского внимания в кульминационном моменте пьесы. Пушистая гусеница ее сросшихся бровей заползла на лоб и трепетала, извиваясь.

— Ха! Жуковские!.. — кричал Гриша, торжествуя. — Она мне рассказывает про Жуковских! Да мы жили калитка в калитку — знаешь, сколько лет? Молчи! Больше, чем ты на свете живешь... У них фамилия такая, потому что все они были черными, как цыгане, все, кроме Фриды... Жуковские! У них цыганка в роду была, настоящая, кочевая, — он махнул на меня рукой: — Эта, наверное, даже и не знает...

— Почему — не знаю! — оскорбилась я. — Все знаю. Прадед ее в трактире увидел, на ярмарке, влюбился и привез в местечко. Говорят, красавица была...

— Точно. Я ее старухой знал. У них после этой цыганки все женщины в роду получались красавицы... — при этом Гриша простер ладонь в мою сторону, словно демонстрируя меня как экземпляр женщины из породы Жуковских. Я перестала жевать и, выпрямившись на стуле, расправила плечи. Царица Савская усмехнулась.

— Трех дочерей Давида знали все. Их даже в Полтаве знали! — Он остановился. — Ты чья? Асина? Фридкина?

— Я — Ритина.

— Рита поменьше была. Ей, когда война началась, сколько исполнилось?

— Маме? Пятнадцать.

— Я и помню ее похуже. Я ведь перед войной в Харьков уехал, в институт поступать. А почему? Потому что Фрида выбрала не меня, а Сашку Безрукова... Боже мой, я был влюблен в нее, как цуцик! В

жизни больше я не встречал таких зеленущих глаз. Скажи, у нее до сих пор такие зеленые глазищи?

Я поперхнулась куском и отложила недоеденный бутерброд на тарелку.

— Слушай, как она играла на мандолине — Фридка! «Марш энтузиастов»! «Мы рождены, чтоб сказку сделать быль-ю-у-у-у-...» — рассыпчато так, медиатором... Тут — все — падай в обморок... Вот сейчас перед глазами: сидит, рыжие кудри на спину перекинулись, глаза — вот как виноград... Мандолина на колене... «Мы рождены...» — медиатором... Суламифь! Ася и Рита — те тоже, ничего не скажешь, красивые были, но Фридка, средняя — Суламифь! Дура, выбрала не меня, Сашку Безрукова. Что она в этом Сашке увидела — не пойму до сих пор... Ай-яй-яй, какая встреча! Ну!.. — он сел за стол. — Рассказывай про всех!

— Про кого — всех? — спросила я тихо. — Вы что, после войны не возвращались в Золотоношу?

— В том-то и дело, что нет! Понимаешь, отвоевал я, демобилизовался, куда, думаю, податься — моих-то никого не осталось... Встретил в поезде девушку, москвичку... Ну и... пошла-поехала любовь. Семья, то, се... Писать я еще в армии в газету писал... Потом вот так и затянуло... в литературу. Сейчас ведь мало кто знает идиш по-настоящему...

— Ну да, — пробормотала я. — Понятно.

— А ваших вон куда забросило! Аж в Ташкент... Дядя Давид, наверное, уже умер?

— Да, пятнадцать лет назад.

— Рак?..

— Да, рак легких... Бабушка — позже...

Он покивал сокрушенно — люди смертны.

— Ну, а Фрида — как она, где? Дама, должно быть, ей-ей-ей каких габаритов, а? Дети, внуки, да? Сильно толстая стала — Фридка?

Я не смотрела на Гришу, мне было жаль его.

— Нет, — сказала я медленно. — Фрида — нет... она не стала толстой... Фриду немцы повесили...

Я подняла глаза. Гриша глядел на меня остановившимся взглядом. Его лицо напоминало мятый муляжный огурец... Дальше я могла бы и помолчать. Но семейная история за десятилетия улеглась в форму простого рассказа, и она не терпела обрубленных концов. Сейчас, спустя столько лет, я думаю — что за жестокий бес толкал меня выложить всю страшную правду этому старому человеку, что за нужда была тревожить его сердце и разорять память его юности?..

— Говорят, в нее влюбился какой-то немецкий майор, и ... ну, при известном раскладе она могла бы остаться жива... Но Фрида... ну, вы знаете, у нее всегда был бешеный характер... Короче, перед тем как повесить, ее гнали, обнаженную, десять километров по шоссе — прикладами в спину...

Я отвела глаза от Гришиного мятого лица. «Гольдер» так нежно светился в углу золотистой кожей.

Скрипнула дверь. В щели показались грустные глаза Жертвенной Коровы. Она сказала робко:

— Шлицбутер все-таки просит гранки статьи о воспитании интернационализма.

Гриша молча кивнул, и Жертвенная Корова испуганно прикрыла дверь. Он медленно перевел взгляд в окно и несколько мгновений странно пристально рассматривал пухлое облачко, застрявшее посреди гладкой сини.

— Хороший день сегодня... — сказал он глухо, — ...хорошенький сегодня день...

И несколько минут молча передвигал какие-то листки на столе.

— Ты ешь, ешь.. — спохватился он. — Бери яблоко, вот. Этот сорт называется...

— «Гольдер» — пробормотала я.

Царица Савская вытирала уголком платка потекшую с ресниц тушь. Тихо побрякивали серьги и браслеты.

— У кого есть мозги в голове, — повторила она многозначительно, — у того они есть.

— Неси гранки Шлицбутеру! — рявкнул Гриша.

Она взяла с края стола стопку листов и, перед тем как выйти, проговорила, вздохнув:

— Этот Шлицбутер замучил всех своей работоспособностью...

Мы с Гришей молчали.

— Почему она не эвакуировалась с семьей? — сдавленно спросил он.

— Почему, почему... От Сашки своего оторваться не могла... Убежала и спряталась где-то в сараях. А на окраинах уже стреляли. Дед до последней минуты бегал и кричал: «Фриделе, доченька! Пожалей семью, мерзавка!!»... Потом молча запряг лошадь — ведь на руках у него были еще две дочери, и Ася ждала ребенка. Он обязан был спасти их... Всю жизнь потом дед казнил себя: «Надо было намотать на кулак ее волосы и не отпускать ее ни на шаг. Надо было ремнем излупить ее в кровь!» — что звучит довольно смешно, ведь дед был слишком нежным человеком... Знаете, в детстве для меня не составляло труда выклянчить у него полтинник на кино, как бы строго я ни была наказана...

— Да, да... — забормотал вдруг Гриша, — да, все выпито из этой чаши, разве я говорю — нет? Но я прожил здесь жизнь, и я хочу здесь умереть, и оставьте все меня в покое! — он бесцельно передвигал на столе какие-то листки, ручки, чехол из-под очков. — И-ой, только вот не надо мне рассказывать, как Моисей водил нас сорок лет по пустыне, чтоб поумирало поколение рабов! — он вскинул ладони, словно останавливая поток моего красноречия, хотя я

вовсе не собиралась ничего рассказывать на эту — увы — совершенно тогда незнакомую мне тему.

— Не надо! Я тот раб, которого уже не стоит никуда водить. Я, с вашего позволения, прилягу здесь, под кустиком, и сдохну вот на этой самой, — не спору! — может быть, трижды проклятой земле!

Он говорил все быстрее, раздраженной и жалобней, так что я с трудом уже понимала — кому адресовано то, что он говорит, и почему при этом он обращается к двери, за которую вышла Царица Савская.

— Вы молодые, перед вами жизнь, прекрасно! А мне дайте подышать еще три года между первым и вторым инфарктом. И когда вы закопаете меня на Востряковском — езжайте возрождать нацию, и будьте здоровы, а я все уже возродил в этой жизни... Да, — продолжал он, глядя на меня, — да, я старый ишак, и у меня нет национального самосознания. Например, я плачу, когда слышу украинские песни... Когда я слышу «Марш энтузиастов», я тоже плачу, как старый ишак, потому что Фрида играла этот марш на мандолине рассыпчато, медиатором. И — к черту мое национальное самосознание! У вас оно есть, вы молодые, езжайте и будьте здоровы, разве я говорю — нет? Если у вас найдутся силы закопать отца живьем — валяйте, и да поможет вам Бог!

— ...Она что — ваша дочь? — наконец, догадалась я, кивнув на дверь.

А ты думала — кто? — воскликнул он с обидой. — Ну, скажи мне, скажи ты, я уже ничего не понимаю: вот я — трижды ранен и в качестве видного космополита украшал-таки собою нары. Вот скажи: я — герой или старый хрен?

Я смущенно улыбнулась. Не дав мне ответить, возвратилась Царица Савская. Я выдержала достойную паузу и спросила:

— Так вы возьмете рассказ? А то мне на самолет пора.

— Не задавай дурацких вопросов! Ко мне пришла внучка Давида через сорок лет после моей юности, и чтоб я — для внучки Давида! — не напечатал какой-то там рассказ?

— При переводе, по-моему, над фразой еще надо поработать, — предупредила я, осторожно высываясь из бухгалтерского образа.

— Не волнуйся! — заверил он мрачно. — Мы его так набальзамируем, этот шедевр, его собственный автор в гробу не узнает.

Я стала прощаться.

— Заверни ребенку бутерброды! — велел он Савской тоном царя Соломона, отдающего приказы не самой сообразительной из своих жен. — Яблок насыпь!

— Да зачем же, спасибо! — пыталась отбиться я.

— Это яблоки из сада Шлицбутера! — сказала Царица Савская торжественно, точно речь шла о яблоках из райского сада. — Этот Шлицбутер замучил всех своими яблоками.

Я стала натягивать дубленку — а куда мне было девать ее? Гриша сказал задумчиво:

— Южные люди в нашем климате мерзнут...

Перед тем как покинуть тесную эту комнату, я обернулась. Гриша сидел за столом, вновь напоминая изможденного великомученика в глядел мне вслед долгим, оберегающим взлядом.

— За что ты молодец, — сказал он, — так это за то, что выучилась на твердую специальность. Такая специальность нигде не подкачает.

— До свидания, — сказала я.

— Зай гезинд*, — ответил он строго.

* — Будь здорова (идиш).

...Я вышла на улицу... Недавно прокапал дождик, но солнце уже выгревало подсыхающий асфальт, на котором, как обрывки шнурков, валялись дохлые дождевые черви. Это надо запомнить, отметила я машинально, дождевые черви, как обрывки шнурков, — это надо запомнить...

В городе закипал час пик, и улица булькала водоворотами маленьких и больших очередей, там и тут возникали заторы, пробки у переходов; мои сограждане с печатью вечной заботы на лицах стремились — куда? Куда-то стремились, как рыба на нерест.

Авоська с яблоками оттягивала мне руку, дубленка настырно согревала мое тело, душа же, располовиненная, зябла в толпе соотечественников.

...«Молодая, рыжая собака — помесь такса с дворняжкой... бегала взад и вперед по тротуару...»

Я брела к метро, беспокойно вглядываясь в лица проносащихся мимо людей, впервые силясь ощутить — чья я, чья?

И ничего не ощущала.

И только, может быть, догадывалась, что это сокровенное чувство со-крови человеку навязать невозможно. Что порою приходит оно поздно, бывает — слишком поздно, иногда — в последние минуты, когда, беззащитного, тебя гонят по шоссе. Прикладами. В спину.

РУБИНА Дина родилась в Ташкенте в 1953 году. Закончила консерваторию. Публиковаться начала с 16 лет в журнале «Юность». Автор четырех книг, член СП СССР. Живет в Москве. В настоящий момент издательством «Советский писатель» подготовлен сборник новых ее повестей и рассказов. Произведения Д.Рубиной переводились на английский, французский, немецкий, испанский, польский, чешский, венгерский, болгарский языки.

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Евгений В е р т л и б

ГЕНЕЗИС И ПУТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ПРИ ГОРБАЧЕВЕ

*(«Перестройка» — эволюция или пристрелка
перед перестрелкой)*

— Ну? Как теория циклов?
А. Солженицын. В круге первом

29 апреля 1987 г., в день Святого Михаила по церковному календарю, именинник Горбачев на встрече в Кремле с французами подтвердил свою приверженность «знакам французской революции»: «Если искать корни нашей перестройки, то можно пойти и до французской революции, а потом до Коммуны».

Просто политическая риторика на злобу дня — в честь приближавшегося тогда 200-летия этой самой революции? А если не только потому? Ведь еще 4 февраля 1986 года сдвинувшаяся с мертвой точки Россия не выглядела по-настоящему революционной, о чем и было сказано тому же французу Ролану Леруа: это де лишь ускорение процесса, начатого 1917 годом. Однако вскоре, через несколько месяцев, Горбачев «передумал»: во время сентябрьской поездки по Кубани, кажется, впервые мелькнул у него сопоставительный термин «революция». Теоретики растерялись — им предстояло срочно подтянуть науку до опередившей вдруг ее практики. Ведь «вечный» догмат гласил: революции предшествует «общенациональный кризис», приводящий к «революционной ситуации». Вроде бы все эти факторы были налицо, а коли чего и не хватало, так все равно: «от копеечной свечи Москва сгорела». Наломано, одним словом, было достаточно дровишек, и было достаточно гражданского пороха в пороховницах. Но вялотекущее тление не вспыхнуло огнем нетерпения. И

19 июня 1986 г. Горбачев на встрече с писателями объявил: «У нас нет оппозиции», — чем снимался насущный вопрос о серьезном общественном размежевании, баррикадном запашке пороха. А «отсталой» общественной науке дали соответствующий нагоняй, разъяснив директивно, что «незлокачественные кризисы» бывают и при социализме, ситуационно гасящиеся «революционным» вмешательством. Однако, заверил В.Семенов («Вопросы философии», 1986, №12; 1987, №1) в своем апологетическом «философском обосновании» тактики неонэпа, любые «революционные» изменения в условиях социализма не затрагивают политической власти. «Революционность перестройки рассматривается не в политическом аспекте, как социально-политический переворот, приводящий к смене власти, а в аспекте диалектическом, социально-философском». Вроде как понарошке, чисто абстрактно, фигуративно.

Пробующий расшифровать «перестройку» В.Ясманин («Новое русское слово», 2 июня 1987) задается вопросом: зачем все-таки понадобился столь решительный термин, как «революция», если, как они сами толкуют, речь идет о «борьбе на почве социализма за социализм»? И высказывает догадку: видимо, потому, что советская система — это система «чрезвычайных обстоятельств» и эффективно функционирует только при критических состояниях (то есть не работает при нормальных). Поэтому и надо создавать или имитировать критические условия, «накалять атмосферу» — открыть социализму «второе дыхание... на базе социалистических ценностей».

Горбачев не ищет демократической альтернативы коммунистической системе властвования. «Наша демократия», «социалистический плюрализм» — намек, как считает Абдурахман Авторханов («Посев», 1988, №2), на допущение в стране лояльной к идеям социализма «социалистической оппозиции» с правом участвовать в выборах под руководством и в блоке с коммунистами. Но беда в том, что все это: перестройка, гласность и демократические посулы — производит впечатление грандиозного спектакля, рассчитанного на зрителей Запада. Поэтому его политические актеры играют не на сцене МВД или органов юстиции, а на сцене, которая не имеет никакого отношения к внутренней политике, — на сцене министерства иностранных дел. Отсюда и

вполне обоснованное опасение: *как только спектакль достигнет своей внешнеполитической цели, занавес опустится*, и только тогда в действие вступят актеры КГБ, как это случилось после Хельсинки, а Третий мир обнаружит отсутствие новой дюжины своих независимых стран, превратившихся в марксистско-ленинских сателлитов Кремля. Такой видит Авторханов стратегию перестройки, считая ее и отпочковавшуюся от нее гласность вовсе не программой, а паузой, «передышкой», тактикой — как тактикой был и НЭП.

Стихийно разливающейся советской демократии вместе с этой очередной «оттепелью» понадобились и надежные «берега»: «Демократия без рамок — это анархия», — сказал генсек летом 1986-го. О том же глаголил и Лигачев — «андроповец», поклонник только экономических реформ, без всякой там «гласности» — на встрече с саратовской интеллигенцией. Это и есть естественные пределы социалистической допустимости эволюции системы. А там — «дикий» капитализм. Поэтому срабатывает знакомый механизм «не пущать». А с другой стороны на линию «перемирия» прут силы анархо-индивидуалистические. И прав, выходит, Горбачев — ситуация в Союзе смахивает на времечко якобинцев: «Наступил тот кризис в истории революции, который разбивает ее на две противоположные по духу половины — эпоху стремления к *свободе*, перешедшей в *анархию*, и эпоху *централизации власти*, перешедшей в *террор*», — сказал исследователь якобинства В.Герье.

В чем эта преимственность? Сосредоточение власти в одних руках. Так ведь и руководитель Якобинского клуба возглавлял высший правительственный орган, распоряжающийся как исполнительной властью (министерством), так и законодательной (конвентом). Как Горбачев против Ельцина, так и «Клуб» был против крайних революционеров, очагом которых являлись «кордельеры». Позицию генсека можно понять: уже первые три дня работы первого Съезда народных депутатов СССР показали, что ситуация «вырывается» из рук, что управлять происходящими процессами руководство не может («реформа вырывается», «политический процесс вырывается», в духовной сфере нет консолидации), что дальнейшее «саморазвитие» перестройки не исключает физической «защиты демократии» («Русская мысль»,

2 июня 1989). Как тут не вспомнить недавнюю перепалку за «круглым столом» во время обсуждения проблемы «Армия и общество». Тогда А. Нуйкин, заместитель директора Всесоюзного института киноискусства, отбросив «технократический ключ» подхода к зондированию вопроса, поставил ребром неслыханной дерзости небывалый вопрос: «С кем окажется армия, если у нас перестройку решат ликвидировать насильственными средствами?» На что получил ответ генерала Н.А. Чалдымова: «А вы вообще считаете этот вопрос корректным?» Замдир Нуйкин не растерялся: «Пусть он будет некорректным, *главное, чтобы не оказался запоздалым*. Потому что, если мы сейчас побоимся такого рода вопросов, мы можем оказаться совершенно неподготовленными к каким-то неожиданным вариантам развития событий. А потом снова начнем вздыхать о неподготовленности народа к демократии, о трагизме исторического пути и т.д.». Подполковник С.И. Юшенков переспросил: «То есть нужно ли будет отстаивать перестройку с оружием в руках?» И, окрыленный бесстрашием отпетого, Нуйкин пояснил до конца и без того прозрачный смысл: «И такой вариант мы не вправе исключать, если мы исходим из того, что все остальные пути, кроме перестройки, ведут к катастрофе. И это не "жареные мысли"... Впереди у нас явно назревают очень серьезные события... не исключено, что армии придется делать свой выбор... Именно не "перестройка в армии", а "перестройка и армия" представляется мне сейчас главной темой разговора». Говорят, Нуйкин довопросался до проверки на психневменяемость. А китайская «модель подражания» тем временем предлагает СССР именно перестрелку.

Возвращаясь к якобинчикам или якобинцам, имевшим громадное влияние на ход французской революции 1789 года, лучше не забывать, что те могли одарить большевиков многими «новинками». С их помощью можно было научиться бороться с оппозицией после захвата власти: угроза 5 или 10 лет заключения в цепях за противодействие «народным обществам» или за распускание их; в 1918 году — расправиться с левыми эсерами, своими последними друзьями по перевороту, чтобы те не перезахватили власть. Впрочем, тут по якобинствующей части у Маркса: «С первого же момента победы, — поучает классик «научного» коммунизма, — необходимо направить недоверие уже не против побежденной

реакции, а против своих прежних союзников». Вождь же, «типичный русский человек» (как Н.А. Бердяев решил), оказался «рацпредложенцем»: расстреливать на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве, остальных «недоделанных существ» (терминология Маркса) сдав в колонии как бесплатную рабскую силу. Именно якобинец Робеспьер — диктатор Франции — придумал «монолитное единство партии», полагая, что различие во мнениях — неестественно, что оно есть выражение эгоизма, порочности и глупости. Нет, дескать, инакомыслящих, а есть враги внутренние, более опасные, чем неприятельские армии. Прямо устами диктаторствующего Робеспьера заявлено на 9-м съезде партии в 1920 году: «Советский социалистический демократизм единоначалию и диктатуре не противоречит». Тут, конечно, Ленин виноват — француз Руссо попутал: разделять власть на законодательную, исполнительную, судебную, административную так же нелепо, как составлять человека из нескольких разных тел. Большевики «углубили» идею Робеспьера: ЧК уполномочена была подвергать обыску, арестовывать и по своему усмотрению расстреливать. Тот же Робеспьер законом от 22 прериала лишал подсудимого всех судебных гарантий и превращал судебное решение в глумление над жертвой и справедливостью. Бог знает, не устроят ли 9-е термидора — казнь зарвавшегося Робеспьера — и в СССР.

Таким образом, марксистско-ленинская революция в корне явилась продолжением и углублением якобинской, которая была наследием всех средневековых мессианских движений, а закваской для нее служили чужебные подсказки. «У русского коммунизма никогда не было ни одной подлинно большой идеи», — сделал вывод философ Федор Степун, в 1926 году читавший лекции о национально-религиозных основах большевизма в Дрезденском политехникуме. Так неужели же в основе «перестройки» такое кровавое наследство и перспектива «гласности» — гильотина?! Или все же это только ритуальное заклинание, дань «отцам», пуустозвук для экспорта?

Не следует забывать, что якобинство — живучий тип ментальности. На эту сторону дела обратил внимание Тэн и задолго до своей истории революции высказал мысль, что психологический анализ якобинского типа настолько же важен для понима-

ния революции 1789 года, как характеристика пуританина — для английской революции XVII века. В 3-м томе «Возникновения современной Франции» Тэн занялся этим вопросом. Вечные бациллы якобинства можно уловить и через портрет Луи Блана, горячего поклонника Робеспьера, набросанный Мишле: людям этого типа присущ корпоративный дух, пламенная и сухая вера, цепкое инквизиторское любопытство; этому «проницающему оку революции» свойственны как ненависть ко всякому неравенству, так и окаменелые убеждения, рассчитанный фанатизм в деле смелых новшеств, любовь к владычеству и пристрастие к порядку. Истинный якобинец — что-то мощное, оригинальное и мрачное, что-то среднее между агитатором и государственным деятелем, между протестантом и монахом, между инквизитором и трибуном. Отсюда, полагает исследователь вопроса, его яростная бдительность, возведенная в степень добродетели, шпионство, объявленное патриотическим подвигом, и мания доносов. Тэн ищет корни «якобинского духа» в общих свойствах человеческой природы и находит их в двух чертах — в склонности к отвлеченным рассуждениям и в гордости. При благоприятных обстоятельствах происходит гипертрофия этих свойств: потребность отвлеченных рассуждений вырождается в узкий догматизм, не уравновешенный знанием реальных вещей; ум преисполняется политическими аксиомами; умственная близорукость не мешает, напротив, содействует развитию честолюбия и стремлению все захватить в свои руки. Усвоенная Луи Бланом доктрина искушала его не столько своими софизмами, сколько обещаниями; держась правоверной догмы, он приобретал в своих глазах право властвовать над теми, кто был ей чужд. Это скорее патологическое развитие человеческого «я», презирающее убеждения и совесть других, беззастенчиво распоряжающееся их жизнью и достоинством, хронически озлобленное. Психологический анализ якобинца важен не только для уяснения самого типа; без него остается непонятным важнейший факт в истории революции — совершившийся в ней перелом, разделяющий ее на две противоположные половины: период безотчетных стремлений к свободе и демократии и период сознательной диктатуры и террора.

Есть еще одно «но»: хотя революция как таковая замешена обычно на крови, человек не механически синхронен ее «проек-

ции». Спасительный «механизм торможения» подбадривает надежду самосохранения человеческого. Психолог Б. Кочубей в статье «Перестройка сознания» («Наука и жизнь», 1988, №10) пишет: «Используя "механическую" аналогию, можно сказать, что любая система знаний находится в состоянии устойчивого равновесия, и чтобы "перейти в другую веру", необходимо приложить дополнительную энергию для преодоления инерции, для расшатывания быстро застывающих, теряющих подвижность познавательных структур, превращающихся в догмы и стереотипы. Такая устойчивость, конечно, имеет приспособительный характер, обеспечивая нашему познанию — а следовательно, и поведению — точную направленность, внутреннюю активность, неподвластность сиюминутным влияниям... Особенно трудно вызвать сомнения и тем более поколебать установившиеся представления, когда им нет реальной альтернативы. Если на одной чаше весов — совокупность прочно сцепленных образов, знаний, убеждений, теоретических концепций, а на другой — лишь не связанные друг с другом факты, то, как бы громко ни кричали эти факты о том, что убеждения человека неверны, что от них пора отказаться, человек почти всегда способен их "перекричать", чтобы сохранить прежнюю точку зрения. Наличие же хорошо разработанной альтернативы сразу повышает нашу готовность воспринять нечто новое...»

И Козьма Прутков утверждал: «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий». И он прав: персонажи романа Евгения Замятина «Мы», живущие в сверхупорядоченном, абсолютно жестоком обществе, не могли представить себе, как возможен непронумерованный человек. Перестройка остро ставит проблему готовности людей к познанию, то есть к восприятию новых идей, веяний. Наличие в обществе системы альтернативных представлений является одним из условий такой готовности.

Врачи советуют смеяться — социальная релаксация (расслабление). «На смену приступам истерического страха, охватывавшим наше общество в 30-е и 50-е годы, — пишет упомянутый Кочубей, — в 70-е пришло чувство всеобщего недовольства друг другом, зависти и подозрительности. Такую

эмоциональную обстановку необходимо разрушить в первую очередь... Мы же, со своей стороны, проявляем некомпетентность и даже наивность, когда пытаемся взломать эти догмы, издавая указы "Об усилении ответственности за...", призывая работать с "максимальным напряжением сил" и поддерживая таким образом питательную среду давно устаревшего "эпоса", так охарактеризованного писателем В.Турбиным ("Дружба народов", №1, 1988).

К сожалению, «земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет», и порой не до смеха. Не шуточное дело — перестройка мотивов поведения. Гласность против показушного единогласия («Горе стране, где все согласны», — писал декабрист Никита Муравьев). И все больше вместо «единогласия» появляются «точки зрения». Разногласие внутри единогласия. Как учение А.С.Хомякова, сформулированное в его сочинении «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях» (1853): свобода угнетается католичеством во имя единства, протестантство чрезмерно ценит свободу, и только православие верно духу христианства, так как гармонически сочетает единство и свободу. И Достоевский опирался на это учение о преимуществе православного вероисповедания. Религию использовали якобинские «перестройщики». Так, 3 сентября 1793 года Тюрио провел в якобинском клубе определение просить Конвент о прекращении христианского богослужения; и, идя навстречу «пожеланиям трудящихся», *католическое богослужение было заменено богослужением разуму*; этому новому божеству была отдана церковь Нотр-Дам, другие церкви — другим аллегорическим божествам: Свободе, Молодости, Брачной любви и т. п. Однако Робеспьер заметил вскоре, что явный атеизм произвел дурное впечатление. Поэтому он, не будь дураком, выставил своих противников атеистами, а сам стал проповедовать веру в Бога!

Поведение якобинцев и коммунистов трудно предугадать — легче увидеть «плачущего большевика». Даже электронная машина отказывается выдать ясный результат на основании переполненных противоречиями данных о мотивации тех или иных советских поступков. Не случайно в Институте имени Кеннана по изучению русского и советского осенью 1988 года выступил с докладом политолог Федор Бурлацкий на тему «Хрущев и

Кеннеди — взаимное восприятие и непонимание». Он хотел проанализировать проблему лидерства с позиций политической психологии. Вопрос новый, если не считать статьи Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». В дальнейшем марксистская философия пошла по пути беззастенчивого извращения истины в угоду «политической реальности». Чем больше становилась роль Сталина, тем активнее писали в СССР о роли масс в истории. Однако усомнимся в серьезности попытки Бурлацкого доказать, что главная проблема перестройки — *деидеологизация политики*. Нет достаточных оснований. И к ленинской подсказке выхода из тупика бесполезно обращаться. В «К вопросу о диалектике» (том 29, с.321-322) вот как подается «один из оттенков бесконечно сложного познания (диалектического) человека: «Познание человека не есть (respective не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к *спирали*. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую линию, которая (если за деревьями не видеть леса) ведет тогда в болото, в поповщину (где ее *з а к р е п л я е т* классовый интерес господствующих классов). Прямолнейность и односторонность, деревянность и окостенелость, субъективизм и субъективная слепота *voilà* гносеологические корни идеализма. А у поповщины (= философского идеализма), конечно, есть *гносеологические корни*, она не беспочвенна, она есть *пустоцвет*, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объективного, абсолютного, человеческого познания». Вот что поведал Ильич №1 в 1915 году, пугая «поповщиной» распрямления марксистской «кривой». Циничные рецепты политического коварства и вероломства известны: «уклоняться от заведомо невыгодных сражений... маневрировать... прибегать к уловкам, нелегальным приемам, умолчаниям, сокрытиям правды... мало буржуазию побеждать, надо заставить ее на нас работать... построить новый строй чужими руками», — все это лукавое искусство обмана, как утверждает Авторханов, не только не исчезло, но и получило теперь творческое развитие: не только уже живыми словами, но и вполне зримыми бутафорскими измене-

ниями советской политики пытаются внушить Западу, что власть переродилась.

При прогнозировании развития радикальной экономической реформы в СССР используется метод альтернативных сценариев. Вот пять основных моделей реформ.

Неосталинская модель, или традиционная советская (рецентрализация планирования и управления; использование внеэкономических методов укрепления трудовой дисциплины и перераспределения трудовых ресурсов между отраслями и регионами; политика автаркии, обособленная во внешнеэкономических связях) — ее вероятность применения в СССР близка к нулевой, ибо при ней исключается переход к экономическим методам управления, нарастает бюрократизация в обществе, падает производство и потребление, углубляется кризис в экономике и политике. На миг, перед полным «затмением», она может одарить видимостью некоторых улучшений.

Модель *консервативной модернизации*, сходная с использовавшейся в ГДР (некоторая децентрализация управления при сохранении преимущественно административных, а не экономических рычагов; перестройка централизованного планирования без изменения принципиальных основ административно-командной системы управления; введение узконаправленного стимулирования, в частности, научно-технического прогресса, перераспределения трудовых ресурсов, развития договорных отношений; активизация использования цен для распределения дефицитных потребительских товаров), — в настоящий период реализуется в основном такой тип модели. Это — продолжение преимущественно экстенсивного развития экономики. Возможность поддержания в течение ограниченного периода незначительных темпов экономического роста. Некоторое повышение производительности труда и улучшение дисциплины. Продолжающееся расхождение между плановыми и фактическими инвестициями. Условия для коренной модернизации хозяйственного механизма не создаются.

Модель *радикальной, ориентированной на рынок реформы*, сходная с опытом Венгрии, Китая и Югославии (ликвидация директивного управления, отказ от установления заданий низовым хозяйственным звеньям; ориентация на единственный показа-

тель эффективности хозяйствования — прибыль; частичное сохранение централизованного управления и контроля в ряде важнейших сфер народного хозяйства — инвестиции, ценообразование, регулирование доходов; использование косвенного экономического регулирования; большинство предприятий остаются государственными, развивается кооперация; механизм поощрения конкуренции отсутствует), — вероятность именно такого перехода в перспективе, по мнению экспертов, повышается. Здесь более высокая эффективность, связанная с предоставлением реальной самостоятельности предприятиям. Задействование рыночного механизма приведения предложения в соответствие со спросом. Заметное ускорение научно-технического прогресса. Насыщение потребительского рынка, улучшение качества товаров.

Модель *смешанного типа*, используемая в Венгрии, Югославии и Китае (комбинирование) в различных пропорциях централизации и децентрализации, плана и рынка, государственных и частных предприятий; в государственном секторе, охватывающем важнейшие отрасли, действует централизованное планирование, ценообразование и маттехобеспечение; в частном секторе регулятором служит рынок, дополненный инструментами налогов и кредитной политики), — некоторые возможности для перехода к такому типу модели сохраняются, хотя, по утверждению западных специалистов, комбинация централизованного планирования и ограниченного внутреннего рынка потерпит неудачу, что видно, как они считают, на примере Венгрии. Прогнозируемые последствия применения: нестабильность хозяйственного механизма из-за противоречий между централизацией и децентрализацией, планом и рынком; возможно углубление имеющихся противоречий и появление новых проблем.

И модель вряд ли вероятная: *трансформации планового социалистического хозяйства в рыночное капиталистическое* (реприватизация собственности; радикальная децентрализация; свободный рынок труда, капитала, средств производства) — практически нулевая. Но тогда бы открылись полные возможности для развития производства на базе новейшей технологии. А цена?

Интересно, что о последней модели — трансформации планового социалистического хозяйства в рыночное капиталистическое — «Правительственный вестник» (№10 за май 1989) говорит не традиционным безоговорочным языком «нет»: «Конечно, ни о какой трансформации социализма в капитализм у нас вопрос не стоит. Но вывод о практически нулевой вероятности применения элементов такой модели в СССР бездоказателен и крайне легковесен. В частности, мы уже шаг за шагом движемся к организационно-экономическому механизму, ориентированному на кардинальные изменения в технологической базе производства». И с академиком С. Шаталиным трудно не согласиться.

Все это из философии «троянского коня», который, по мнению Авторханова, так успешно галопирует в сторону вражеской крепости с пленительными для нее лозунгами: гласность, открытость, демократия. «Диалектика» ли только большевистская — внушить западной аудитории явно антимарксистские ереси, если это помогает новой «макиавеллиевой» стратегии? Метаморфоза, превращение моментальное большевиков в незаурядных гуманистов и заправских демократов известна — как у Пушкина «проснулся раз он декабристом». Авторханов не верит Горбачеву, который проповедует правовую философию демократии, будучи главой тиранического режима, будучи атеистом — моральную философию религии, будучи марксистом и как таковой убежденным сторонником революционных войн или кровавых локальных войн — миротворческие лозунги пацифистов («Посев», 1988, №2). А если это всерьез: жизнь заставила?

Переломным рубежом стал, видимо, июньский пленум партии 1987 года. Когда Горбачев в своей речи на съезде КПСС 25 февраля призвал к «радикальной реформе», могло показаться это просто политической риторикой, ибо в принципе ничего не изменилось. Американские советологи выделяют три возможных стратегических выбора, существующих у СССР, — *консервативный, либеральный и радикальный*. Последний не исключает в конечном счете системы рыночного социализма. Но жизнь, как известно, значительно сложнее любых схем. В реальной экономике зачастую тесно переплетаются самые, казалось бы, несовместимые регулирующие процедуры и инструменты, парал-

тельно развиваются противоречивые процессы, иногда соседствуют совершенно разнохарактерные экономические рычаги и стимулы. Вслушиваясь чутко в бытие, публицист Вадим Кожинов откопал у того же Ленина формулировку, данную тем еще в декабре 1917 года, то есть сразу после революции: «Конкретного плана по организации экономической жизни нет и быть не может. Его никто не может дать. А сделать это может только масса снизу, путем опыта» («Советская Россия», 12 мая 1989).

Если за деревьями, как сказано у Ленина, не упускать леса, опасная черта этапа нынешней перестройки рассклала человеко-состав страны напополам: на «консерваторов» и «авангардистов». И ситуация меж ними до недавнего времени была, кажется, такова: «Административная Система, как не раз бывало в прошлом, — писал в начале 1988 года Гавриил Попов, специалист по управлению экономикой, — избежит перестройки и превратит все предпринимаемые меры в очередной капитальный ремонт Системы. Этот вариант может базироваться только на действиях консервативных сил: самостоятельно или под напором авангардистов. Самостоятельно консервативные силы в 1988 году, на мой взгляд, не выступят. Во-первых, еще свежи итоги их деятельности и плоды предкризисной ситуации. Даже авторов легко найти. *Консерваторы могут активизироваться только тогда, когда уже можно будет приписать перестройке неурядицы, вызванные торможением, но вытаскиваемые на свет именно перестройкой.* Во-вторых, налицо критика ошибок и преступлений прошлого, более реальная оценка как достижений, так и того, чем за них оплачено. Попытки защищать устаревшую систему, освещенную гласностью, конечно, дело неблагодарное... Ведь консерваторы только сейчас начали, я не могу сказать, бояться, всерьез задумываться над ходом событий. До этого они считали, что гром прогрехочет, а грозы не будет. Кроме того, у консерваторов нет лидеров... Нетерпеливые авангардисты, конечно, способны спровоцировать консерваторов. Они могут и в 1988 году, не считаясь с обстоятельствами, выступить за неподготовленную, а потому обреченную скоропалительную атаку с криком: даешь!» («Советская культура», 5 января 1988).

Консерваторы не выступили «в последний бой». К началу 1989 года завершился первый этап перестройки, на котором, как

заявил историк Юрий Афанасьев, «мы не добились перелома в формировании реального исторического сознания... Кроме того, на пути формирования исторического сознания нашего общества начали воздвигаться новые заслоны, и стало очевидно, что мы на этом поприще *не все по одну сторону баррикад*» («Советская культура», 5 января 1988). Наблюдается идейное размежевание и в стане «сторонников» перестройки. В интересной статье бюллетеня «Век XX и мир» (№3, 1989) появилась обобщающая информация, изложенная под заголовком «Перестройка: политическое сознание и социальные отношения». Леонтий Бызов и Николай Львов подводят предварительные итоги исследования актуальной проблемы: «Социологи отмечали поддержку перестройки со стороны значительного большинства населения; ее более медленный ход на локальном уровне, чем на глобальном; *некоторый рост недоверия к перспективе ее успешного завершения*; раздражение медленным ее развитием со стороны некоторых социальных групп. Общественное сознание перестройки за эти годы претерпело определенные трансформации: *первый этап* — недоверие к глубине и устойчивости перемен (примерно до конца января 1987 года), *второй* — обретение уверенности так называемыми «сторонниками перестройки», конфронтация общества в отношении к происходящим событиям, поиск прессой «открытых и явных врагов перестройки» (примерно до партконференции летом 1988 года); и, наконец, *третий*, наступивший после партконференции, — осознание невозможности возвращения к прошлому и, с другой стороны, нарастание стремления более глубоко понять то, что еще полгода назад казалось очевидным: «А что же все-таки такое — перестройка», возникновение явного идейного размежевания в стане «сторонников».

Выявлено путем опроса общественного мнения (1231 жителя Москвы) *шесть идейных платформ — шесть типов политического сознания*. Вот эти «типы»:

1. «*Прагматики-западники*»: страна должна стать цивилизованным государством, таким же, как экономически развитые страны мира.

2. «*Обновленцы*», то есть сторонники «обновления идеалов справедливости»: главное — это торжество принципов социальной справедливости, защита интересов простых трудящихся.

3. *«Государственники»*: главное — это поддержание и укрепление индустриальной и оборонной мощи страны, создание общества, в котором не было бы места демагогам, взяточникам и прочим антиобщественным элементам.

4. *«Зеленые»*: главное — это защита природы от разрушительных последствий человеческой деятельности, достижение всеобщего мира и разоружения.

5. *«Обыватели»*: главное — это наличие в магазинах дешевых и качественных товаров.

6. *«Патриоты»*: главное — это возрождение русского национального достоинства и культуры, таких ценностей, как патриотизм, мораль, семья.

Куда уходят корни политического сознания? Все большее число публицистов и ученых, как бы примериваясь, вскользь, начинают употреблять для описания нашего общества термин *«социал-феодализм»* с его двумя господствующими ипостасями собственности: государственно-имперской и общинной. Они породили многообразные и разветвленные социальные отношения, прочно войдя в сознание людей. Государственно-имперская форма, теснейшим образом связанная с «императором» Сталиным, стала доминировать в стране после так называемой «контрреволюции» конца 20-х, а апогей ее пришелся на конец 40-х. Основу социально-политического сознания сталинизма можно выразить следующим образом: «Человек есть то, что он значит в системе государственной иерархии. Величие государства есть и мое личное величие». Сталинизм породил статусный распределительный механизм (получать не в соответствии с трудом, не в соответствии с потребностями, а в соответствии со статусом) со своей иерархической и кастовой моралью. Параллельно с *«непосредственно огосударствленными»* социальными отношениями в стране всегда существовали и отношения *«общинного типа»*. Именно ими порождена неискоренимая тяга к уравниловке, к анонимной безответственности, неприязнь к «высовывающимся». Такого рода общинников как раз очень много среди «обывателей». Невольно вспоминается в этой связи то, что Авторханов писал в пресловутое «застойное» время Брежнева в книге о нем: это счастье Запада, говорилось там, что в Кремле сидит не Ленин и не Сталин, а мещанин. «Теперь этому счастью пришел конец. Наи-

более выдающиеся качества обоих лидеров большевизма — стратегический инстинкт Ленина и виртуозное восточное лукавство Сталина — нашли свой синтез в личности Горбачева. К ним он присовокупил свой собственный необыкновенный талант перевоплощения применительно к обстановке и интересам дела» («Посев», 1988, №2).

Но русское сознание бежит от власти, варягам отдает «княжати» собой. Оно «мировое», а не обывательское в сердцевине. Патриархально-авторитарная политическая культура свойственна россиянам: Хрущев был как бы «отцом семейства» — всего народа — и на этом основании вмешивался во все дела. Пожалуй, и Горбачев — своего рода «либеральный монарх» (или «либеральный консерватор» — сочетание порядка и свободы в применении к историческому развитию и современным потребностям; эту формулу князь Вяземский в начале XIX века применил к Пушкину). На языке психологии — русским свойственна конформность: изменение поведения человека под влиянием окружающих людей. «Это понятие иногда путают с коллективизмом, — пишет психолог Б.Кочубей, — хотя на самом деле между ними нет ничего общего. Человек, преданный коллективу, защищает интересы дела, которым занят этот коллектив, даже если для этого приходится отстаивать свое мнение против мнения всех. *Конформный человек* в противоположность этому отказывается от собственного мнения в пользу мнения группы независимо от того, идет ли это на пользу делу и связано ли это вообще с каким-либо делом».

О конформности заговорили в СССР потому, что эта поведенческая единица — один из сильнейших *механизмов инерции*. Стереотипы в сознании отдельных людей формируют мнение группы, а оно, в свою очередь, поддерживает стереотипы в сознании каждого из членов группы. Образуется замкнутый круг: все так думают, потому что все так думают. Это напоминает эпидемическое заболевание, но противозидемические мероприятия, увы, здесь невозможны: нельзя же запретить людям общаться! «К сожалению, — продолжает Кочубей, — особую эффективность механизму конформности в нашем обществе придают его глубокие корни в нашей истории. Крестьянская община в России отличалась исключительно высоким уровнем кон-

формности. Русский крестьянин, будучи формально собственником участка земли, фактически не имел права начать ее обработку на один день раньше срока, установленного общиной; никакие нововведения, никакие технологические или организационные изменения в хозяйстве без разрешения "мира" были абсолютно недопустимы». И следует оригинальная хвала помещицкому укладу хозяйствования: «Тирания общины в отличие от многократно описанной тирании помещика воспринималась как само собой разумеющаяся и не вызывала чувства протеста; однако фактически она была не менее, а то и *более суровой*. Конечно, из этого нелепо было бы делать вывод о нашей будто бы фатальной конформности, однако следует признать, что наш историко-культурный фон не очень благоприятствует развитию навыков самостоятельного мышления» («Наука и жизнь», 1988, №10). Неославянофилы, конечно, на дыбы от такой характеристики их общины. И все же отрадно сознавать, что наконец-то признали, что группа далеко не всегда рассуждает лучше кого-либо из своих членов. И правда, по исконным русским представлениям, истина не может быть найдена голосованием, большинство не обязательно лучше видит ее. На Земских Соборах, говорит Солженицын, не бывало голосований: истина искалась путем долгих взаимных убеждений — и определялась конечным общим согласием. И такое решение Собора юридически не было обязательно для царя — но морально неизбежно. Исходя из таких представлений, создание партий, то есть частей, борющихся за свои частные и н т е р е с ы за счет других частей народа, представляется нелепостью, да и не соответствует достоинству человечества, каким ему пора бы стать. Из КПСС, говорят, за один 1988 год вышло 300 тысяч человек.

Возвращаясь к «шестерке» политсознания, следует отметить тот факт, что у «государственников» и «обывателей» наблюдается высокая корреляция с «патриотами» и «обновленцами». Эта связь, по мнению ученых Бызова и Львова, не случайна. «Тот тип национализма, который присутствует в Москве и попал в нашу выборку, — заявлено в статье, — по своим параметрам почти ничем не напоминает национализм окраинный. Это национализм имперский. Проведенный нами анализ позволяет выдвинуть гипотезу: *национал-шовинизм, крайнее выражение так называемого*

"патриотизма", в сегодняшнюю эпоху является закамуфлированным сталинизмом, поскольку базируется на тех же государственно-имперских социальных отношениях».

«Патриотизм» у либералов клювом на Запад всегда закавычен, всегда охаивается. Янов, находясь за океаном, «новым мышлением» клеймит и американский «брежневизм», пугая мир «русской идеей». «Националисты» — «государственники» — «нео-сталинисты». Их отчасти роднит культ сильной личности и военного могущества. Они, как и «западники», весьма последовательны в своих пристрастиях. Для «обновленцев» же типичны большие колебания, взгляд на многие явления то с позиции «обывателя», то с позиции сталиниста. Авторы цитируемых этих «уроков демократии» полагают, что тип сознания «обновленцев» отражает мифологизированное общинное сознание социал-феодального общества. И подчеркиваем, что «общинный» — это не обывательщина «застойная». Чтобы не путали крестьянский мир (отсюда «Война и мирь»: мир — как общество, а не состояние без войны) с вненациональным мещанством, бюргерством, приведу протестующим цитату из Шукшина: «...Я заявил, что в деревне нет мещанства. Попробую развить эту мысль. Что есть мещанин? Обыкновенный мещанин средней руки... Мещанин — существо, лишенное беспокойства, способное слюнявить карандаш и раскрашивать, непрерывно, судорожными движениями сокращающееся в сторону "сладкой жизни". Производитель культурного суррогата. Существо крайне напыщенное и самодовольное. Взрастает это существо в стороне от Труда, Человечности и Мысли. Кто придумал глиняную кошку с бантиком? Мещанин. Кто нарисовал лебедей на черном драпе и всучил мужику на базаре? Мещанин. Крестьянин не додумается до этого. Он купил лебедей, повесит на стенку и будет думать, что это красиво. Его обманули. Попробуйте теперь отнять у него этот ковер с лебедами. Не отдаст. Он привык к нему. Надо ехать и объяснять, что это плохо. И надо так же искусно объяснять и доказывать, как искусно доказывали ему на базаре, что это хорошо. Я нарочно упрощаю, так удобнее выпятить мысль: сельская культура создается в городе. Вообще такой нет — сельской культуры. Ее придумал мещанин. Надо бить его по рукам, этого "изготови-

теля", всеми возможными средствами...». Эти «вопросы самому себе», написанные и опубликованные в 1966 году, содержащие утверждение «в деревне нет мещанства», вызвали в свое время бурную полемику в советской прессе. Но он-то знает, что говорит; ему доставалось за призывы сохранить, а не выкорчевывать, злополучную «некую патриархальность». «Вообще, — говорит он, — все "системы" хороши, только бы не забывался язык народный. Выше пупа не прыгнешь, лучше, чем сказал народ (обозвал ли кого, сравнил, обласкал, послал куда подальше), не скажешь».

Психолог Кочубей выигрышно представляет русских помещиков, а социологи Бызов и Львов со стороны экономики и статистики не только реабилитируют, но и восхваляют частную собственность: *«Ход мировой истории убедительно показал, что частнособственнические отношения являются более прогрессивными, чем общинные и феодально-государственные. Частнособственническую основу содержит тип политического сознания, который мы назвали "прагматиками-западниками"». Эта зарождающаяся у нас форма отношений не имеет на отечественной почве богатых социокультурных традиций, она встречается в штыки многими социальными слоями. На основании аналогии с мировым развитием можно предположить, что именно с данным типом сознания и стоящими за ним социально-экономическими отношениями связаны наши надежды на создание в стране правового общества».* Здесь «капитализм» подается через синонимический атрибут, иносказательно. И дальше авторы вводят горбачевскую реформу в классику: «При всей своей новизне для нас, частная собственность — изобретение довольно давнишнее. Для конца XX века характерной является тенденция "новой интеграции", в частности так явно проявившаяся в "новом мышлении" (термин М.С.Горбачева), только на основе которого сегодня можно решать глобальные проблемы, остро стоящие перед нами». И следует прикрышка-концовка цвета травки: «Носителями интегральных глобальных тенденций являются так называемые "зеленые", быстро набирающая силу идеология. Именно с ними (а не с "обновленцами") мы связываем подлинно социалистические тенденции в современном мире (достаточно указать, например, на то, что идеология "обновленцев" базируется на докапиталисти-

ческой форме собственности, а "зеленые" — на *посткапиталистической*) (это как у Шпенглера в «Закате Европы», кажется, говорится о возможном прыжке: минуя «капитализм» — в «цивилизацию»). «Не случайна, на наш взгляд, и высокая корреляция между двумя самыми прогрессивными типами общественного сознания. "Зеленые" во многих случаях колеблются и проявляют меньше последовательности, чем "западники". Что и требовалось доказать: перестройку делать по западным образчикам; черным по белому сказано, без обиняков.

Ну и, как гадалка на картах, «чем сердце успокоится» — «так все-таки сколько у нас перестроечников?» Ответ: *«Все зависит от того, где проходят баррикады. В 1986 году перестроечниками смело можно было назвать всех антисталинистов и антибрежневистов. Сегодня линия фронта сдвинулась резко влево, оставив справа самые объемистые типы — "обновленцев" и "обывателей" (а с ними "патриотов"). Слева же от той линии процентов 15 населения, не больше, но позиция этих групп будет, по нашим прогнозам, неизбежно усиливаться». Предсказывают убыль патриотизма в стране — время покажет. Но замер интересный и небывалый. Факт остается фактом: в «зеленой» ФРГ как всемирного героя встречали национального русского прагматика М.С.Горбачева.*

Итак, хотя третья волна «послания» или «изгнания» человека кончается и начинается четвертая, положение в стране не подошло к той грани, за которой реально может начаться нормализация. Замеряют «человеческим фактором» перемены в СССР. В Париже прошла Конференция по «человеческому измерению» безопасности и сотрудничества в Европе. «Вочеловечивание» идет не «по-ленински», хотя и не вопреки ему. Так недавно вскрылся почти забытый факт. Оказывается, сам Ленин хотел быть похороненным возле могилы своей матери на Волковом кладбище в Петербурге. Естественно, евонная Надежда Константиновна и Мария Ильинична, сестричка, хотели того же. Однако ни его, ни их не послушали. «Произошло то, что произошло. И это было еще одним, не сразу заметным, не сразу осознанным моментом нашего *расчеловечивания*, конечно. Была поправа не только последняя политическая воля Ленина, но была поправа его последняя личная человеческая воля. Конечно, во имя Ле-

нина же... Вот бесовщина. Мавзолей с телом Ленина — это не ленинский мавзолей, это еще по-прежнему сталинский мавзолей...» — хитрец Карякин подобрался к запретной теме так, что комар носа не подточит (см. «Русскую мысль» от 9 июня 1989). Гегель диалектику поставил «на голову», Маркс — «на ноги», а дух перестройки вышиб дно и вышел вон. На 1-м Съезде народных депутатов было заметно, что Горбачев удерживает лавину народного самосознания, пытается ограничить сферой духовной и, как только доходит до дел, натягивает вожжи. Причем он популярен все больше как «реформатор», а не как «революционер», кем себя провозглашает. Россия настрадалась от революций и вряд ли заслужила перед Богом еще одну подобную «уголовную перестройку».

Если термин «гласность» вошел в обиход с присущим ему сейчас смыслом *уже в 1856 году*, когда открылись многие независимые журналы, такие, как «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», развернулась свободная общественная дискуссия о реформах, кстати, во всех тех сферах, в которых они запланированы сегодня Горбачевым, то один из коммунистических заговоров известен миру уже тысячу «с хвостиком» лет. Во главе его стоял персиянин, глазной врач Абдалла Ибн Маймун (хотя мусульманин, но атеист). Арабский историк XIV века Макризи дает следующую характеристику персидского революционера: «Абдалла прекрасно знал все религии и все секты. Он составил систему учения, разделив ее на семь степеней знания или посвящения. Прозелит должен был последовательно проходить через них до тех пор, пока, сбросив иго всякой религии, он не становился *настоящим материалистом, не признающим ни существования Бога, ни каких-либо законов нравственности*». Три первые степени системы Абдаллы — это как «ученик», «подмастерье» и «мастер» в современном масонстве. Четвертая степень — начало конца мусульманина: Магомет, оказывается, не последний и не *высший* пророк (слепо верь только руководителю). В «5-м классе», ища везде скрытого смысла, «толсто» намекали, что правила жизни, установленные Магометом, могут быть со временем отменены. Шестая ступень без обиняков проповедовала ненужность молитвы, постов, паломничества, вообще всяких догматов и обрядов, основатели всех религий объ-

являлись обманщиками, а «мудрецы» — единственными обладателями истины. Членам общества внушали теперь полагаться лишь на *силу разума* и относиться с недоверием ко всяким религиозным преданиям. В общем, можно сказать, что *адепты шестой степени по своему мирозерцанию должны были напоминать собой наших атеистов и деистов XVIII века или позитивистов XIX-го*. Дальше почти никого не пускали. Но те из них, кто думал, что на «б-м классе» кончается учение, ошибались: не вольнодумство было последним словом тайной мудрости заговорщиков. На самом деле, в седьмой степени от рационализма поворачивали назад к *мистике*, но проповедовался уже не Единый Бог, а *дуализм*, воспринимаемый верхами общества в формах, очень близких к учению манихеев, т.е., в сущности, утверждалась извечность и *принципиальное равенство добра и зла*, Бога и дьявола. От такого дуализма («плюрализма») — один шаг до чистого сатанизма. С точки зрения религиозной психологии, переход от неверия 6-й степени к спутанной, а иногда и прямо черной вере — знаменательное явление. Оно указывает на ту связь, которая существует в человеческой психике между атеизмом и мистицизмом. Некая *безбожная мистика*. Достоевский вскрыл бесовской характер такого мистицизма. Петр Верховенский — мелкий бес перед фигурой персидского заговорщика. Хотя в конце XI века карматы — одна из трех ветвей последователей Абдаллы — были окончательно уничтожены, они «призраком» настигли Русь и дьявольски завихрили ее судьбу.

Теперь чужеродный в корне большевизм издыхает. И вместо того, чтобы помочь народу похоронить его и взяться «общим фронтом» за национальное возрождение, вот какой рисуется «современная концепция социализма» в «Известиях» от 6 октября 1988 года. На тогдашней международной научной конференции делался изящный экивок в сторону реформ («Нельзя не учитывать того, что сами взгляды Владимира Ильича претерпели важную эволюцию при переходе от военного коммунизма к нэпу»), но «при всем этом мы исходим из того, что социалистическая экономика невозможна без сильной роли центра». «Социалистический плюрализм» — это хорошо, но коли «КПСС открыта как для внутренних дискуссий, так и для обсуждения любых вопросов в обществе, со стороны общественных организаций, беспартий-

ных масс. В отношениях с общественными организациями партия уважает их право на собственное мнение, на отстаивание собственной позиции, на защиту своих интересов. В таких условиях теряется какой-либо смысл в искусственном создании других партий в качестве оппонентов политики КПСС». Вот как завернули те, кто и тут все еще уважает только организованное «собственное мнение». И гимн сбора теоретиков звучит: «Совершенно очевидно, что *руководящая роль партии не может быть ослаблена*, сведена только к координирующим функциям. *Напротив, влияние партии на общественные процессы мы намерены усилить*, но не командно-административными методами, а через сосредоточение ее сил на более глубокой и фундаментальной разработке теории и политики, на анализе общественных процессов и воздействии на общественное мнение присущими партии политическими и идеологическими средствами». Руководящая роль «поумневшей» партии — вот и вся концепция социализма XXI столетия. Отказываются от разных-всяких политдогм (например, в №10 «Международной жизни» за 1988 г. фактически отрицается существование «неоколониализма» как явления на современном этапе), а партию не трожь. Насчет «конвергенции» ученые социализма решили строго: «Конечно, речь не может идти о конвергенции двух систем, об их слиянии». А вот программа ныне покойного народного депутата СССР Андрея Сахарова, который в интервью журналистам канадской газеты «Оттава ситизен» заявил, что в Афганистане советские летчики расстреливали своих же окруженцев (чтобы не смогли сдать в плен!), дышит уверенностью, что «сближение социалистической и капиталистической систем, сопровождающееся встречными *плюралистическими процессами* в экономике, социальной сфере, культуре и идеологии (конвергенция), — *единственный путь радикального устранения опасности гибели человечества* в результате термоядерной или экологической катастроф» («Книжное обозрение» от 7 апреля 1989). Армия шипит — Янов ликует. И по Бурлацкому выходит, что мировой исторический процесс сводится к примирению современных цивилизаций. В «Философии права» Гегель отметил, что каждая из противоположностей по существу является одним и тем же, т.е. мыслью, и потому *они в процессе*

борьбы как бы убеждаются в необходимости и возможности взаимопроникать друг в друга до абсолютного тождества. Как два смертельно уставших борца так доборолись, что осели друг на дружке обессиленные. Противоположности в процессе борьбы взаимопроникают, впитываются друг в друга: все более и более абсолютизируется их тождество, а борьба угасает, сглаживается; каждая из противоположностей отдает себя другой противоположности, а эту другую впитывает в себя. Так что «неогегельянец»-депутат и наступательную доктрину устыдил, и концепцию врага «гегельком» же устранил. Но не «ножки» марксовы, а ножкой под одно место Маркса! А вот Горбачев, похоже, хотя он в своих речах неизменно клянется на ленинском катехизисе (так и вспоминается Шукшин: «не делайте вид, что вы проглотили тридцать томов Ленина — судите судом человеческим»), более марксообразен, чем ленинствует, хотя и поговаривает о «революции».

Хотя А.Глезер объявил о создании «Международной ассоциации интеллигенции в поддержку перестройки», почему-то министр обороны США Дик Чейни верит, что она, перестройка, скорей всего потерпит крах, на что Эдуард Шеварднадзе в интервью журналу «Тайм» огрызается — замечания Чейни были «некомпетентными и несерьезными». А тем временем Роальд Сагдеев, Андрей Кокошкин, Валентин Ларионов и Александр Коновалов — крупные советские специалисты по вооружению и деланию политики — убеждают в День Победы, 9 мая 1989 года, американскую Палату представителей, т.е. законодателей, «снова открыть второй фронт», предупреждая, что если Запад по-прежнему будет слабо реагировать на феномен перестройки, то в СССР усилится оппозиция. Этот факт Збигнева Бжезинского, бывшего помощника президента США по национальной безопасности, вполне устраивает: «но если они остановят перестройку, то этим лишь углубят кризис всей советской системы. Это сразу же ослабит Советский Союз» («НРС» от 26 августа 1988).

У гласностеведов примерно четыре вида отношения к гласности: 1) это надувательство, обман; 2) это заря новой эры, и Горбачеву надо помогать, вплоть до разоружения Запада; 3) хотя гласность сама по себе — дело замечательное, но в СССР все равно ничего всерьез не изменится; 4) открытое недовольство лю-

бым послаблением в СССР — «чем хуже, тем лучше». Во взаимосвязанном мире супердержавы синхронно реагируют на изменения друг у друга — при любой политконцепции: хоть «врага», хоть «партнера». И жутко пугает даже малая толика неизвестности чужой. Американский посол в СССР Джек Ф. Мэтлок, выступая 29 апреля 1988 года в Военной академии бронетанковых войск, привел в своем докладе интересное метафорическое сравнение: «Я — любитель русской литературы, и, когда был студентом, играл роль городничего в студенческой постановке "Ревизора" Гоголя. Помните, когда городничий получает письмо о том, что к нему едет ревизор, он сообщает это "пренеприятное известие" отцам города и спрашивает, что они думают об этом. Почтмейстер отвечает сразу: "А что думаю? Война с турками будет". А Ляпкин-Тяпкин подтверждает: "В одно слово! Я сам тоже думал"... *А человек опасается того, чего не понимает. То, что ему неизвестно, внушает страх и возбуждает желание защищаться.* Вот почему мы должны думать о возможной роли открытости в современной системе международной безопасности. Не только невежды, вроде гоголевского Ляпкина-Тяпкина, приходят к ошибочным выводам при отсутствии информации. Даже самые умные и хорошо образованные люди склонны думать о самом худшем, когда они видят могучую страну, окутанную секретностью. Возникает вопрос: к чему такая секретность, если не готовят какой-то неприятности для нас?..» И Советский Союз, чтобы ликвидировать информационный дефицит, вынужден в два-три года показать «более полный военный бюджет» (заверил генсек), точно объяснить смысл концепции «оборонной достаточности», чтобы Западу не казалось, что размер, организация, структура вооружения, операционно-стратегическое искусство и тактика советских вооруженных сил приспособлены к наступательному бою с возможным противником. А пока, советует Бжезинский, не мешать перестройке и не помогать: к лету 1988 года, согласно выводам Бжезинского в «Форин афферс», несколько восточноевропейских подкоммунистических стран уже находились в «классической предреволюционной ситуации» — так пусть же революционная бацилла дозревает сама по себе в СССР. Все, оказывается, плохо в отношении СССР: и усиливать опасно (себе на

голову, не врага, так конкурента), и в угол заталкивать (чтоб от отчаяния — ведь нечего терять — война не вспыхнула). Поэтому США, создается впечатление, активно противостоят в областях экономики, идеологии, стратегии — чтобы, по мысли Бжезинского, «систему советского типа не удалось экспортировать». Но, кажется, не до того Союзу, не до «заражения» собой других.

Американцы и русские, при определенной похожести, очень разнятся и почти не понимают друг друга. Союзу предлагают «обнажиться» почти полностью (кроме сохранения секретности на технические детали новых систем оружия и технологию их производства...), а сами, как предполагает Горбачев, наоборот: «Похоже на то, что Соединенные Штаты становятся все более закрытым обществом: хитро и эффективно изолируют там людей от объективной информации. Это — опасный процесс» («Красная звезда» от 24 октября 1986). Тут, возможно, он прав: логичнее им не «второй фронт», а «двойная игра». Но в этом же выступлении по телевидению Горбачев продемонстрировал свою неосведомленность об американской жизни, которая выразилась в его замечании: «Поставил я перед президентом вопрос о радиоинформации. Сказал, что и здесь мы находимся в неравном положении... Америка... отгородила себя от нашей радиоинформации средними волнами — у них приемники там только такие. Президент и на это ничего не мог возразить». Никто не подсказал Горбачеву, что если б. был спрос в Штатах на коротковолновика, то предложениями немедленно были бы завалены заокееанские прилавки, а так Америке на колесах, фермерам — да им на хайвеях скоростных нужна музыка, чтоб не заснуть или послушать для души, сообщения о погоде... Президент не «не мог возразить» — он просто в такую сторону не мог и подумать. Так что прежде всего советско-американский познавательный ликбез.

Америка и притягивает, и пугает. Интерес к американской конституции быстро сменился в России весьма критическим отношением к американской демократии вообще. В статье «Джон Теннер» (1836) Пушкин отметил: «Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно колебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее

душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству...» (Полн. собр. соч., т.11, с.104). Позднее философ И.Киреевский писал: «Казалось, какая блестящая судьба предстояла Соединенным Штатам Америки, построенным на таком разумном основании, после такого великого начала! И что же вышло? Развились одни внешние формы общества и, лишенные внутреннего источника жизни, под наружную механику задушили человека. Литература Соединенных Штатов, по отчетам самых беспристрастных судей, служит явным выражением этого состояния» (И.В.Киреевский. Критика и эстетика. М., «Искусство», 1979, с.184). «Город без имени» (1839) В.Ф.Одоевского воспринимался читателями того времени как социальная сатира, памфлет, направленный против США, хотя в этой антиутопии — вообще критика индивидуалистической цивилизации, безотнотительная. Тут и об англичанине Иеремии Бентаме (1748-1832) — праотце теории «разумного эгоизма». Не только Французская революция, но даже такое событие, как война за независимость английских колоний в Америке, казались Екатерине-государыне страшной крамолой. Поэтому она не любила даже портрета Франклина (Радищев, «бунтовщик хуже Пугачева», сеятель заразы французской, именно нахваливал Франклина «как начинщика и себя таким же представляет»).

В связи с Французской революцией в русской историографии возник животрепещущий вопрос: что ожидает Россию? Пойдет ли она, подобно Франции, дорогой революции, или ей предстоит особый путь, свой, без революционных потрясений? В качестве ответа возникла теория двух закономерностей, и суть ее состояла в следующем. Франция и Россия развиваются по совершенно различным историческим закономерностям: Франция — путем революции, Россия — без революций, а основанием для этого служит тот простой факт, что эти страны различны по своим историческим истокам. Франция вышла из завоевания франками римской Галлии, и в этом кроется причина вековой борьбы между завоевателями, ставшими классом дворян, и завоеванными галло-римлянами, превращенными в крепостных. *Результатом такого развития и явилась Французская революция.* В противоположность этому Русское государство якобы родилось из мирного призвания варяжских князей, наделенных сами-

ми призвавшими неограниченной властью. Посему Россия с самого своего основания развивалась как неограниченная монархия, а в социальном строе не заложено причин для революции. Как только в России нарушался этот принцип, ее ждала национальная катастрофа: первое доказательство тому — феодальная раздробленность и последовавшее затем татарское иго; второе доказательство — Смута и последовавшая за ней шведско-польская интервенция. Отсюда вытекал вывод: России надлежит хранить абсолютную монархию, и ей «противопоказан» пример Франции. Кафтан, сшитый для «карлы», не по плечу русскому богатырю (Болдин). Не поэтому ли в 1917 году чужеродные силы на чужие деньги сделали чужую революцию в России? Может быть, еще и непоследовательный характер реформ 1860-х годов стал тем отправным пунктом «напряжений и противоречий» внутри Российской империи, которые, как выяснилось позже, могли быть разрешены только революцией? Может, истоки революционного движения в России — в традиции крестьянских войн, а соединение сил интеллигенции и народа — неизбежный взрыв устоев вековых? Во всяком случае, два последних предположения принадлежат англичанину Алану Вуду (A. Wood. The Origins of the Russian Revolution: 1861—1917. London, Methuen, 1987, p.2, 10). Петр Струве в своей статье «Исторический смысл русской революции и национальные задачи» (сборник «Из глубины») объясняет это «национальное банкротство и мировой позор» «совпадением того извращенного идейного воспитания русской интеллигенции, которое она получала в течение почти всего XIX века, с воздействием великой мировой войны на народные массы: война поставила народ в условия, сделавшие его особенно восприимчивым к деморализующей проповеди интеллигентских людей. Извращенное же идейное воспитание интеллигенции... отчудило от государства широкий круг образованных людей, ослепило его ненавистью к исторической власти... Владимир Ильич Ульянов-Ленин мог окончательно разрушить великую державу Российскую и возвести на месте ее развалин кроваво-призрачную Совдепию потому, что в 1730 году отпрыск династии Романовых, племянница Петра Великого, герцогиня курляндская Анна Иоанновна победила князя Дмитрия Михайловича Голицына с его товарищами-верховниками и добившееся вольностей, но

боявшееся "сильных персон" шляхетство и *тем самым окончательно заложила традицию утверждения русской монархии на политической покорности культурных классов пред независимой от них верховной властью*. Своим основным содержанием и характером события 1730 г. имели для политических судеб России роковой предопределяющий характер... Таким образом, самодержавие, отказав культурному классу во властном участии в государстве, вновь привязало к себе этот класс цепями материальных интересов, тем самым отучая его от политических стремлений и средств и приучая к защите своих интересов, помимо постановки и решения политического вопроса. Дальнейший ход политического развития России определился событиями 1730 г. Верховная власть в течение XVIII и XIX вв. окончательно осознала себя как силу, независимую от "общественных", сословных в то время элементов и отложила в такую силу. А общественные элементы за это время одной своей частью привыкли государственную власть мыслить только в этой независимой от "общественных" элементов форме и всю свою психологию *приспособили и принизили* до такой государственности. Другой же своей частью они все больше и больше отчуждались от реального государства, постоянно ведя с ним скрытую, подпольную, а временами открытую революционную борьбу. *Это отщепенство от государства получило с половины XIX века идейное оформление, благодаря восприятию русской интеллигенцией идей западноевропейского радикализма и социализма*. Не потому ли Горбачев «ставит на» писателей, а те, как повелось, — в умеренную к нему оппозицию? Или генсек — очередная жертва старой русской иллюзии: что литература — это «второе правительство»?

Почему же на вопрос газетчика из «Юманите» («Означает ли это, что речь идет о новой революции?») Горбачев 4 февраля 1986 г. ответил категорично: *«Нет, конечно. Так вопрос ставить, думается, было бы неверно*. Правильнее было бы, на мой взгляд, сказать, что сегодня, в 80-е годы, мы выдвигаем задачу придать новое мощное ускорение делу, начатому большевистской партией почти 70 лет назад». Просматривается тут психологическая «деградация» уверенного пафоса: сначала «нет, конечно», затем «думается, неверно» (два снижения) и, наконец, «правильнее» (как отстреливание при отходе). «Можно пойти» до Французской

революции, но «правильнее» — лучше не доходить. А то сателлиты (да и свои есть — не дай Боже) что вытворают! Истина темна.

«Ну? Как теория циклов?» — доносится из солженицынского «В круге первом». Та революция «то же» началась с либерализма, а выродилась в гильотинный террор. Ведь общество, как подметил еще в 1860-х годах Салтыков-Щедрин, чувствует, что если оно останется при прежних своих основах, то неминуемо придет к самоликвидации. Лгать уже трудно, да все вылгано, а новых тем для лганья жизнь не очень-то поставляет. «*В настоящую минуту Россия находится в состоянии, в каком была Франция в 1789 г.* Спасите нас, спасите себя от 1793 года», — писал эмигрант П.В.Долгоруков в 1860 году императору Александру Второму, мотивируя свое обращение тем, что «здание ветхо» и если в строительстве нового «хозяин заупрямится, то упрямством своим он вовсе не удержит ветхого здания, которое неминуемо рушится, да еще, пожалуй, при падении хозяина раздавит» (П.В. Долгоруков. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860-1867. М., 1934, с.54). Хорошо, ясен вывод — перестраиваться, строиться. Но какими темпами? С одной стороны, промедление смерти подобно, а с другой — поспешишь, людей насмешишь, дров наломаешь. Не в темпах ли и «регламентных границах» перестройки, если сбросить со счетов «распределительную» вражду, — суть конфликта Горбачева с Ельциным? И это было: в шестом номере лейпцигского «Благонамеренного» за тот же 1860 год читаем аналогичное: «Людовик XVI делал реформы, но делал их слишком тихо для нетерпения народа, вышедшего из терпения».

Что же день грядущий нам готовит? Николай Чернышевский в 1860-1861 гг. в «Современнике», в комментариях к «Основаниям политической экономии» Милля, подчеркивал *зигзагообразность общественного движения на пути восхождения*: оно начинается с критики «заметных с первого взгляда», бросающихся в глаза недостатков, что характерно для умеренных либералов. Далее критическая мысль проталкивается к выводу: «Под явлениями, очевидно неудовлетворительными, лежат принципы, на которых построен весь общественный порядок, что востепенных явлений нельзя устранить, не устраняя этих коренных причин; тогда *умеренно либеральная критика переходит в ра-*

дикальную; так за Монтескьё явился Руссо; за Мирабо — Робеспьер». Но вот скоро общество замечает, что «радикалы, увлекшие его, идут гораздо дальше, чем может оно идти по своим понятиям, что вместе с недостатками, которыми оно тяготилось, ниспровергают они вещи, которыми оно очень дорожит. Тогда начинается другое настроение мыслей: *касаться оснований общественного устройства — это злодейство или безумие*; довольно устранить второстепенные недостатки. *Опять настанет пора умеренного либерализма*: за Конвентом следует директория и консульство». Но и на этот раз на умеренном либерализме мысль не останавливается, а продолжает развиваться: на смену либерализму приходит «период крайней реакции». В качестве примера тому Чернышевский интерпретирует опыт Французской революции: «Конституционный порядок директории, ставший почти только призраком во время консульства, переходит в полный абсолютизм империи». Выявленная Чернышевским закономерность «волн», чередования идейных течений общественного движения привела его к фундаментальному выводу: «...реакция ведет к умеренному, потом к реакционному консерватизму, и опять от этой крайности общественная мысль переходит в противоположную крайность через умеренный либерализм».

Горбачевское «ГПУ» (Гласность, Перестройка, Ускорение) — «волна» обновления конструктивных элементов структуры, пришедшей в полную негодность. НЭП называют первой «волной» (сменился сталинским «закручиванием гаек»). Хрущевский период «хвастовства и пустозвонства» затмила бровями брежневщина. Третья — «затухающая» по сравнению с хрущевской «оттепелью» — все выпускает пары общественного недовольства, мало созидая, а больше пеняя, как повелось, на безобразия предшественников (Сталина — вон из мавзолея, теперь робко и остороженько воскового Ленина извлекают, не говоря уж о посмертном переименовании городов в честь «калифов на час»). Волны обновленчества — *от крайней централизации к относительной децентрализации и последующей рецентрализации* — исторически бушуют. Прямо как неотвратимый фатум, судьба, рок, неизбежность. Стало быть, нынешние «колебания» эти вызваны не только и не столько тем, что власть неспособна эффективно управлять по-старому (она и по-новому не знает, как;

а кто знает?!), и экономика в упадке ставит под угрозу национальную безопасность и самое существование страны. Вот и вспыхнул дух инквизиторского лозунга «все средства хороши для достижения цели» в словах основополагающих из песни «жила бы страна родная». Пробуют упрочить старое — некоторая децентрализация, а она на определенном уровне некоторого оживления снова резко сдает. Тогда насаждается рецентрализация, не без насильственных мер. Так и идет: от крайней централизации политического управления обществом при военном коммунизме (введен до начала Гражданской войны, во время мира с Германией) — к некоторой децентрализации при НЭПе, сменившейся при Сталине тотальной рецентрализацией. После Сталина цикл повторился в форме относительных послаблений хрущевского образца «мужичества на троне», пока Брежнев не централизовал все снова, как сконцентрировал на своей груди ордена и медали всех времен и народов.

Казалось бы, ныне должен наступить этап новой децентрализации. Но система, видать, исчерпала свой «социальный ресурс» (выражение академика Татьяны Заславской), исчерпала возможности решать свои проблемы циклическим методом и стоит перед: быть или не жить. Чтобы вырваться из тупика, децентрализуется экономика (самоуправление предприятий — «социалистического товаропроизводителя»), но не основы советского мировоззрения («социалистический плюрализм?»), хотя и претерпевает некоторые изменения политуправление обществом. Нечто похожее наблюдалось в Югославии в начале 60-х годов (южные славяне опередили северных братьев — рванули по «Хроникам» Салтыкова-Щедрина, первопроходцы), в Польше — в 70-х, в Китае — попозже, сравнительно недавно. Однопартийная система, вынужденная допустить плюрализм мнений, вовсе не стремится (и это понятно) последовать совету радикалов: стать одной из «нормальных и уважаемых неформальных организаций». Хотя даже американцы прибегают сознательно к дезинформации, чтобы скрыть свои технологические секреты (David M. North. U.S. Using Desinformation Policy to Impede Technical Data Flow. — «Aviation Week & Space Technology», 17 March 1986, pp.16-18), горячечные отечественные поклонники открытости

национальной требуют полной отчетности КГБ: даже появился в «Аргументах и фактах» спецаппендикс колонки, рупор «оправдания» в сторону гласности. «Московские новости» тут как тут: 7 мая 1989 года провели статистически точную оценку популярности этого «социального института». Все открытее радикалят: «Избавьте нас от вмешательства политбюро, и страна будет освобождена от коррупции». Ельцин требует отчета от правительства, как страна дошла до ручки. Реаниматорщики «просвещенного сталинизма» перетряхивают старье. Лигачев пытается создать блок из послушных ему народных депутатов. Но Маркс умолим: производительные силы вступили в конфликт с не соответствующими больше им производственными отношениями и, чтобы избежать настоящей революции, трансформируют ее в революцию сверху, кидая на съедение, закляние среднее звено партаппаратчиков, а частную инициативу и идеологию сдавая под госнадзор.

Считается, что соединение трех факторов привело к нынешней перестройке: Маркс «подсказал», что неизбежна революция, если «производственные отношения из форм развития производительных сил превращаются в их оковы», плюс Ленин «напомнил» о времечке, когда кто-то «не может», а кто-то «не хочет», плюс испугал до смерти заразительный пример польской «Солидарности» (революция внутри социализма против социализма). К гласности, поговаривают злые языки, прибегли по большой нужде — не идет перестройка без западных кредитов на нее. Право ли армянское радио в своем утверждении, что Горбачев — не прогресс и не обман, а «прогресс обмана», — только время покажет. Разница между Горбачевым и Дубчеком в два десятилетия, но у Горбачева может получиться и без «перестрелки», потому что Советский Союз достиг точки, когда радикальные перемены уже не кажутся «консервативно наследственному» народу страшнее сегодняшних пороков, с которыми разделяются на глазах. Actum, ajunt, ne ages — с чем покончено, к тому, говорят, не возвращайся.

В конце 1988 года в студии «Публицист» состоялась радиопередача «В спорах рождается истина»: об идейных спорах между славянофилами и западниками. В передаче приняли участие Н.Шмелев, И.Золотусский, В.Кожин, А.Севастьянов, Б.Та-

расов. Кожинов напомнил, что «западники были неправы, когда они думали, что можно пересадить из одного общества в другое какую-то целостную модель общественной и даже частной жизни»; он также забраковал ключевое понятие «арендный подряд», предпочитая вернуться к старому русскому слову, известному с XVI века, слову «артель» («подряд» — это и относится к артели, т.е. артель подряжалась выполнять какую-то работу, и отсюда происходит слово «подряд»). Шмелев возразил Кожинову насчет «искусственной пересадки»: «Люди есть везде люди, и система стимулов, система рациональности, система форм рациональной организации социально-экономической жизни — она везде одинакова, она не имеет особых национальных окрасок». Золотуский призвал на основе классики к внутреннему пути преобразования: «...Русская философия и русское политическое сознание вытекает все-таки из того, что дает русской интеллигенции именно литература, — такова особенность все-таки нашей истории, она всегда, так сказать, стояла на иной точке зрения: что свобода внутренняя человека важнее свободы внешней, что сначала нужно освободить человека внутренне, а потом уже прибегать к изменению тех институтов, в которых он живет»; у славянофилов он взял бы «их критику рационализма... и... гордыни ума, о которой предупреждал, кстати сказать, Гоголь. Потому что гордыня теории, гордыня абстракции, которая привела к тем страшным последствиям, которые мы пожали в XX веке, налицо». Шмелев не за революцию: «Герцен, например, ставил непременным условием использование гильотины. Он говорил, что конституциональные перемены никак не могут осуществиться без насилия и крови. Однако опять-таки история показала не только утопичность подобных планов, но в который раз уже продемонстрировала, что насилие и кровь не могут вызвать ничего иного, кроме крови и насилия. Все дело только в сроках». И, добавляет Шмелев, спор Белинского и Гоголя — как «раскол русской Церкви, кстати сказать, с которого начались смуты по существу внутри России, ... а мы еще даже Гоголя-то целиком опубликовать не можем...» Пункция без спроса и без наркоза! Да здравствует «абсолютная гласность, без пункций и перекосов!» Чей ум в самоброжении, чей подался «по Европам». Или, выражаясь словами

Достоевского, «Левин, русское сердце смешивает чисто русское и единственно возможное решение вопроса с европейской его постановкой. Он смешивает христианское решение с историческим "правом"». А «злоба дня», как и раньше, в двух вариантах выбора пути:

«Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуемся несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием... Я, дескать, сознаю, что я подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие». У этой позиции «никакого нравственного фонда», кроме «после меня хоть потоп».

И другой тип русского интеллигента, прямо противоположный первому, — кающийся. Черта эта выражается совершенно в ответе Левина Стиве Облонскому: «Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, по крайней мере я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват».

«Кто виноват?» и «Что делать?» — вечные «проклятые» русские вопросы.

ВЕРТЛИБ Евгений Александрович родился в 1943 году в эвакуации из Ленинграда в семье военного врача. В 16 лет опубликовал свои первые стихи на Урале. В 1970 окончил филологический факультет Ленинградского университета. До выезда на Запад (1975) преподавал литературу, эстетику, политэкономия и был старшим научным сотрудником Ленгосархивов. В 1983 защитил докторскую диссертацию в Северокаролинском университете США о постсталинском русском национальном возрождении. Работал в калифорнийских институтах: военных языков и международных отношений. С лета 1985 — профессор в Военном институте по изучению СССР (ФРГ). Член ПЕН-Клуба. Опубликовал в Америке и Европе около 50 статей, стихотворения. В США готовы к выходу в свет две его книги: «1812 год у Пушкина и Загоскина (к вопросу об истоках русского самосознания)» и «Василий Шукшин и русское духовное возрождение».

А К Т

Верховного Совета Литовской Республики о восстановлении независимого Литовского государства

Выражая волю народа, Верховный Совет Литовской Республики постановляет и торжественно провозглашает, что восстанавливается реализация суверенных прав Литовского государства, поправанных чужой силой в 1940 году, и отныне Литва вновь становится независимым государством.

Акт Литовского совета независимости от 16 февраля 1918 года и Резолюция Учредительного сейма от 15 мая 1920 года о восстановлении демократического Литовского государства никогда не утрачивали правовой силы и являются конституционной основой Литовского государства.

Территория Литовского государства является целостной и неделимой, на ней не действует конституция любого другого государства.

Литовское государство подчеркивает свою приверженность общепризнанным принципам международного права, признает неприкосновенность границ, как это сформулировано в Заключительном акте Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в 1975 году, гарантирует права человека, гражданина и национальных сообществ.

Верховный Совет Литовской Республики как выразитель суверенной воли настоящим актом приступает к реализации полного суверенитета Государства.

Председатель Верховного Совета
Литовской Республики
В.Ландсбергис

Секретарь Верховного Совета
Литовской Республики
Л.Сабутис

Вильнюс, 11 марта 1990 года

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Яцек Т ш н а д е л ь

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

(Время генерала)

Военное положение, введенное после 13 декабря 1981 года, принадлежит истории Польши. История обладает тем свойством, что ее можно толковать, но нельзя изменить. Коммунисты «изменяли» историю, и стоит отметить, что на наших глазах, во имя наследства, оставшегося от коммунизма, и главных наследников, но не только их, совершается столь далеко идущее изменение оценки военного положения, что это нельзя назвать иначе, как фальсификацией истории.

Если бы вопрос о военном положении предали стыдливому забвению, это было бы частью своего рода политической игры, фальсификацией через умолчание. В конце концов, прошло уже восемь лет. Однако оказывается, что эту игру коммунисты сумели навязать и своим недавним противникам. Они желают обладать правотой сейчас — и обладать правотой в будущем. Разумеется, те, что остались на сцене. А поскольку на сцене остались главные организаторы военного положения, достаточно их назвать: Ярузельский, Кишак, Раковский, — то происходит своеобразное переистолкование военного положения. Оно имеет целью не только обелить, но и героизировать этот акт насилия и произвола. Инициатива, несомненно, находится в руках недавних виновников, специалистов по социотехнике и манипуляции общественным мнением. Но и те, против кого было направлено военное положение, пошли на эту игру. Это, по их мнению, неплохая торговая сделка — ибо говорить тут приходится о политической торговле из-под полы, — но контрагентом этой сделки является также весь народ, хотя его согласия никто не спрашивал.

Поскольку те, кого народ недавно винил в военном положении, по-прежнему занимают ключевые стратегические посты в аппарате власти, они желают получить не прощение, а миропознание перед лицом ушедшей истории. Перечислим элементы этой стратегии изменения истории. Во-первых: военное положение надо не замалчивать, а освоить. В боксе это называется идти на удар. Генералы Кишак и Ярузельский охотно соглашаются давать интервью на самые шекотливые темы, эти интервью появляются в ведущих изданиях, связанных с недавней оппозицией. С генералом Ярузельским беседует его недавний идейный противник Адам Михник. Не буду перечислять интервью других чинов военного положения — их поток выглядит запланированным, хотя я думаю, что это скорее атмосфера. И заразительная. Конъюнктурный западный журналист (имеется в виду французский журналист Габриэль Меретик, автор книги «Ночь генерала». — *Пер.*), т.е. серьезный кредитор, пишет подробнейшую книгу о военном положении: первая ночь, час за часом. И только воздерживается от какой бы то ни было оценки. Книгу он обогащает фотографиями, не так давно тайно распространявшимися свидетельствами насилия и произвола, и издает в Варшаве массовым тиражом. Итак, мы показываем всю правду, да нам и нечего стесняться. Ну, конечно, кой-каких деталей мы стесняемся, наш нынешний министр, пани Цивинская, на несколько дней была задержана... Стесняются, однако не за всем могли усмотреть. Невозможно скрыть расправу на шахте «Вуек» (см. Феликс Светлик. Силезия, декабрь 1981. — «Континент» №32. — *Ред.*), но можно назвать полицейскую резню трагедией. Главнокомандующий военным положением возложит там цветы. Тот самый, что был министром обороны в 1970 году, когда армия стреляла на Балтийском побережье. В любой нормальной стране либо преступников отдали бы под суд, либо лишили бы министра воинского звания и прогнали с политической сцены. Лидеры недавней оппозиции включаются в игру. В фильме о Ярузельском-президенте Лех Валенса говорит, что в 1981 году было еще слишком рано для успеха дела «Солидарности». Примас Глемп заверяет, что Ярузельский тогда очень страдал... Читай: в высших целях он был готов согласиться на непопулярность и совершал насилия, для которых не создан. Но — ради спасения Польши.

Тут вторая посылка, не новая, впрочем, но в новой упаковке: меньшее зло. Что же, значит, «Солидарность» была злом? Да, в некотором смысле, но не меньшим злом было историческое стечение обстоятельств. Здесь обращаются к двум принципам исторической оценки: согласно первому, исторические перемены созревают сами, и ход истории не следует ускорять (ни замедлять — откуда нам это так знакомо?), все всегда должно происходить в соответствующее время, а какое таковым является — способна оценить партия и ее вождь; второй принцип, аргумент, успешно действующий на тех, кто отвергает исторический детерминизм, — теория заговоров, движущих историей. Итак: был в наличии ужасный Брежнев, еще не было перестройки, зато был план советского вторжения в Польшу. Заговорщиков уже нет в живых, *ignogabimus*, говорит «официальный» историограф Меретик. Ярузельский признаётся, что есть вещи, о которых он никому ничего не скажет: полный трагизма, на службе нации, он унесет их с собой в могилу.

Так чего ж мы тогда страдали? Идиоты, во время бури мы хотели погрузить народ в челнок и плыть по волнам истории? К счастью, нашлись мудрецы, которые вырвали из наших рук весла и заперли нас в кутузку — ненадолго, пока буря не успокоится, а народ не выстроит корабль. Так это выглядит в притче.

Приглядимся теперь к вышеописанным группам фактов. Освоение военного положения повелевает забыть о его ужасе. Это было вооруженное насилие над суверенной нацией — миллионы людей почувствовали себя опозоренными в эту декабрьскую ночь. Десятки тысяч людей, осужденных опытным, зачастую еще сталинским тоталитарным аппаратом, были интернированы или брошены в тюрьмы. Были смертельные жертвы милицейской и зомовской стрельбы, жесточайших избиений, в т.ч. дубинками. Теперь из них пытаются сделать, выражаясь языком Норвида, сознательно задуманные коммуной «жертвы в будущее». Уничтожали хрупкую ткань общественных структур, крушили элиту общества, распускали творческие союзы. Принудили к эмиграции элиту и зачастую самую ценную часть нового поколения поляков. Это невозместимая историческая утрата, а ведь эмиграция была одним из официальных элементов торга, ценой выхода из тюрьмы — она была запланирована. В экономически разваленной стране оттянули

структурные перемены, разрушали нравственные нормы и разлагали население, ибо ничто так не разлагает, как подобная власть силы. Еще сильнее обострили разложение администрации и аппарата. Это было первое в истории страны военное положение, контролировавшееся преданными системе польскими вооруженными силами.

А каково было бы большее зло, от которого нас уберegli? Честное историческое мышление не позволяет заслоняться фактами, которые не имели места и доказательства которых — всего лишь элементы инструментария коммунистической социотехники. Однажды я уже сказал это в радиопередаче за пределами Польши: даже иностранная интервенция не была бы существенно хуже. Пример — вторжение нескольких иностранных армий в Чехословакию: в организованной борьбе платой не была цена жизни (а это ведь самый весомый аргумент). Иностранная интервенция была бы смешанной, как в Чехословакии: чужеземные танки стояли бы в стратегических пунктах, а интернировали бы основную массу граждан те же самые люди. Но тогда тоже победила социотехника: Ярузельский наверняка знал, что, ассоциируясь с советскими танками, он потеряет последние шансы на будущих вероятных зигзагах истории. Эта гипотеза по меньшей мере столь же основательна, как гипотеза меньшего зла. Более того, сегодня известно, что вторжение в Польшу было бы для Брежнева крайним выходом, и кто знает, решился бы он на это или нет. Посмотрим с противоположной стороны: усмирение Польши без советской интервенции было лучшим подарком, какой мог сделать Брежневу верный друг. Ярузельский не столько уберег Польшу от меньшего зла, сколько не допустил отрицательного, а в тех обстоятельствах прямо кошмарно дорогостоящего политического итога для Совдепии. Выходит — не столько спаситель Польши, сколько самый близкий союзник Брежнева.

При манипуляции молчаливо предполагается, что восемь лет — это много. Но если говорить о человеческой памяти, то это очень мало, потому-то так и поражают успехи этой социотехники. Пора подвести итоги. Я сказал, что военное положение — это исторический факт. Чтобы сделать его более зримым, можно обратиться к историческим аналогиям. В XIX веке маркграф Велёпольский, которого в последние годы тоже пытались «освоить»

на нужды коммунистических «государственных соображений», сказал — цитирую почти дословно, — что если русских нельзя победить, то нужно их полюбить, добровольно отказаться от суверенности. Велёпольский знал, что готовится восстание — а это не было движение с квакерскими принципами, как «Солидарность», — и отдал распоряжение о рекрутском наборе по подготовленным проскрипционным спискам. Этот рекрутский набор не был обычным: на долгие годы вперед у Польши должны были отнять самую активную молодежь, т.е., практически говоря, уничтожить ее. Но русские тоже хотели избежать польского восстания, которое обошлось бы им чересчур дорого и революционизировало бы массы. Для них правительство Велёпольского тоже, должно быть, было меньшим злом. Если бы Велёпольский выиграл, увенчали бы мы его лаврами трагизма и меньшего зла? Или предпочли бы считать его русификатором и орудием царской политики, чем он и был? За лозунгом меньшего зла скрывается еще и коммунистический пацифизм, осуждающий пролитие любой капли крови — главное, чтоб ее не проливали в борьбе с коммунизмом.

В заключение хочу обратить внимание, что аргумент меньшего зла можно растягивать в прошлое. Болеслав Берут может из-за гроба защищаться тем, что правление польских коммунистов было меньшим злом, чем прямая советская оккупация, а бросать бойцов Армии Крайовой в тюрьмы было меньшим злом, чем новое кровавое восстание без надежды на успех. Так можно было бы осудить половину демократических и освободительных движений в истории, поскольку они потерпели поражение, а на алтарь вознести тиранов. Берман был лучше, чем — правь он в Варшаве — Жданов. Радкевич — лучше Берии, а Ружанский — лучше Серова. И, нет никакого сомнения, они были лучше — для Сталина: непосредственная оккупация Восточной Европы обострила бы холодную войну.

Так, выходит, хорошо поступили те, кто подавил свободолобивые и демократические народные чаяния, пробудившиеся на семь с половиной лет раньше, чем надо? Над нами будет смеяться следующее поколение, если мы согласимся пользоваться подобными цифровыми показателями. Цена такой моральной инфляции была бы несравненно выше, чем та, которой мы платим за экономическую инфляцию золотого.

Вышеопубликованный текст был представлен 5 января 1990 года на встрече группы «Соглашение поверх размежеваний» (учредительную декларацию группы и список ее основателей см. в «Русской мысли» от 1 сентября 1989). Собравшиеся постановили поддержать это выступление как диагноз ситуации и знаменательное предостережение.

Чтобы русский читатель не счел горькие упреки Яцека Тшнаделя по адресу лидеров недавней оппозиции голословными, приведем один характерный документ. Эта чисто служебная инструкция для печати явно не предназначалась, но в печать попала. Сначала ее опубликовал варшавский независимый ежеквартальный журнал «Критика» (возможно, и другие независимые издания — у нас нет сведений на этот счет), затем — парижская «Культура» (1990, №1/508-2/509), озаглавившая публикацию «И Богу свечка, и чёрту огарок...».

Директорам — главным редакторам радиостанций пр [Польского радио] и центров ртв [радио и телевидения]

Прошу принять к сведению информацию о том, что председатель комитета по делам ртв Анджей Дравич передал директорам центральных программ ртв следующие инструкции в связи с восьмой годовщиной введения военного положения. Просьба принять эти директивы во внимание в случае, если местные станции будут поднимать эту проблематику.

«Вступая в беседу с авторами, которые готовят отдельные передачи программ, прошу передать следующие мои рекомендации:

— Следует сохранить принцип равной дистанции по отношению к тогдашним двум сторонам конфликта, т.е. дать возможность представить соображения, которые говорили против решения о военном положении, как и послышки, которые этот шаг в какой-то мере оправдывали.

— По мере возможности, следует ограничить выдвижение формально-правовых вопросов, связанных с военным положением, сосредотачиваться же скорее на политическом и моральном аспекте.

— Не следует особо выдвигать вопрос о возможной угрозе советской интервенции как послышки введения военного положения: в случае, если этот вопрос будет подниматься, следует позаботиться о четкой постановке проблемы в контекст тогдашних реалий (брежневское руководство), чтобы не вызвать среди телезрителей антисоветских настроений.

— Передачи, касающиеся годовщины введения военного положения, должны быть лишены акцентов реваншизма, призывов к отмщению и т.д. — наоборот, они должны создать у зрителей ощущение моральной компенсации и политической сатисфакции.

— Следует остерегаться каких бы то ни было личных нападок, в особенности попыток дезавуировать личность президента ПНР.

— В таких возможных передачах, как, напр., представляющих воспоминания бывших интернированных либо показывающих подавление силой забастовок, следует сохранять особое благоразумие и умеренность, однако, с другой стороны, следует дать какого-то рода моральное удовлетворение репрессированным лицам».

Зам. директора генерального секретариата

Барбара Оконь

Варшава, 18.10.1989 исх.№20

Перевод с польского Н.Горбаневской

ТШНАДЕЛЬ Яцек — польский поэт, переводчик, литературовед, публицист. Родился в 1930 году в Олькуше, окончил Варшавский университет, доктор наук, в 1978-1983 гг. заведовал кафедрой польской литературы в парижской Сорбонне. Выпустил несколько сборников стихов, ряд литературоведческих книг. Из его книг, выпущенных в 80-е годы за границей, наиболее известен сборник интервью с писателями о временах сталинизма. Живет в Варшаве.

О Б Р А Щ Е Н И Е

Верховного Совета Литовской Республики к народам СССР

Литва восстановила свою государственность.

В 1940 году, в результате тайных договоренностей между СССР и Германией, Литовская Республика стала жертвой агрессии и аннексии со стороны СССР. 24 декабря 2-й Съезд народных депутатов СССР осудил это как политику ультиматумов и нарушения международных договоров. Не сомневаемся, что со стороны СССР будут сделаны дальнейшие шаги в направлении мира и справедливости.

В свою очередь, перестройка в Советском Союзе, борьба против командно-бюрократической системы означали для Литвы прежде всего борьбу за независимость, историческую справедливость. Это убедительно продемонстрировали результаты демократических выборов депутатов в Верховный Совет Литовской ССР. Избранный в ходе выборов Верховный Совет 11 марта 1990 года провозгласил восстановление независимой Литовской Республики.

Осуществления независимости мы добиваемся мирными парламентскими средствами, путем международных переговоров. Мы уверены в том, что не ущемляем интересов ни одной нации. Каждой национальности в Литве гарантируются равные права при реализации национально-культурной самобытности. Свобода, демократия и справедливость являются основой добрых отношений с соседями и взаимного благополучия. Историческим примером таких отношений является Мирный договор, заключенный между Литвой и Россией 12 июля 1920 года.

Пусть мир, справедливость и сотрудничество способствуют осуществлению идеи построения общеевропейского дома.

Верховный Совет Литовской Республики обращается к народам СССР с просьбой осознать наши добрые устремления, поддержать наши цели.

Председатель Верховного Совета Литовской Республики
В.ЛАНДСБЕРГИС

Вильнюс, 12 марта 1990 г.

ЗАПАД — ВОСТОК

Иосиф Бродский

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОЗВОНОЧНИКУ

Сколь бы чудовищным или, наоборот, бездарным день ни оказался, вы вытягиваетесь на постели и — больше вы не обезьяна, не человек, не птица, даже не рыба. Горизонтальность в природе — свойство скорее геологическое, связанное с отложениями: она посвящается позвоночнику и рассчитана на будущее. То же самое в общих чертах относится ко всякого рода путевым заметкам и воспоминаниям; сознание в них как бы опрокидывается навзничь и отказывается бороться, готовясь скорее ко сну, чем к сведению счетов с реальностью.

Записываю по памяти: путешествие в Бразилию. Никакое не путешествие, просто сел в самолет в девять вечера (полная бестолковщина в аэропорту: «Вариг» продал вдвое больше билетов на этот рейс, чем было мест; в результате, обычная железнодорожная паника, служащие (бразильцы) нерасторопны, безразличны; чувствуется государственность — национализированность — предприятия: госслужащие). Самолет битком; вопит младенец, спинка кресла не откидывается, всю ночь провел в вертикальном положении, несмотря на снотворное. Это при том, что только 48 часов назад прилетел из Англии. Духота и т.д. В довершение всего прочего, вместо девяти часов лету получилось 12, т.к. приземлились сначала в Сан-Пауло — под предлогом тумана в Рио — на деле же, потому что у половины пассажиров билеты были именно до Сан-Пауло.

От аэропорта до центра такси несется по правому (?) берегу этой самой Январской реки, заросшему портовыми кранами и заставленному океанскими судами, сухогрузами, танкерами и т.п. Кроме того, там и сям громоздятся серые (шаровые) громады бразильского ВМФ. (В одно прекрасное утро я вышел из гостиницы и увидел входящую в бухту цитату из Вертинского: «А когда придет

бразильский крейсер, капитан расскажет вам про гейзер...». Слева, стало быть, от шоссе пароходы, порт, справа, через каждые сто метров, группы шоколадного цвета подростков играют в футбол.

Говоря о котором, должен заметить, что удивляться успехам Бразилии в этом виде спорта совершенно не приходится, глядя на то, как здесь водят автомобиль. Что действительно странно при таком вождении, так это численность местного населения. Местный шофер — это помесь Пеле и камикадзе. Кроме того, первое, что бросается в глаза, это полное доминирование маленьких «фольксвагенов» («жуков»). Это, в сущности, единственная марка автомобилей, тут имеющаяся. Попадаются изредка «рено», «пежо» и «форды», но они в явном меньшинстве. Также телефоны — все системы Сименс (и Шукерт). Иными словами, немцы тут на коне, так или иначе. (Как сказал Франц Беккенбауэр: «Футбол — самая существенная из несущественных вещей».)

Нас поселили в гостинице «Глория», старомодном четырнадцатизэтажном сооружении с весьма диковинной системой лифтов, требующих постоянной пересадки из одного в другой. За неделю, проведенную в этой гостинице, я привык к ней как к некоей утробе — или внутренностям осьминога. В определенном смысле гостиница эта оказалась куда более занятой, чем мир вовне. Рио — вернее, та часть его, к-рую мне довелось увидеть, — весьма однообразный город, как в смысле застройки, так и планировки; и в смысле богатства, и в смысле нищеты. Двух-трехкилометровая полоса земли между океаном и скальным нагромождением вся заросла сооружениями а ля этот идиот Корбюзье. Девятнадцатый и восемнадцатый век уничтожены совершенно. В лучшем случае вы можете наткнуться на останки купеческого модерна конца века с его типичным сюрреализмом аркад, балконов, извивающихся лестниц, башенок, решеток и еще чорт знает чем. Но это — редкость. И редкость же маленькие четырех-трехэтажные гостиницы на задах в узких улицах за спиной этих оштукатуренных громад; улочки, карабкающиеся под углом минимум в 75 градусов на склоны холмов и кончающиеся вечнозеленым лесом, подлинными джунглями. В них, в этих улицах, в маленьких виллах, в полудоходных домах живет местное — главным образом, обслуживающее приезжих — население: нищее, немного отчаянное, но в общем не слишком возражающее против своей судьбы. Здесь ве-

чером вас через каждые десять метров приглашают по.баться, и, согласно утверждению зап. германского консула, проститутки в Рио денег не берут — или, во всяком случае, не рассчитывают на получение и бывают чрезвычайно удивлены, если клиент пожелает расплатиться.

Похоже на то, что Его Превосходительство был прав. Проверить не было возможности, ибо был, что называется, с утра до вечера занят делегаткой из Швеции, мастью и бездарностью в деле чрезвычайно напоминавшей К.Х., с той лишь разницей, что та не была ни хамкой, ни психопаткой (впрочем, я тоже был тогда лучше и моложе и, не представь меня К. тогда своему суженому и их злобствующему детеньшу, мог бы даже, как знать, эту бездарность преодолеть). На третий день моего пребывания в Рио и на второй этих шведских игр мы отправились на пляж в Копакабане, где у меня вытащили, пока я загорал, четыреста дубов, плюс мои любимые часы, подаренные мне Лиз Франк шесть лет назад в Массачузетсе. Кража была обставлена замечательно, и, как ко всему здесь, к делу была привлечена природа — в данном случае, в образе пегой овчарки, разгуливающей по пляжу и по наущению хозяина, пребывающего в отдалении, оттаскивающей в сторону портки путешественника. Путешественник, конечно же, не заподозрит четвероное: ну, крутится там собачка одна поблизости, и всё. Двуное же тем временем потрошит ваши портки, гуманно оставляя пару крузейро на автобус до гостиницы. Так что об экспериментах с местным населением не могло быть и речи, что бы там ни утверждал немецкий консул, угощая нас производящей впечатление жидкостью собственного изготовления, отличавшей всеми цветами радуги.

Пляжи в Рио, конечно же, потрясающие. Вообще, когда самолет начинает снижаться, вы видите, что почти все побережье Бразилии — один непрерывный пляж от экватора до Патагонии. С вершины Корковадо — скалы, доминирующей над городом и увенчанной двадцатиметровой статуей Христа (подаренной городу никем иным, как Муссолини), открывается вид на все три: Копакабана, Ипанاما, Леблон — и многие другие, лежащие к северу и к югу от города, и на бесконечные горные цепи, вдоль чьих подошв громоздятся белые бетонные джунгли этого города. В ясную погоду у вас впечатление, что все ваши самые восхититель-

ные грезы суть жалкое, бездарное крохоборство недоразвитого воображения. Боюсь, что пейзажа, равного здесь увиденному, не существует.

Поскольку я пробыл там всего неделю, все, что я говорю, не выходит, по определению, за рамки первого впечатления. Отметив сие, я могу только сказать, что Рио есть наиболее абстрактное (в смысле культуры, ассоциаций и проч.) место. Это город, где у вас не может быть воспоминаний, проживи вы в нем всю жизнь. Для выходца из Европы Рио есть воплощение биологической нейтральности. Ни один фасад, ни одна улочка, подворотня не вызовут у вас никаких аллюзий. Этот город — город двадцатого века, ничего викторианского, ничего даже колониального. За исключением, пожалуй, здания пассажирской пристани, похожей одновременно на Исаакиевский собор и на вашингтонский Капитолий. Благодаря этому безличному (коробки, коробки и коробки), имперсональному своему характеру, благодаря пляжам, адекватным в своих масштабах и щедрости, что ли, самому океану, благодаря интенсивности, густоте, разнообразию и совершенному несовпадению, несоответствию местной растительности всему тому, к чему европеец привык, Рио порождает ощущение полного бегства от действительности — как мы ее привыкли себе представлять. Всю эту неделю я чувствовал себя, как бывший нацист или Артюр Рембо: все позади — и все позволено.

Может быть даже, говорил я себе, вся европейская культура, с ее соборами, готикой, барокко, рококо, завитками, финтифлюшками, пилястрами, акантами и проч., есть всего лишь тоска обезьяны по утраченному навсегда лесу. Не показательно ли, что культура — как мы ее знаем — и расцвела-то именно в Средиземноморье, где растительность начинает меняться и как бы обрывается над морем перед полетом или бегством в свое подлинное отечество... Что до конгресса ПЕН-Клуба, это было мероприятие, отчаянное по своей скуке, бессодержательности и отсутствию какого бы то ни было отношения к литературе. Марио Варгас Льюса и, может быть, я были единственными писателями в зале. Сначала я просто решил игнорировать весь этот бред; но, когда вы встречаетесь каждое утро с делегатами (и делегатками — в деле гадкими делегатками) за завтраком, в холле, в коридоре и т.д., мало-помалу это начинает приобретать черты реальности. Под

конец я сражался как лев за создание отделения ПЕН-Клуба для вьетнамских писателей в изгнании. Меня даже разобрало, и слезы мешали говорить.

Под конец составилась октаэдр: Ульрих фон Тирн со своей женой, Фернандо Б. (португалец) с женой, Томас (швед) с дамой из Дании и с Самантхой (т.е. скандинавский треугольник в его случае) и я со своей шведкой. Плюс-минус два зап. немца, полупьяные, полусумасшедшие. В этой — или примерно в этой — компании мы слонялись из кабака в кабак, выпивали и закусывали. Каждый день, натываясь друг на друга за завтраком в кафетерии гостиницы или в холле, мы задавали друг другу один и тот же вопрос: «Что вы подельваете вечером?» — и в ответ раздавалось название того или иного ресторана или же название заведения, где отцы города собирались нас сегодня вечером развлекать с присущей им, отцам, торжественной глупостью, спичами и т.п. На открытие конгресса прибыл президент Бразилии генерал Фигурейдо, произнес три фразы, посидел в президиуме, похлопал Льосу по плечу и убыл в сопровождении огромной кавалькады телохранителей, полиции, офицеров, генералов, адмиралов и фотографов всех местных газет, снимавших его с интенсивностью людей, как бы убежденных, что объектив в состоянии не столько запечатлеть поверхность, сколько проникнуть внутрь великого человека. Занятно было наблюдать всю эту шваль, готовую переменить хозяина ежесекундно, встать под любое знамя в своих пиджаках, и галстуках, и белых рубашках, оттеняющих их напряженные шоколадные мордочки. Не люди, а какая-то помесь обезьяны и попугая. Плюс преклонение перед Европой и постоянные цитаты то из Гюго, то из Мальро с довольно приличным акцентом. Третий мир унаследовал всё, включая комплекс неполноценности Первого и Второго. «Когда ты улетаешь?» — спросил меня Ульрих. — Завтра, — ответил я. «Счастливец», — сказал он, ибо он оставался в Рио, куда прибыл вместе со своей женой — как бы спасти брак, что, впрочем, ему уже вполне, по моему, удалось. Так что он будет покамест торчать в Рио, ездить на пляж с местными преподавателями немецкой литературы, а по ночам, в гостинице, выскальзывать из постели и в одной рубашке стучаться в номер Самантхи. Ее комната как раз под его комнатой. 1161 и 1061. Вы можете обменять доллары на крузейро, но крузейро на доллары не обмениваются.

По окончании конгресса я предполагал остаться в Бразилии дней на десять и либо снять дешевый номер где-нибудь в районе Копакабаны, ходить на пляж, купаться и загорать, либо отправиться в Бахию и попытаться подняться вверх по Амазонке и оттуда в Куско, из Куско — в Лиму и назад, в Нью-Йорк. Но деньги были украдены, и, хотя я мог взять 500 дубов у «Американ экспресс», делать этого не стал. Мне интересен этот континент и эта страна в частности; но боюсь, что я видел уже на этом свете больше, чем осознал. Дело даже не в состоянии здоровья. В конце концов, это было бы даже занятно для русского автора дать дуба в джунглях. Но невежество мое относительно южной тематики столь глубоко, что даже самый трагический опыт вряд ли просветил бы меня хоть на иоту. Есть нечто отвратительное в этом скольжении по поверхности с фотоаппаратом в руках, без особенной цели. В девятнадцатом веке еще можно было быть Жюль Верном и Гумбольдтом, в двадцатом следует оставить флору и фауну на их собственное усмотрение. Во всяком случае я видел Южный Крест и стоял лицом к солнцу в полдень, имея запад справа и восток — слева. Что до нищеты фавел, то да простят мне все те, кто на прошение способен, она — нищета эта — находится в прямой пропорции к неповторимости местного пейзажа. На таком фоне (океана и гор) социальная драма воспринимается скорее как мелодрама не только ее зрителями, но и самими жертвами. Красота всегда немного обесмысливает действительность; здесь же она составляет ее — действительности — значительную часть.

Нервный человек не должен — да и не может — вести дневниковые записи. Конечно, хотелось бы удержать хоть что-нибудь из этих семи дней — хоть эти чудовищные по своим размерам шашлыки (чураско родизио), но мне уже на второй день хотелось назад, в Нью-Йорк. Конечно, Рио пошкарней Сочи, Лазурного Берега, Палм-Бич и Флориды, несмотря на плотную пелену выхлопных газов, еще более невыносимых при тамошней жаре. Но — и, быть может, это главное — сущность всех моих путешествий (их, так сказать, побочный эффект, переходящий в их сущность) состоит в возвращении сюда, на Мортон-стрит: во все более детальной разработке этого нового смысла, вкладываемого мною в «домой». Чем чаще возвращаешься, тем конкретней становится эта конура. И тем абстрактней моря и земли, в которых ты

странствуешь. Видимо, я никогда уже не вернусь на Пестеля, и Мортон-ст. — просто попытка избежать этого ощущения мира как улицы с односторонним движением.

После победы в битве за аннамитов в изгнании выяснилось, что у Самантхи день рождения — ей исполнилось то ли 35, то ли 45 лет, — Ульрих с женой, то же самое Фернандо Б., Самантха плюс Великий Переводчик (он-то, может быть, и был главный писатель среди всех нас, ибо на нем репутация всего этого континента и держится) отправились в ресторацию отмечать. Сильно одурев от выпитого, я принялся донимать Великого Переводчика насчет его живого товара в том смысле, что все они, как штатские в 19-м веке, обдирают нашего брата-европейца, плюс, конечно, еще и штатских, плюс, конечно, своя этнография. Что «Сто лет одиночества» — тот же Томас Вулф, к-рого — так уж мне не повезло — я как раз накануне «Ста лет» прочел, и это ощущение «переогромленности» тотчас было узнаваемо. Вел. Пер. мило и лениво отбивался, что да, дескать, неизбежная тоска по мировой культуре и что наш брат европеец тоже этим грешит, а евразиец, может, даже еще больше (тут я вспомнил милюковское: «Почему Евразия? Почему — учитывая географич. пропорцию, не Азеопа?»), что психоанализ под экватором еще не привился и поэтому они в состоянии на свой счет сильно фантазировать, в отличие от нынешних штатских людей например. Ульрих, зажатый между Самантхой и ничего не секущей благоверной, заметил, что во всем виноват модернизм, что после его разреженности читателя потянуло на травку, жвачку и разносолы эти латиноамериканские и что вообще одно дело Борхес, а другое вся эта жизнерадостная шпана. «И Кортазар», — говорю я. «Ага, Борхес и Кортазар», — говорит Ульрих и глазами показывает на Самантху, потому что он в шортах и она лезет в них к нему рукой слева, не видя, что благоверная норовит туда же справа. «Борхес и Кортазар», — повторяет он. Потом откуда ни возьмись появляются два пьяненьких немца, увлекают спасенную жену и Вел. Пер. с португалами в какие-то гости, а Самантха, Ульрих и я возвращаемся вдоль Копакабаны в «Глорию», в процессе чего они раздеваются донага и лезут в океан, где и исчезают на пёс знает сколько, а я сижу на пустом пляже, сторожу тряпье и долго икаю, и у меня ощущение, что все это уже со мной когда-то происходило.

Пьяный человек, особенно иностранец, особенно русский, особенно ночью, всегда немного беспокоится, найдет ли он дорогу в гостиницу, и от этого беспокойства постепенно трезвеет.

В моем номере в «Глории» — довольно шикарном по любым понятиям (как-никак я был почетным членом американской делегации) — висело огромное озероподобное зеркало, потемневшее и сильно зацветшее рыжеватой ряской. Оно не столько отражало, сколько поглощало происходящее в комнате, и я часто, особенно в сумерках, казался себе неким голым окунем, медленно в нем плавающим среди водорослей, то удаляясь, то приближаясь к поверхности. Это ощущение было сильнее реальности заседаний, разговоров с делегатами, интервью прессе, так что все происходившее происходило как бы на дне, на заднем плане, затянутое тиной. Может быть, дело было в стоявшей жаре, от которой это озеро было единственной подсознательной защитой, ибо эйр-кондишен в «Глории» не существовало. Так или иначе, спускаясь в зал заседаний или выходя в город, приходилось совершать усилие, как бы вручную наводя сознание, речь и зрение на резкость — также, впрочем, и слух. Так бывает со строчками, неотвязно тебя преследующими и к делу совершенно не относящимися — своими и чужими; чаще всего с чужими, с английскими даже чаще, чем с русскими, особенно с оденовскими. Строчки — водоросли, и ваша память — тот же окунь, между ними плутающий. С другой стороны, возможно, все объясняется бессознательным нарциссизмом, обретающим посредством распадающейся амальгамы оттенок отстранения, некий вневременной привкус, ибо смысл всякого отражения не столько в интересе к собственной персоне, сколько во взгляде на себя извне. Шведской моей вещи все это было довольно чуждо, и интерес ее к зеркалу был профессионально дамский и отчасти порнографический: вывернув шею, она разглядывала в нем самое себя в процессе, а не водоросли или того же окуня. Слева и справа от озера висели две цветных литографии, изображающие сбор манго полуодетыми негрессами и панораму Каира; ниже серел недействующий телевизор.

Среди делегатов было два совершенно замечательных сволочных экземпляра: пожилая стукачка из Болгарии и подонистый пожилой литературовед из ГДР. Она говорила по-английски, он по-немецки и по-французски, и ощущение от этого было (у меня,

во всяком случае) фантастическое: загрязнения цивилизации. Особенно мучительно было выслушивать всю эту отечественного производства ахинею по-английски: ибо инглиш как-то совершенно уже никак для этого не подходит. Кто знает, сто лет назад наверно то же самое испытывал и русский слушатель. Я не запомнил их имен: она — эдакая Роза Хлебб, майор запаса, серое платье, жилотдел, очки, на работе. Он был еще и получше, литературовед с допуском, более трепло, нежели сочинитель — в лучшем случае, что-нибудь «О стилистике раннего Иоганнеса Бехера» (того, к-рый сочинил этот сонет на день рождения Гуталина, начинающийся: «Сегодня утром я проснулся от ощущения, что тысяча соловьев запела одновременно...»). Тысяча нахтигалей). Когда я вылез со своим вяканьем в пользу аннамитов, эти двое зашикали, и Дойче Демократише запросил даже президиум, какую такую страну я представляю. Потом, апре уже самого голосования, канает, падло, ко мне и начинается что-то вроде «мы же не знаем их творчества, а вы читаете по-ихнему, всё же мы европейцы и прочая», на что я сказал что-то насчет того, что у них там в Индочайне народу в Н раз побольше, чем в Демократише и не-Демократише вместе взятых и, следовательно, есть все шансы, что имеет место быть эквивалент Анны Зегерс унд Стефана Цвейга. Но вообще это больше напоминает цыган на базаре, когда они подходят к тебе и, нарушая территориальный императив, ныряют прямо тебе в физию — что ты только бабе своей, да и то не всегда, позволяешь. Потому что на нормальном расстоянии кто ж подаст. Эти тоже за пуговицу берут, грассируют и смотрят в сторону сквозь итальянские (оправа) очки. Континентальная шушера от этого млеет, потому что — полемика, .уё-моё, цитата то ли из Фейербаха, то ли еще из какой-то идеалистической падлы, седой волос и полный балдѣж от собственного голоса и эрудиции.

Чучмекистан от этого тоже млеет, и даже пуще европейца. Там было навалом этого материала из Сенегала, Слоновой Кости и уж не помню, откуда еще. Лощеные такие шоколадные твари, в замечательной ткани, кенки от Балансиаги и проч., с опытом жизни в Париже, потому что какая же это жизнь для левобережной гошистки, если не было негра из Третьего мира, — и только это они и помнят, потому что собственные их дехкане, феллахи и бедуины им совершенно ни с какого боку. Ваш же, кричу, цвет-

ной брат страдает. Нет, отвечают, уже договорились с Дойче Демократише, и Леопольд Седар Сенгор тоже не велел. С другой стороны, если бы конгресс был не в Рио, а где-нибудь среди елочек и белочек, кто знает, может, и вели бы они себя по-иному. А тут уж больно все знакомо, пальмы да лианы, кричат попугаи. У белого человека вести себя нагло в других широтах основания как бы исторические, крестоносные, миссионерские, купеческие, имперские — динамические, одним словом. Эти же никогда экспансии никакой не продавались; так что и впрямь, может, лучше их куда-нибудь по снежку, нахальства поубавится, сострадание, может, проснется в Джамбулах этих необрезанных.

Противней всего бывало, когда от этого чего-нибудь разбалывалось, — и вообще, когда прихватывает там, где нет инглиша, весьма неуютно. Как говорил Оден, больше всего я боюсь, что окачурюсь в какой-нибудь гостинице, к большой растерянности и неудовольствию обслужив. персонала. Так это, полагаю, и произойдет, и бумаги останутся в диком беспорядке — но думать об этом не хочется, хотя надо. Не думаешь же не оттого, что неохота, а оттого что эта вещь — назовем ее небытие, хотя можно бы покороче, — не хочет, чтобы ты разглашал ее тайны, и сильно тебя собой пугает. Поэтому даже когда и думаешь — испугавшись, но от испуга оправившись, все равно не записываешь. Странное это дело, вообще говоря, потому что мозг из твоего союзника, чем он и должен быть во время бенца, превращается в пятую колонну и снижает твою и так уж не Бог весть какую сопротивляемость. Думаешь не о том, как из всего этого выбраться, но созерцаешь картины, сознанием живописуемые, каким макабром все это кончится. Я лежал на спине в «Глории», пялился в потолок, ждал действия таблетки и появления шведки, у которой только пляж и был на уме. Но своего я все-таки добился, и аннамитам моим все-таки секцию утвердили, а пре чего маленькая, крошечная вьетнамочка в слезах благодарила меня от имени всего ихнего народа, говоря, что если приеду в Австралию, откуда они ее вскладчину послали в Рио, то примут по-царски и угостят ушами от кенгуру. Ничего бразильского я так себе и не купил; только баночку талька, потому что стер, шатаюсь по городу, нежное место.

Лучше всего были ночные разговоры с Ульрихом в баре, где местный тапер с чувством извлекал из фоно «Компараситу», «Эль

Чокло» (что есть подлинное название «аргентинского танго»), но совершенно не волок «Колонел-буги». Причина: южный — другой — сентиментальный, хотя и не без жестокости, — темперамент: неспособность к холодному отрицанию. Во время одного из них — черт знает о чем, о Карле Краусе, по-моему, — моя шведская вещь, по имени Ulla, присоединилась к нам и через 10 минут, не поняв ни слова, совершенно взбешенная, начала пороть нечто такое, что чуть было ей не врезал. Что интересно во всем этом, что в человеке просыпается звереныш, дотоле спящий; в ней это был скунс, вонючий хорек по-нашему. И это чрезвычайно интересно — следить за пробуждением бестии в существе, к-рое только час назад шевелило бумагами и произносило напичканные латинизированными речениями спичи перед микрофоном, урби эт орби. Помню очаровательное, светло-палевое с темно-синим рисунком платье, ярко-красный халат поутру — и лютую ненависть животного, которое догадывается, что оно животное, в два часа ночи. Танго, шушукающиеся в полумраке парочки, сладкий шнапс и недоуменный взгляд Ульриха. Небось, сидел, подлец, и размышлял, к кому сейчас лучше отправиться: в спасенный уже брак — или к Самантхе, справедливо заторчавшей на образованном европейце.

По окончании всего мероприятия отцы города задали нечто с алкоголем и птифурами в Культурном центре, к-рый со всей своей авангардной архитектурой находится на расстоянии световых лет от Рио, и по дороге как туда, так и, тем более, обратно октаэдр начал понемногу менять свою конфигурацию с помощью М.С., проявившего себя подлинным этнографом и ополчившегося на переводчицу из местных. Потом начался разъезд. Шведская вещь отправлялась в страну серебра, и я не успел с ней попрощаться. Треугольник (Ульрих, его благоверная и С.) — в Бахию и дальше вверх по Амазонке, и оттуда — до Куско. Пьяненькие немцы — восвояси, а я, без башлей, хватаясь за сердце и с рваным пульсом, — по месту жительства. Португалец (таскавший нас на какое-то местное действо, выдаваемое им за чуть ли не «ву-дуу», а на деле оказавшееся нормальной языческой версией массового очищения в одном из рабочих — и кошмарных — кварталов: клочковатая растительность, монотонное пение идиотского какого-то хора — и всё в школьном зале, — литографии икон, теплая кока-кола, страшные язвенные собаки, и никак не поймать такси обратно) со

своей тощей, высокой и ревнивой бабой — на какой-то ему одному — ибо говорит на местном языке — ведомый полуостров, где творят чудеса в смысле восстановления потенции. Хотя любая страна — всего лишь продолжение пространства, есть в этих странах Третьего мира какое-то особое отчаяние, особая, своя безнадюга, и то, что у нас осуществляемо госбезопасностью, тут происходит в результате нищеты.

Еще там развлекал меня местный человек, югослав по рождению, воевавший то ли против немцев, то ли против итальянцев и хватавшийся за сердце ничуть не меньше моего. Оказалось, что читал чуть ли не всё, обещал раздобыть «Гермес-Бэби» с моим любимым шрифтом, кормил в «чураскерии» на пляже Леблон. Встречая такого сорта людей, всегда чувствую себя жуликом, ибо того, за что они меня держат, давно (с момента написания ими только что прочтенного) не существует. Существует затравленный психопат, старающийся никого не задеть — потому что самое главное есть литература, но умение никому не причинить «бо-бо»; но вместо этого я леплю что-то о Кантемире, Державине и иже, а они слушают, разинув варежки, точно на свете есть нечто еще, кроме отчаяния, неврастения и страха смерти. Как говорил Акутагава: «У меня нет никаких принципов; у меня (есть) только нервы». Любопытно: не то же ли чувствуют, особенно напиваясь, официальные посланцы русской культуры, волоча свои кости по разным там Мобадишо и берегам слоновой кости. Потому что везде — пыль, ржавая земля, куски неприбранного железа, недостроенные коробки и смуглые мордочки местного населения, для которого ты ничего не значишь так же, как и для своего. Иногда еще вдали синее море.

Как бы ни начинались путешествия, заканчиваются они всегда одинаково: своим углом, своей кроватью, упав в которую забываешь только что происшедшее. Вряд ли я окажусь когда-нибудь снова в этой стране и в этом полушарии, но, по крайней мере, кровать моя по возвращении еще более «моя», и уже одного этого достаточно для человека, который покупает мебель, а не получает ее по наследству, чтоб усмотреть смысл в самых бесцельных перемещениях.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Сергей К а л е д и н

ДВА ДОКУМЕНТА

ПЛЕНУМУ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Со времени снятия В.Н.Еременко в 1987 году, то есть в течение двух лет, головное издательство Союза писателей оставалось без директора.

В ноябре прошлого года трудовой коллектив «Советского писателя», в соответствии с Законом о госпредприятии, на конкурсной основе избрал директором издательства А.И.Стреляного и направил материалы выборов на утверждение секретариата СП СССР.

На партийном собрании Московской писательской организации первый секретарь правления СП В.В.Карпов так объяснил нерешительность секретариата:

«Закон о госпредприятии здесь не может быть применен, поскольку издательство это принадлежит не только его работникам, но и всем десяти тысячам писателей. Это относится и к коллективам принадлежащих СП СССР редакций журналов, где половина сотрудников — технический персонал» («Московский литератор», №48, 9.12.88).

Но постановлением Верховного Совета СССР установлено, что положения Закона о госпредприятии распространяются на предприятия, переведенные на полный хозрасчет и самофинансирование, что полностью отвечает статусу издательства «Советский писатель». Да и наивно было бы полагать, что для государственных издательств предусмотрен более демократический порядок формирования руководства, чем для издательств творческих союзов.

В отличие от главного редактора, для назначения административно-хозяйственного руководителя (директора) достаточно утверждения результатов выборов секретариатом правления СП.

Зачем же потребовалось до безобразия, на года затягивать проведение выборов и утверждение их результатов? Не попытка ли это обойти закон: создав тупиковую ситуацию, использовать безвыходное положение издательства и добиться согласия на удобную руководству кандидатуру, фактически восстановив милое сердцу назначенчество. Назначенным администратором легче командовать.

К чему приводит назначенчество, видно на примере того же В.Н.Еременко, которого чересчур оперативно назначили и чересчур долго снимали и который годами бодро внедрял самофинансирование (в буквальном смысле этого слова) под носом руководства СП. Правда, не совсем под носом: через улицу.

А надо ли ворошить анналы истории?

Надо! Надо потому, что эта и подобные ей истории еще не ушли в историю. Надо потому, что многие из участников этих историй ныне здравствуют и успешно — успешнее, чем хотелось бы, — трудятся на ниве руководства литературой.

Не так уж давно все это было.

Не так давно выяснилось, что один из членов СП десятки лет ходил в орденосцах, используя в мирных целях боевой орден убитого сержанта. Орден забрали, но трое собратьев по перу и Правлению, выступив в «ЛГ», грудью встали на защиту незадачливого коллеги-орденосца.

Не так давно миллионы телезрителей смотрели встречу с молодыми писателями, на которой первый секретарь правления СП, высказываясь о проведении коллективизации в тридцатых годах, заявил, что это мероприятие спасло страну от голода...

Остается надеяться, что Пленум, давая оценку беспрецедентной волоките при утверждении директора издательства «Советский писатель», осудит попытки возродить в Союзе писателей доперестроечный стиль руководства.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СОБРАНИИ «АПРЕЛЯ» 19.04.89.

Выступала на днях по телеку Татьяна Никитична Толстая. Ее спросили, не стыдно ли ей быть членом Союза писателей. Ответила:

— Стыдно. А что делать?

Вот и попытаюсь ответить на этот сакраментальный вопрос.

Кем-то — чуть ли не Ахматовой — Союз писателей был назван союзом членов Союза писателей. Пятьдесят лет существует вот такой Союз. Пережил и культ, и оттепель, и волонтаризм, и застой и черт-те что еще. Поддерживал все это. Поддерживает, как умеет, и перестройку. Все-таки опыт...

Немало пятен заляпало полувековую историю Союза. И не только белых пятен: и грязные были пятна, и красные тоже. Ведь это Союз писателей все пережил: Союз, а не писатели. И многим из них помог не пережить именно Союз.

Но все это — история. А сегодня?

Практика управления литературой и литераторами хорошо известна. О ней говорилось на прошлом собрании, и вряд ли стоит повторяться. Да и времени на это не хватит.

А вот о структуре напомним.

Трудно назвать государственное или общественное формирование с такой изошренной структурой, как Союз писателей. Даже обаятельные учредительницы приснопамятного Антифашистского комитета советских женщин позенели бы от зависти.

Итак — структура.

VIII съезд писателей избрал правление в составе 323 членов и ревизионную комиссию — 128 человек. Литфонд — особо. Правление правит писателями. Секретариат (64 члена) тоже чем-то правит, а секретариатом руководит бюро (8 членов) под руководством председателя правления и первого секретаря правления же. Такова верхушка 10-тысячного творческого союза. Вряд ли численность этой верхушки уступает численности ЦК ВЛКСМ. А ведь комсомольцев 38 миллионов: почти в 4000 раз больше, чем писателей.

Руководство органами Союза не менее обширно. Например, правление издательства «Советский писатель» утверждено в составе 101 человека. Только вот директора два года не могут подобрать: директор-то работать должен, а не только править.

Любит наш брат писатель командовать своими братьями-писателями. Понять можно. Творчество — дело хлопотное: та-

лант требуется, способности хотя бы. Орфография заедает, пунктуация... Командовать проще, выгоднее и уж, конечно, престижнее. Вот и получается, что многолетняя бюрократическая практика нынешнего руководства Союза вполне устраивает многих и многих мелких руководителей и мелких писателей. Руководство поддерживает их и надеется, что это взаимно. Бюрократизм опасен именно самовозникновением, самоутверждением и самовоспроизводством бюрократов.

Вот почему недостаточны косметические меры: перевыборы, обмен билетами, обличение недобросовестных функционеров... При всей неотложности этих полумер — коренных изменений они не вызовут.

Союз литераторов должен быть создан заново: административно-канцелярское учреждение необходимо заменить подлинно творческим содружеством, исполнительные органы которого будут служить писателям, а не командовать ими.

Возвращаясь к вопросу, с которого начал: «А что делать?» С чего начать?

Прежде всего — с проекта устава Союза. Опубликованный в «ЛГ» проект — продукт ведомственного вдохновения и как таковой требует не корректировки, а замены.

Предлагаю сегодня же, на этом собрании образовать редакционную комиссию по разработке проекта «Устава Союза литераторов СССР».

КАЛЕДИН Сергей родился в 1949 г. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор получивших широкую известность как в Советском Союзе, так и за рубежом, повестей «Смирненное кладбище», «Стройбат» и «Коридор». Живет в Москве.

ИСТОКИ

Юрий Загянский

ИСТОРИЯ ВО МГЛЕ

(Родион Малиновский — жертва собственной стратегии)

1. Пролог

Никогда я не мог бы подумать, что мне придется поставить под сомнение и четко опровергнуть элементарный, незыблемый в течение более 70 лет общеизвестный «факт» истории — «несомненное», всеми принятое и не оспариваемое предательство Родиона Малиновского, руководителя большевистской фракции социал-демократической партии в IV-й Государственной Думе. Просматривая заново биографии «отца народов», «нашей славы боевой и нашей юности полета», я был поставлен в силу интимного обстоятельства, столкнувшего этих людей: Р.Малиновского-«Портного»-«Икса» и И.Джугашвили-Сталина-Кобу-Василия, перед дилеммой: либо один, либо другой должен был быть предателем и лишь один из них. Энный арест Сталина был «намечен» на 23 ноября 1913 года и был произведен на открытом утреннике на Бирже Калашникова, куда он пошел, лишь спросив (по его собственным словам, и рассказав обо всем этом) о возможной опасности такого визита Малиновского. Несмотря на то, что будущего «отца народов» даже переодели в женское пальто, жандармы арестовали его у всех на виду (см. А.Е.Бадаев. Большевики в Государственной Думе. 1930). В наказание Сталин, который много раз уже бежал, был сослан в место, где были хорошо сконцентрированы ведущие деятели социал-демократии, включая Свердлова и Каменева. «Проницательному читателю», безусловно, также бросается в глаза нарочитость этого ареста, на глазах у всех, вдобавок притаких театральных «ухищрениях». Но смысл этой дешевки он легко поймет сам к концу моего сооб-

щения. Вдобавок я ему это еще раз напомню, дабы проверить его упущенную на 70 лет прозорливость. Исходя из анализа материалов процесса, я не только предлагаю версию о невинности Малиновского, но я ее *определенно* доказываю. В этом недлинном *сенсационном* сообщении я могу смело утверждать уже на основании Материалов Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства (7 томов), что Родион Малиновский предателем не был. На вопрос, был ли он агентом, отвечаю пока словами товарища министра внутренних дел, заведующего департаментом полиции Золотарева в адрес Малиновского: «Какой это агент? Он называется агентом, но в чем это проявляется?»

2. Стратегия Родиона Малиновского

Из общего анализа материалов выявляется следующая элегантная схема. Будучи неоднократно судимым ранее за кражи, Р.Малиновский был в руках полиции, хотя он, видимо, умным образом не был провокатором («Во всяком случае до марта месяца [1912] принципиально я не помню ни одной ликвидации, которая была бы совершена по его сведениям», — сказал Виссарионов, зав. особым отделом департамента полиции в 1908-1913 гг.). Но при выяснении возможности прохождения Малиновского в Думу, департаментом полиции было решено (с утверждением самого министра внутренних дел Макарова) закрыть глаза на судимости Малиновского. Однако «держа в руках» Малиновского и прикрепив его к самому департаменту полиции (по просьбе самого Малиновского), а не к Охране, ведавшей обычно агентами, высшие чины полиции сами стали заложниками спокойствия как Малиновского, так и других депутатов социал-демократов, так как заведомое введение агента в Государственную Думу, вдобавок в нарушение закона о запрещении выставления людей, совершивших уголовные преступления, могло обернуться в случае разоблачения большим политическим скандалом. Насколько я могу себе представить, вначале Малиновский старался резонно зарекомендовать себя, даже отказываясь от определенных речей, написанных социал-демократической партией, чтобы стать известным. При этом он был достаточно осторожен, чтобы не быть обвиненным как провокатор, даже при выполнении

фракцией определенных решений съезда. Однако впоследствии он прямо развернул широкую легальную пропаганду с трибуны Думы, уже держась независимо от полиции. Общеизвестный подъем рабочего движения с 1912 года обязан во многом лично ему. В этой ситуации министерство внутренних дел стало уже думать о том, как его удалить. И здесь появилась, видимо, проблема собирания провокационных материалов, которых ранее было явно недостаточно, против Малиновского, уже известного на всю страну яркого трибуна демократии, который держал полицию на собственном крючке. На собирание этих материалов ушло, видимо, более года.

Именно под давлением этих заведомо провокационных материалов Малиновский вынужден был покинуть Думу и уехать за границу, хотя о его странной причастности к полиции никто и не догадывался, что можно даже документально судить по личным показаниям весьма влиятельных людей различных убеждений: лидер большевиков Ленин, председатель Думы Родзянко, руководитель конкурирующей группы меньшевиков Чхеидзе, депутат-большевик Муранов. Боялся ли он убийства при возможном умышленном просачивании слухов о том, что он уже «провока-тор», с «доказательствами» (пойди, пойми эти стратегии в деталях), и при его экстремально-разрушительной магической активности в Думе, отдававшейся похоронным звоном на всю империю в тысячах экземпляров? Это убийство «а ля Распутин» могли бы, наверное, себе позволить экстремисты и с той, и с другой стороны в любой агентурно-запутанной манипуляции. Через год после ухода Малиновского вся большевистская фракция Думы была сослана в Сибирь. Глядя в целом, Малиновский неплохо «устроил» это дело. Он держал в своих руках полицию, защищая тем самым остальных членов Думы, свободно разъезжал по стране с пропагандистскими материалами, разговаривал с молодежью и рабочими, произносил легально распространяемые по всей стране, зажигательные, «чрезвычайно интересно созданные... очень умные речи» (Родзянко), открыто осуществлял связь на казенные деньги между Лениным, депутатами Думы и газетой «Правда», печатавшей в 40 000 экземплярах его яркие речи, и даже получал ежемесячно большие деньги от полиции «в награду» за все это.

3. Разрушение фундамента обвинения Родиона Малиновского

Малиновский был избран в Думу 16 сентября 1912 года. В это время непосредственно с ним вели беседы и за него отвечали С.Белецкий (директор департамента полиции до 30 января 1914) и С.Виссарионов (вице-директор), при товарище министра и шефе полиции И.Золотареве (1911 – 25 января 1913). Малиновский ушел из Думы в апреле 1914 года. В это время уже товарищем министра внутренних дел и шефом полиции был генерал Джунковский, назначенный 21 января 1913 г. Уход из Думы Малиновского Джунковский объясняет тем, что, узнав, что агент полиции, имевший вдобавок судимости и проведенный полицией в нарушение закона в Государственную Думу, *и есть тот* «представитель социал-демократии [который] говорит зажигательные речи в Думе», он «не то что испугался, а пришел в ужас» и *сразу* решил от него избавиться. А узнал он эту крамолу поздно (гораздо позже своего назначения на пост шефа полиции), так как Малиновского ему представляли кличкой и он не мог идентифицировать этого ужасного социал-демократа, читавшего такие «зажигательные речи в Думе».

Здесь хорошо виден психологический аспект поведения Джунковского. Он хочет представить себя чистым и невинным патриотом, возмущившимся присутствием в Думе провокатора (вдобавок бывшего уголовника, подстрекающего народ своими зажигательными речами), чтобы смягчить свое наказание. Но почва, на которую он пытается встать, очень зыбка в силу своего несовместимого расхождения с фактами. Даже его предыдущая фраза о том, с чего же, собственно, началось его возмущение, нечеткая. Разумеется, речь Джунковского изобилует словами «может», «я не помню», «насколько я припоминаю», «быть может, я ошибаюсь». Вдобавок Комиссия *прекрасным* образом знает из очень конкретных показаний Белецкого и Виссарионова (который особенно мучался комплексами вины за работавших с ним людей: «Когда я говорю о том или ином лице, я потом начинаю мучаться сознанием, действительно ли было так сказано и не сказал ли я что-нибудь неосторожно»), что Джунковский знал все детали этого дела, еще будучи генерал-губернатором Москвы, где Малиновский был выбран (какой редкий шанс для *полной* достоверности).

Имеется серия моментов в этом деле, когда Джунковский должен был уже все знать:

1. а) согласно Белецкому, в 1912 году «Золотарев принял Мартынова (приехавшего из Москвы. — Ю.З.), что нужно поставить вопрос в зависимости от Джунковского: если Джунковский согласится на проведение [в Думу], объясним ему, что представляет собой Малиновский» (полковник Мартынов — начальник Московского охранного отделения); б) далее Белецкий сказал: «Я докладываю вам, что потом заявил Джунковскому. *Вообще кампания не мною велась* (а Джунковским. — Ю.З.)», что подтверждается телеграммой из Москвы Белецкому от начальника охранного отделения Мартынова: «Дело предоставлено естественному ходу. Успех обеспечен». «Что значит успех обеспечен?» — спросил председатель. Белецкий: «Что генерал Джунковский *изъявил свое согласие* и что кандидатура Малиновского пройдет» (по всей видимости, в силу большой популярности яркого трибуна, ставшего быстро известным на всю страну).

2. Согласно Виссарионову, в 1912 году «по утверждению офицеров охранного отделения (т.е. того же Мартынова — см. выше. — Ю.З.) градоначальнику говорили».

3. Виссарионов сказал: «В марте 13-го (уже. — Ю.З.) я доложил о Малиновском тов. министра Джунковскому и у меня осталось впечатление, что генерал Джунковский знает о нем».

Категорически ясно, что если бы Малиновский был *провокатором* (естественно, работавшим, находясь на хорошем крючке у полиции, с адекватными доказательствами), он бы подчинился в тот же день приказанию шефа, и вопрос ухода Малиновского не имел бы места *для Джунковского*. Значит, Джунковский в течение более чем года изыскивал средства (безусловно, с согласия того же министра Маклакова), чтобы заставить неподчиняющегося (даже при высокой зарплате! вот что значит крючок вдобавок) ему трибуна демократии, поднимавшего рабочее движение, уйти. Безусловно, суду было бы интересно знать ответ на элементарный вопрос о том, что за странные меры, в течение более года, были предприняты Джунковским, чтобы избавиться от «зажигательных речей в Думе». К сожалению, такого вопроса задано не было, по всей видимости, из-за того, что Малиновский был председателем большевистской фракции Думы и было ис-

креннее желание, чтобы он все-таки «был» провокатором (в этот момент большевики готовили вооруженный переворот). Дело здесь даже доходило до трагикомедии, например, когда председатель комиссии было возмущен тем, что полиция не по закону тратила народные деньги (запугивая подсудимых! но бессознательно резюмируя оправдание Малиновского де-факто), глубоко тем самым сожалея, что Малиновский не был провокатором, так как иначе бы народные деньги не тратились бы «зря».

4. Развитие положений стратегии Малиновского

(1) — Здесь уместно привести слова Белецкого: «Партия может подтвердить, что были случаи, когда он отказывался [от выступлений]. В большинстве случаев содержание речей, особенно по бюджету, было известно». Можно видеть вместе с тем умную осторожность Малиновского в неважных уступках: «были случаи», «особенно по бюджету». (Белецкому же все время хотелось показать, что он не зря «тратил народные деньги» в этой трагикомедии с «агентом».)

(2) — Здесь также уместно привести слова Белецкого: «Я сознаю, что вся задача моего руководства заключалась в том, чтобы не дать возможности партии соединиться». Это прекрасным образом совпадало с решением большевистской партии на Пражской конференции (1912), хотя по совершенно другим причинам. Послушаем допрос лидера меньшевиков в Думе Чхеидзе:

Председатель: «К 12 году партия была уже разделена на фракции, между тем по-видимому у Вас не было вопроса о том, чтобы фракции в Государственной Думе работали вместе».

Чхеидзе: «Нет, такого вопроса абсолютно не было».

Председатель: «Как, собственно, произошел раскол?»

Чхеидзе: «Когда они приехали из Кракова (от Ленина. — Ю.З.), Малиновского несколько дней не было, и эту кампанию раскола провел Петровский. В 1913 году этот раскол произошел осенью... Петровский предъявил условия». (Хорошо видно, что Малиновский тут был ни при чем, даже в исполнении решений Ленина.)

(3) — Прослушаем снова заседание Комиссии. Идет допрос Виссарионова:

«Я лично Малиновскому всегда говорил, чтобы он устранился от какой бы то ни было работы, чтобы он ограничился ролью осведомителя... Я помню одно возвращение после свидания.. когда я говорил [Белецкому]: "Знаете, я не верю Малиновскому. Он и Вас подводит, и партию обманывает, потому ведь *он никакого руководства не признает*". Он далеко не производил впечатление, что целиком сообщает, что знает. Я не раз об этом говорил [Белецкому]. ...Когда Малиновский начал работать и стали поступать *первые* его сведения, они мне показались довольно интересными (подтверждая аргументы первого пункта стратегии Малиновского. — Ю.З.). Я думал, что по этим сведениям можно осуществить ту цель, ради которой агентура вообще существовала, так как можно оказать известное давление на фракцию или на ее отдельных членов, для того чтобы уменьшить ее воздействие на рабочие массы и этим предохранить существующий строй. Но когда я стал *читать его выступления в Думе* (в газетах. — Ю.З.), я пришел к заключению, что нельзя более продолжать работать с ним... Я его речей не видел совсем!.. А про себя я могу сказать, что никаких в этом отношении мер к *подавлению* [Малиновского], кроме представления докладов, не мог предпринимать». И далее: «Я помню, когда он резко выступил в Государственной Думе, на следующем свидании я обратил на это внимание бывшего директора Белецкого. К самому Малиновскому я относился с большим предубеждением. Я неоднократно говорил Золотареву и Белецкому, что от Малиновского надо как можно скорее отойти, потому что я считаю, он делает на два лагеря. С одной стороны, он должен был только рассказывать, что происходит в его организации, для того чтобы мы могли пресечь вовремя, если что-нибудь замышляется преступное; между тем, *выступая в Думе крайне резко, он этим нарушал доверие, которое к нему питали*».

Председатель: «Скажите, вы считаете, что деятельность Малиновского в общем была провокационной?»

Виссарионов: «*Я не знаю, к какому преступлению он кого-либо подстрекнул...* А затем все сведения, которые я лично от него получал, они, с моей точки зрения (может, я глубоко заблуждался в этом, может, он просто нас обманывал), носили характер недостаточно серьезный». Явно не думается, чтобы вице-началь-

ник полиции всея Руси заблуждался в этих сведениях, и генерал Джунковский его хорошо понял и поддержал.

И даже второй «главный обвинитель», председатель, невольно констатирует нонсенс в донесениях Малиновского: «Вы знали, что Ленин его звал за границу, с другой стороны, вы его туда посылали? С одной стороны, Ленин печатал отчеты бывшей там конференции, а с другой — Малиновский доносил Вам об этой конференции».

Удрученный этой «занозой», Виссарионов обращается в марте 1913 года к Джунковскому: «Когда был назначен товарищем министра Джунковский... я встревожился первым моментом и доложил обо всем *этом*. Но я знаю, что Малиновский продолжал еще некоторое время (? — более года. — Ю.З.) работать; Джунковский сказал: «Да, с ним надо кончать». (В другой день допроса в аналогичном описании Виссарионов сказал так о фразе Джунковского: «Да, с этим господином надо расстаться».) Явно не случайно повторяемое «Да» Джунковского лестно относится к аргументации Виссарионова, который пришел тоже к заключению, что нельзя более работать с Малиновским *по вышеизложенным*, и никаким другим, вдобавок противоречивым, причинам, придуманным Джунковским для суда.

(4) — И верный своему решению Джунковский сразу начал действовать. Известно, например, что уже в феврале 1913 года почти одновременно произошли аресты двух членов ЦК большевиков в Петербурге: Свердлова и Сталина, причем оба были совершены явно с *достаточно примитивной* целью «запачкать» Малиновского. Согласно Бадаеву, Свердлов скрывался у него. Вдруг однажды дворник стучится, описывает приметы Свердлова и спрашивает, не скрывается ли тот у него (согласно Процессу, полиция знала все о гостях большевиков Думы). В этом «спугивающем варианте» Свердлов «через дворы» перебирается к Малиновскому, от которого он идет к другому депутату, у которого *в тот же день* был арестован. Явно, чтобы тень не падала на хорошо оплачиваемого «агента-provokatora», полиция должна была арестовать Свердлова или без спугивания (а описание дворника, видимо, было дано с целью показать, что полиция еще не знала, где он скрывается), или после установления простой

слежки, через определенный период после его ухода от Малиновского, дабы вовлечь еще целый ряд свидетелей «новоселья» Свердлова. Заведомая «пачкотня» Малиновского высшими чинами полиции более чем очевидна. Более того, согласно Бадаеву, в те же дни был арестован Сталин, изъявивший «горячее» желание спросить Малиновского о своем перемещении. Он был арестован также без длительной последующей слежки (и даже без короткой), которая, например, вдобавок позволила бы узнать дополнительную информацию о явках великого вождя. Он был арестован сразу после «предательства» Малиновского, при всем народе («для истории Партии»). Интересно отметить, что, согласно Белецкому, «Малиновский был нам нужен как член ЦК, как *лицо, играющее крупную роль*», и он действительно выполнял роль второго человека после Ленина в то время. «В Петербурге [же] и в Москве была хорошо поставлена партийная агентура», и «вообще же партии с.-д. освещались агентами или розыскными органами достаточно хорошо» (Белецкий); так что полиция знала *все*. Черный юмор здесь небезынтересен.

Свердлов напрягал мозги, пытаясь разобраться в ребусе событий, чтобы выявить провокатора среди остальных членов комитета того же Петербурга в 1908-1909 гг. В действительности ребус был либо неразрешим, либо Свердлов должен был бы считать себя сумасшедшим: по документам, найденным после революции, агентами были все четверо! (Этим, видимо, объясняется самостоятельность поведения Малиновского.) Здесь легко прочитывается исполнение обещания генерала Джунковского: «Да, с этим господином надо расстаться». Роль товарища Сталина тут хорошо подтверждает его принадлежность к агентуре тайной полиции, и — последняя страница подробного историко-статистического анализа предателя Джугашвили Иосифа Виссарионовича, 1879 года рождения; рябого; с сильным акцентом; Василия; «негодного» к военной службе; N раз бежавшего; не пропустившего ни одного съезда за границей; женившегося после побега; единственного спокойно спавшего в Бакинской тюрьме при неожиданных расстрелах (в отличие от июня 1941 года); никогда не сидевшего долго в тюрьмах строгого режима, несмотря на многочисленные побеги, как другие; не имевшего, в отличие от других, ни одного сохранившегося документа *о розыске* в по-

лицейских архивах с 1904 года (который бы хранился как золото с планеты Марс и заучивался наизусть октябрятами)... Я полагаю, что одной из других мер по «вытаскиванию занозы», с угрозой распространения слухов, была состряпана т.н. помощь со стороны полиции трибуну Малиновскому, как в получении элементарных справок, так и в устранении конкурента с помощью ареста, о котором, судя по материалам Процесса, ни Малиновский, ни Виссарионов не знали, а Джунковский почему-то, видимо, не сознался.

(5) — Согласно письму Ленина Горькому 1913 года (Полн. собр. соч., т.68, с.140), Малиновский являлся наилучшим парнем в большевистской фракции Думы. Из допроса председателя Думы Родзянко можно сделать вывод, что он явно не догадывался до своего ухода из Думы о том, что Малиновский являлся агентом, и относился к нему с огромным уважением, несмотря на большое различие во взглядах. Согласно тем же материалам Чрезвычайной Комиссии, Чхеидзе, председатель фракции меньшевиков в Думе (бывший председатель всей фракции социал-демократов до разделения с большевиками, председателем фракции которых стал Малиновский) сказал: «Я скорее был склонен видеть в нем человека, которому я верил, который, мне казалось, искренне отстаивает известную позицию — *не для того, чтобы кого-нибудь подвести*». В 1916 году большевик, член Думы Муранов дал известную телеграмму, опровергающую принадлежность Малиновского к провокаторам.

5. Временный эпилог

Лишь сознавая свою правоту, в которой мы только что убедились, Малиновский решил приехать в Россию в 1918 году из Франции, где он оказался после немецкого плена, вступив добровольцем в русскую армию во Франции. (В 1905 году он был добровольцем в русско-японской войне.) Безусловно, он знал об аресте всех его бывших «опекунов» из полиции в феврале 1917 года. Получив, видимо, по этому случаю письмо Ленина с гарантиями о неприкосновенности, Малиновский был, тем не менее, арестован в Петрограде и в 1918 году расстрелян «за предательство».

Подытоживая, я думаю, что ловлю пронизательного читателя на мысли о том, как она странна, жизнь, если уже в течение 70 лет (а может, и до бесконечности) в таких ярких обстоятельствах все считали и считают Малиновского провокатором. Ведь алиби его так четко, а результаты столь эффективны.

Неопровержимым является тот факт, что Малиновский был членом специальной немногочисленной группы в большевистской партии (где, как, видимо, думал Малиновский, не было уже провокаторов), отвечавшей за удаление агентов-провокаторов и организацию побегов из ссылки, о чем явно не знала полиция, если судить из Материалов Чрезвычайной Комиссии или книги «Большевики. (Документы из истории большевизма с 1903 по 1916 бывшего московского охранного отделения)» (Москва, «За друга», 1918), и этот факт открывает широкое девственное поле деятельности для сегодняшних шерлок холмсов.

Представленный мною материал оказался уже более чем достаточным для доказательства невиновности яркого трибуна Родиона Малиновского, о котором пишется таким образом: «Малиновский был и останется в истории как один из самых крупных провокаторов и предателей» (Бадаев). Развитие представленного материала на основе конкретных речей и активности Малиновского в Думе и вне ее, источников материалов по последовавшим затем обвинениям Малиновского членами Думы и другими деятелями, событий и фактов его биографии и т.д. может представить уникальную и явно увлекательную страницу в истории человеческих отношений, материала об этой быстро восходившей, сиявшей и столь трагично угасшей звезде.

В заключение хочу выразить благодарность Библиотеке им. Тургенева за предоставленные материалы и печатание текста.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы не располагаем фактами, подтверждающими или опровергающими выдвигаемую автором гипотезу. Тем не менее, его точка зрения представляется нам весьма любопытной.

« Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л »

(Сорок восьмой год издания)

Книга 177 (336 стр.)

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЗА: И. МУРАВЬЕВА — Душа, плывущая в эфире. (Окончание); Н. ВАСИЛЕВСКАЯ — Первый год; Н. ТЕРЛЕЦКИЙ — Мост; К. УШАКОВ — Серп и молот (окончание); Н. УЛЬЯНОВ — Драма Гоголя; В. КРЕЙД — Известный текст Гумилева; Г. ГОРЧАКОВ — Атом души. Опыт исследования одного образа; И. БРОУДЕ — Ностальгия. Первая русская эмиграция.

СТИХИ: Н. ТЭФФИ, А. ПУШКИН, Л. МИЛЛЕР, В. ПЕРЕЛЕШИН, Е. ДУБНОВ, М. СЯДНЕВ, С. МАКОВСКИЙ, Н. РЕЗНИКОВА, Н. КОРОЛЕВА, И. БОЛЫЧЕВ, Р. ЛЕВИНЗОН.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Кн. А. Н. ОБОЛЕНСКАЯ — Воспоминания. Публикация кн. А. П. ОБОЛЕНСКОГО; С. МАКОВСКИЙ — Из писем И. Чиннову. Публикация М. МИЛЛЕР; М. РАЕВ — Малоизвестный эпизод Второй мировой войны. (Приложение: Песни советских военнопленных).

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Т. ПАХМУС — Сергей Шаршун и дадаизм. Советское кино эпохи гласности: И. РЯБАЯ — «Маленькая Вера»; М. ХАЗАНОВА — Новые времена советского документального кино.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ: Н. ПЕРВУШИН — О поэте Глебе Глинке; Памяти М. Гольдштейна.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: В. ГИНЗБУРГ — Об одной длинной жизни.

БИБЛИОГРАФИЯ: Р. РОББИНС-мл. — В. Оболенский. «Моя жизнь, мои современники»; ВЯЧ. ЗАВАЛИШИН — Зарубежный одноклассник Хлебникова; Игумен ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ) — Свящ. Павел Флоренский. «У водоразделов мысли»; И. МАРТЫНОВ — Р. Зернова. «Это было при нас»; С. ГОЛЛЕРБАХ — «Armenian Art»; С. ГОЛЛЕРБАХ — «The Life and Art of Yukhim Mikhailiv»; С. ГОЛЛЕРБАХ — «Kiki's Paris».

Подписная цена на 1990 год (за 4 книги)
для университетов и организаций — \$50.00
(пересылка в США — \$6.00, за границу — \$10.00).

Подписная цена в год за 4 книги для отдельных лиц — \$40.00
(пересылка в США — \$6.00, за границу — \$10.00)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

THE NEW REVIEW, 611 Broadway, Apt.842, New York, N.Y. 10012 USA

ИСКУССТВО

Александра Орлова

П.И.ЧАЙКОВСКИЙ — ЧИТАТЕЛЬ

(К 150-летию со дня рождения)

Трудно назвать другого композитора, в жизни которого чтение играло бы такую роль, как в жизни Петра Ильича Чайковского.

Сохранившаяся в клинском Доме-музее библиотека композитора свидетельствует о разносторонности и широте его интересов. Здесь хранятся собрания сочинений почти всех русских писателей XIX века, множество книг по истории, целый шкаф занимает иностранная литература.

Особенно увлекался Чайковский русской историей XVIII века. Он выписывал вышедшие тогда в России журналы: «Русский архив», «Исторический вестник», «Русская старина». Интересовали его и философские работы, хотя он утверждал, что воспринимает их с трудом. Но это не мешало ему трезво, критически оценивать различные учения и течения.

Французских и итальянских авторов, отчасти и немецких композитор читал в подлинниках, английских — в переводах. Но уже в зрелые годы выучил английский, чтобы читать Диккенса и Теккерея на их родном языке.

При этом Чайковский буквально «глотал» книги. «Я очень быстро читаю, но этот недостаток, одно из проявлений моей нервности, — писал он. — Я все делаю с лихорадочной поспешностью, как будто боясь, что отнимут занимающую меня книгу, ноты или бумагу, на которой пишу»¹⁾.

Чтение он предпочитает дружеским встречам и развлечениям. Характерно признание двадцатисемилетнего композитора: «На гуляньи вчера в Сокольниках не был, ибо предпочел прочесть "Дым", которому посвятил весь вечер, и не раскаивался» (V, 117; роман Тургенева был новинкой). «Книг у меня нема-

ло» (VII, 489) — таков лейтмотив его жизни, где бы он ни находился: у сестры в Каменке, за границей, в имении своего друга и покровительницы Н. Ф. фон Мекк, в различных домах Подмосковья, которые он снимал в последние годы.

О Чайковском-читателе можно написать отдельную книгу. Тема эта необъятна. Поэтому в предлагаемой статье я остановлюсь лишь на отношении композитора к художественной литературе, причем буду широко цитировать его высказывания, потому что мысли Чайковского, мало известные читателям, представляют исключительный интерес.

*

С писателями и их книгами у него были своеобразные отношения, словно с живыми людьми. Любопытно такое признание в письме к брату: «...за предложение прочитать "L'Homme qui rit" спасибо только в ироническом смысле. Разве ты не знаешь историю моих отношений с Victor Hugo? По крайней мере скажу [...], чем они кончились [...]. Однажды я принялся за "Les travailleurs de la mer". Читал, читал и все злился на его кривлянья и ломанья. Наконец, как-то ночью, после целого ряда бессмысленных кратких фраз, состоящих из восклицаний, антитез, недомолвок и т.п., я в бешенстве начал *харкать* и *плевать* на книгу, разорвал ее в клочки, топтал ногами и выбросил за окно. С тех пор я не могу видеть на обложке имя *Hugo*, а уж читать никакими калачами не заманишь» (IX, 201). И это произошло не с ребенком, а с сорокалетним человеком!

Превыше всего он ставил правду в искусстве, но не терпел натурализма. Отсюда — ненависть к Золя, столь же острая, как и к Гюго, но по другой причине. Гюго казался композитору фальшивым, его раздражала риторика, выпренность. В Золя же возмущал излишний, по мнению Чайковского, натурализм. «Золя, в сущности [...] фигляр в новейшем духе. Он мне противен, как бывают противны девицы, разыгрывающие из себя простых и естественных, будучи, в сущности, кокетками и ломачками» (IX, 201).

Увидев в Париже драму по роману Золя «Западня», Чайковский негодовал: «...пьеса эта вдвойне антихудожественна; во-

первых, потому, что она почерпнута из безобразного, хотя и даровитого романа, а во-вторых, дабы удовлетворить вкусу бульварной публики, роман искажен и к нему добавлен мелодраматический элемент [...] Zola давно уж мне стал противен», но после этой пьесы «он мне стал просто гадок, и отныне уж, конечно, ни единой минуты своей жизни я не посвящу на чтение его паршивых мерзостей» (VIII, 133).

Композитор отлично знал французскую литературу, причем, любя и ценя французов более старшего поколения (Мюссе, Жорж Занд и др.), признавался, что из современников ему мало кто нравится. Выделяет он лишь Флобера и Мопассана. Последнего открыл для себя сразу, как только появилось его имя в печати.

«Мне попалась книжка Maupassant, в котором первый рассказ "M-lle Fifie" я прочел с величайшим удовольствием. Я прочел еще два рассказа Maupassant и совершенно очарован этим писателем» (XII, 125. Это признание относится к 1883 году; рассказы Мопассана вышли в 1882 и 1883 гг.). В творениях Мопассана Чайковский почувствовал то, что было дорого ему, — художественную правду, глубокий психологизм.

Страстная увлеченность Чайковского чтением на протяжении всей жизни носила какой-то детский характер. Так непосредственно, так эмоционально воспринимается книга лишь в раннем возрасте. Это сказалось во всем. Вот он гостит в имении фон Мекк и знакомится с ее обширной библиотекой. «В шкафах [...] немало книг, от которых с трудом отрываюсь, когда уевшись на полу около шкафа, принимаюсь за пересматривание их. Между прочим я нашел превосходное издание Musset, одного из любимейших моих писателей. Перелистывая эту книгу, я увлекся драмой "André del Sarto" и так просидел на полу, пока не прочел всю пьесу» (VII, 368).

Читая «Посмертные записки Пиквикского клуба» Диккенса, Чайковский пишет младшим братьям: «...я смеюсь от всей души без всяких свидетелей, и иногда эта мысль, что никто не слышит, как я смеюсь, заставляет меня веселиться еще более. Советую вам прочитать эту вещь [...] нужно выбирать таких писателей, как Диккенс. У него много общего с Гоголем, — та же

непосредственность и неподдельность комизма, то же умение двумя малейшими чертами изобразить целый характер — хотя глубины гоголевской в нем нет» (V, 98. Высказывание относится ко времени, когда с другими романами Диккенса Чайковский еще не был знаком). Сам тончайший психолог и гуманист, он ценил в Диккенсе доброту, любовь к людям. Вот он читает «Крошку Доррит» — эту, по его словам, «архигениальную вещь» — и плачет от жалости к героям книги. Он плачет, кончая «Холодный дом», над трагической судьбой леди Дедлок.

Русская литература, которая всегда с исключительной остротой ставила нравственные проблемы, была особенно близка Чайковскому. И он гордился ее успехами, ее популярностью. В середине 80-х годов с удовольствием отмечает, что в Париже «на всех книжных *étalages* красуются переводы Толстого, Тургенева, Достоевского, Писемского, Гончарова. В газетах постоянно встречаешь восторженные статьи о том или другом из этих писателей» (XIII, 349).

Кумиром его был Толстой. «Я считаю Льва Толстого самым глубоким и сильным гением из всех когда-либо действовавших в области литературы, — писал Чайковский. — Обыкновенно, когда хотят показать меру гения в художнике, его с кем-нибудь сравнивают. Например, другой бы поклонник Толстого сказал, что он "равен Шекспиру" или что он "выше Пушкина". Но для меня Толстой вне всякого сравнения и так же одинок в своем недостижимом величии, как какой-нибудь Эверест или Давалагирий среди других вершин. Не берусь, да и не могу пускаться в объяснения, почему он мне кажется так высок и глубок; я скорее чувствую, чем *сознаю* эту удивительную силу. Но главная черта, или лучше, главная *нотка*, всегда звучащая в каждой странице Толстого, как бы ни было, по-видимому, незначительно ее содержание, это — *любовь*, сострадание к человеку *вообще* (не только к униженному и оскорбленному), какая-то жалость к его ничтожеству, к его бессилию, к скоротечности его жизни, к тщете его стремлений. Читаешь, положим, главу, где молодые люди в карты играют, ну что, кажется, вседневнее, пошлее этого? А между тем, *плачешь*??? И именно потому, что многое читается между строк и это *многое* удивительно, непостижимо действует на сердце и душу. Итак, Толстой для меня самый дорогой, самый глубо-

кий и великий художник [...]. В *художнике* безусловная правда не в банальном, протокольном смысле, а в высшем, открывающем нам какие-то неведомые горизонты, какие-то недостижимые сферы, куда только *музыка* способна проникать, а между писателями никто не заходил так далеко, как Толстой» (XIV, 74-75).

«У Толстого никогда не бывает злодеев; все его действующие лица ему одинаково милы и жалки, все их поступки суть результат их общей ограниченности, их наивного эгоизма, их беспомощности и ничтожности. Поэтому он никогда не карает своих героев за их злодеяния, как это делает Диккенс (тоже, впрочем, весьма мной любимый), да он никогда и не изображает абсолютных злодеев, а лишь людей слепотствующих. Гуманность его бесконечно выше и шире сентиментальной гуманности Диккенса и почти восходит до того воззрения на людскую злобу, которая выразилась словами Иисуса Христа "Не ведают бо, что творят"» (XV-а, 204-205).

В этих высказываниях о Толстом раскрываются художественные принципы самого Чайковского, которым он следовал на протяжении всей своей деятельности. Композитор — знаток человеческой души, глубоко раскрывший правдивые характеры, ощущал свою близость с великим писателем. Прочитав «Исповедь», которая ходила в рукописи, Чайковский пишет: «Она произвела на меня тем более сильное впечатление, что муки сомнения и трагического недоумения, через которые прошел Толстой и которые он так удивительно хорошо высказал в "Исповеди", и мне известны. Но у меня *просветление* пришло гораздо раньше, чем у Толстого, вероятно, потому, что голова моя проще устроена, чем у него, и еще постоянной потребности в *труде* я обязан тем, что страдал и мучился менее Толстого» (XII, 336).

Но Чайковский не принимал безоговорочно всего Толстого. Он резко критиковал «Власть тьмы» и общее направление позднего Толстого. Очень интересна такая запись из дневника Чайковского: «Когда читаешь автобиографии наших лучших людей или воспоминания о них, беспрестанно натыкаешься на чувствования, впечатления, вообще художественную чуткость, не раз самим собой испытанную и вполне понятную. Но есть один, который непонятен, недостижим и одинок в своем непостижимом величии. Это *Л.Н.Толстой*. Нередко я внутренне злюсь на него,

почти ненавижу. Зачем, думаю себе, человек этот, умеющий как никто и никогда не умел до него настраивать нашу душу на самый высокий и чудодейственно-благозвучный строй, писатель, коему даром досталась никому еще до него не дарованная свыше сила заставить нас, скудных умом, постигать самые непроходимые закоулки тайников нашего нравственного бытия, — зачем человек этот ударился в *учительство, в манию проповедничества и просветления* наших омраченных или ограниченных умов? Прежде, бывало, от изображенной им самой, казалось бы, простой, будничной сцены, получалось впечатление неизгладимое [...]. Теперь он комментирует тексты; заявляет исключительную монополию на понимание вопросов веры и *этики* (что-ли), но от всего его теперешнего писательства веет холодом, ощущаешь *страх* и смутно чувствуешь, что и он *человек*, т. е. существо в сфере вопросов о нашем назначении, о смысле Бытия, о Боге и религии, столь же безумно самонадеянное и вместе с тем столь же ничтожное, сколь и какое-нибудь эфемерное насекомое, являющееся в теплый июльский полдень и к вечеру уже кончившее свое существование. Прежний Толстой был полубог, теперешний — *жрец*. А ведь жрецы суть *учители по взятой на себя роли, а не в силу призвания*. И все-таки не решусь положить осуждение на его новую деятельность. Кто знает? Может быть, так и нужно, и я просто не способен понять и оценить как следует величайшего из всех художественных гениев, перешедшего от поприща романиста к проповедничеству²⁾. И в то же время, читая «Холстомера» и «Смерть Ивана Ильича», Чайковский пишет: «Более чем когда-либо я убежден, что величайший из всех когда-либо бывших писателей-художников, — есть *Л.Н.Толстой*. Его одного достаточно, чтобы русский человек не склонял стыдливо голову, когда перед ним высчитывают все великое, что дала человечеству *Европа*. И тут в моем убеждении о бесконечно великом, почти божественном значении Толстого, *патриотизм* не играет никакой роли» (Д, 211).

Еще в конце 1876 года Чайковский познакомился с Толстым, который сам захотел встретиться с композитором. Вот так Петр Ильич рассказывает об этом вскоре после того, как встреча состоялась.

«Нынешней зимой я имел несколько интересных разговоров с писателем гр. Л.Н.Толстым, которые раскрыли и разъяснили мне многое. Он убедил меня, что художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на *эффект*, тот, который насилуется свой талант, с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, тот не вполне художник, его труды не прочны, успех их эфемерен. Я совершенно уверовал в эту истину» (VI, 171).

А вот ретроспективный взгляд композитора на эти беседы.

«*Ни разу в жизни* я не сделал ни единого шага, чтобы сделать знакомство с тою или другою интересною личностью. А если это случалось само собою, по необходимости, то я всегда выносил только разочарование, тоску и утомление [...]. Граф Л.Н.Толстой выразил желание со мной познакомиться. Он очень интересуется музыкой. Я, конечно, сделал слабую попытку спрятаться от него, но это не удалось. Он приехал в консерваторию и сказал [Н.Г.] Рубинштейну, что не уедет, пока я не сойду и не познакомлюсь с ним [...]. Не было возможности отделаться от знакомства, которое по общим понятиям, лестно и приятно. Мы познакомились, причем, конечно, я сыграл роль очень польщенного и довольного, т.е. сказал, что очень рад, что благодарен, ну, словом, целую вереницу неизбежных, но лживых слов. "Я хочу с вами поближе сойтись, — сказал он, — мне хочется с вами толковать про музыку". И тут же, после первого рукопожатия, он изложил мне свои музыкальные взгляды. По его мнению, *Бетховен бездарен*. С этого началось. Итак, великий писатель, гениальный сердцевед, начал с того, что с тоном полнейшей уверенности сказал обидную для музыканта глупость! Что делать в подобных случаях! Спорить! Я и заспорил, но разве тут спор мог быть серьезен? Ведь, собственно говоря, я должен был прочесть ему нотацию. Может быть, другой так и сделал бы. Я же только подавлял в себе страдания и [...] притворялся серьезным и благодушным. Потом он несколько раз был у меня, и хотя из этого знакомства я вынес убеждение, что Толстой человек несколько парадоксальный, но прямой, добрый, по-своему даже чуткий к музыке, но все-таки знакомство его не доставило мне ничего, кроме тягости и мук, как и всякое знакомство» (VIII, 121-122).

И еще запись в Дневнике, столь характерная для Чайковского-человека: «Когда я познакомился с Л.Н.Толстым, меня охватил страх и чувство неловкости перед ним. Мне казалось, что этот величайший сердцевед одним взглядом проникнет во все тайники души моей. Перед ним, казалось мне, уже нельзя с успехом скрывать всю дрянь, имеющуюся на дне души, и выставлять лишь казовую сторону. Если он добр (а таким он *должен быть* и есть, конечно), думал я, то он деликатно, нежно, как врач, изучающий рану и знающий все наболевшие места, будет избегать задеваний и раздражения их, но тем самым и даст мне почувствовать, что для него ничего не скрыто; если он не особенно жалостлив, он прямо ткнет пальцем в центр боли. И того и другого я ужасно боялся. Но ни того, ни другого не было. Глубокий сердцевед в писаниях, оказался в своем обращении простой, цельной, искренней натурой, весьма мало обнаружившей того *всеведения*, коего я боялся. Он не избегал *задеваний*, но и не причинял намеренной боли. Видно было, что он совсем не видел во мне объекта для своих исследований, а просто ему хотелось поболтать о музыке, которой в то время он интересовался. Может быть, ни разу в жизни, однако ж, я не был так польщен и тронут в своем авторском самолюбии, как когда Л.Н.Толстой, слушая *Andante* моего Первого квартета и сидя рядом со мной, залился слезами» (Д, 211).

Совсем по-иному воспринимал Чайковский другого своего великого современника — Достоевского. Он вызывал у Чайковского тягостное чувство. Впервые читая «Братьев Карамазовых», композитор писал: «Нахожусь под сильным впечатлением [...] как всегда у Достоевского [в этом романе] являются на сцене какие-то странные сумасброды, какие-то болезненно-нервные фигуры, более напоминающие существа из области горячего бреда и сонных грез, чем настоящих людей. Как всегда, у него и в этой повести есть что-то щемящее, тоскливое, безнадежное, но как всегда, минутами являются почти гениальные откровения художественного анализа» (VIII, 116). И далее Чайковский говорит о потрясающем впечатлении, какое произвела на него сцена у старца Зосимы, к которому пришла женщина, потерявшая всех своих детей: «...все это меня и до сих пор невыразимо хватает за сердце» (VIII, 117).

Однако, перечитывая через несколько лет тот же роман, композитор признавался: «Читаю "Карамазовых" и жажду поскорей кончить. Достоевский гениальный, но антипатичный писатель. Чем больше читаю, тем больше он тяготит меня» (X, 202).

Быть может, такое отношение к творчеству Достоевского объясняется самой натурой Чайковского — человека до крайности нервного и потому не принимавшего проявлений болезненности в искусстве. Это была своего рода защитная реакция. Ведь дело тут не в эстетической неприязни, как, скажем, в случае с Золя, а в чем-то другом. Таковы же были и его музыкальные пристрастия: более других композиторов он любил не Бетховена, не Шопена, а Моцарта, произведения которого, по признанию самого Петра Ильича, вносили умиротворение в душу. Ему был ближе, чем Достоевский, иной тип писателя. Отсюда — любовь к Толстому и Чехову.

Произведения А.П. Чехова Чайковский оценил, как только познакомился с ними. О рассказах Антоши Чехонте отзывов не сохранилось. Возможно, композитор открыл для себя именно Антона Павловича Чехова. «Меня совершенно очаровал рассказ Чехова в "Новом времени". Не правда ли, большой талант?» — писал Чайковский о рассказе «Миряне» в 1887 году.

Это восхищение было обоюдным. «Чехов написал мне, что хочет *посвятить мне* свой новый сборник рассказов. Я был у него с благодарностью. Ужасно горжусь и радуюсь» (XV-а, 201). Сохранилось письмо Чехова к Чайковскому с просьбой принять посвящение сборника «Хмурые люди»: «...это посвящение [...] хотя немного удовлетворит тому чувству глубокого уважения, которое заставляет меня вспоминать о Вас ежедневно. Мысль посвятить Вам книжку крепко засела мне в голову в тот день, когда я, завтракая с Вами у Модеста Ильича, узнал от Вас, что Вы читали мои рассказы»³⁾.

Перед выходом сборника из печати Чехов писал Модесту Чайковскому: «Я готов день и ночь стоять почетным караулом у крыльца того дома, где живет Петр Ильич, — до такой степени я уважаю его. Если говорить о рангах, то в русском искусстве он занимает теперь второе место после Льва Толстого, который

давно уже сидит на первом. (Третье я отдаю Репину, а себе беру девяносто восьмое.)»⁴⁾

Прочитав посвященный ему сборник, Чайковский писал Чехову: «Ведь я настоящим образом не благодарил Вас за посвящение "Хмурых людей", коим страшно горжусь. Я все собирался написать Вам большое письмо, покушался даже объяснить, какие именно свойства Вашего очарования так обаятельно и пленительно на меня действуют. Но не хватало досуга, а главное — *пороху*. Очень трудно музыканту высказывать словами, что и как он чувствует по поводу того или другого художественного явления» (XVI-а, 250).

Они обменялись фотографиями. Посылая Чайковскому свою, Чехов написал: «Послал бы даже солнце, если бы оно принадлежало мне».

Писатель и композитор не раз встречались и даже готовились к совместной работе: Чехов собирался писать для Чайковского оперное либретто по повести Лермонтова «Бэла». К сожалению, замысел этот остался неосуществленным.

Узнав о кончине композитора, Чехов телеграфировал Модесту Ильичу: «Известие поразило меня. Страшная тоска. Я глубоко уважал и любил Петра Ильича, многим ему обязан. Со чувствую всей душой»⁵⁾.

Духовную близость двух великих современников ощущали не только они сами, но и окружающие. Не случайно и в истории русской художественной культуры всегда ставят рядом, подчеркивая их близость, Чайковского, Чехова и Левитана.

Читая все выходящие в России толстые журналы, Чайковский постоянно был в курсе современной русской литературы, и трудно назвать произведение, которого бы он не знал... Не о всех писателях сохранились прямые высказывания, иной раз только беглые упоминания, но из писем ясно, что он не пропускал ни одного сколько-нибудь значительного явления в области русской и западноевропейской литературы.

*

Широкий диапазон читательских интересов, начитанность и эрудиция Чайковского сказались и на выборе тем для музыкальных сочинений.

«Сегодня утром в вагоне я прочел Пятую песнь "Ада" [из «Божественной комедии» Данте] и возгорелся хотением написать симфоническую поэму на *Франческу*» (VI, 62). «Писал я ее с любовью, — вспоминал композитор, — и *любовь* вышла, кажется, порядочно» (VI, 80).

Шекспир особенно волновал творческое воображение Чайковского. Развернутых высказываний о великом английском драматурге у него нет. Но творческий отклик на трагедии Шекспира ярче всяких слов показывает, насколько глубоко понимал Чайковский Шекспира.

Всю жизнь композитор перечитывал его творения. Особенно привлекала его трагедия «Ромео и Джульетта». Его первое симфоническое произведение, создавшее ему мировую славу, — увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Впоследствии этот «старый, но вечно новый сюжет» (X, 231) манил его неоднократно. Чайковский несколько раз собирался писать оперу на сюжет шекспировской трагедии. Почему же все-таки не написал? Ответить на этот вопрос трудно. Может быть, он не решался соперничать с оперой Гуно, которую высоко ценил? В бумагах композитора после его смерти был обнаружен набросок дуэта Ромео и Джульетты. Надо думать — это фрагмент так и не осуществленного замысла.

Когда известный критик В.В.Стасов предложил Чайковскому создать симфоническую фантазию по мотивам «Бури» Шекспира и прислал свою программу, композитор пришел в восторг: «Сюжет "Бури" до того поэтичен, Ваш план требует такой музыкальной законченности и изящества фактуры, что я намерен сдерживать свою обычную нетерпеливость в сочинении и выжидать *благоприятных* минут» (V, 299). И такие минуты пришли. «Я не знаю большего удовольствия, как провести несколько времени в деревне в совершенном одиночестве. Прямо из Парижа [...] я поехал в Тамбовскую губернию к одному холостому приятелю. Случилось так, что ему как раз в это время нужно было съездить в Москву [...] я очутился совершенно один [...] не могу передать, до чего я блаженствовал эти две недели [...]. В эти две недели без всякого усилия, как будто движимый какой-то сверхъестественной силой, я написал начерно всю "Бурю"» (VII, 232).

Незадолго до создания «Евгения Онегина» Чайковский искал сюжет для оперы. В переписке со Стасовым шел разговор об «Отелло». Но и этот замысел не был осуществлен. Может быть, отпугнула сложность задачи — сомнения пробудил Стасов, полагавший, что сюжет «Отелло» не для Чайковского.

Одновременно с Пятой симфонией Чайковский написал оркестровую фантазию «Гамлет». Через несколько лет по просьбе своего приятеля, актера французского театра в Петербурге Люсьена Гитри, для его бенефиса композитор сочинил музыку к «Гамлету».

В Шекспире Чайковского привлекала художественная правда, которая была для композитора превыше всего. Это же сказалось и на восприятии другого великого английского писателя — Байрона.

Чрезвычайно интересное высказывание о Байроне относится к поре наивысшего расцвета композитора. Речь идет о поэме «Манфред», которая легла в основу программной симфонии Чайковского. Привожу его слова полностью, поскольку они свидетельствуют, насколько глубоко проникал он в самую суть литературного произведения.

«Мне кажется, что к Байрону вообще и к "Манфреду" в особенности нельзя прилагать современных художественных требований, т. е. верного и точного воспроизведения жизни будничной, явлений нам знакомых и испытанных, так или иначе освещенных талантом повествователя. *Манфред* не простой человек. В нем, как мне кажется, Байрон с удивительной силой и глубиной олицетворил всю трагичность борьбы нашего ничтожества с стремлением к познанию роковых вопросов бытия. Один английский критик говорит, что Манфред, родившись среди горной природы и проведший жизнь в одиночестве, в виду величественных вершин Швейцарии, сам похож на колоссальную горную вершину, господствующую над всем окружающим, *но одинокую и печальную в своем величии*. Вы совершенно правы, говоря, что всякий честный ремесленник полезнее в тесной сфере своей деятельности, чем этот *Эльбрус* среди людей, жизнь которого поглощена отчаяньем от сознания своего бессилия стать выше человеческого уровня и забыть преступное прошлое, — но ведь Байрон не хо-

тел *поучать* нас, как следует поступать раскаявшемуся греховоднику, чтобы примириться с совестью; задача его другая, та, на которую я намекал выше, и выполнена она гениально». И далее — о своей симфонии: «...по чувству справедливости я должен ограничить себя [...] ролью музыкального *истолкователя* или *иллюстратора* к гениальному художественному произведению» (XIII, 317-318).

Высоко ценил Чайковский немецкую поэзию. «Какая громадная фигура!» — говорил он о Гете. На стихи великого поэта (в русских переводах) он создал несколько романсов (самый известный из них — «Нет, только тот, кто знал»).

На стихи Шиллера «Ода к радости» по заданию своего учителя А.Г.Рубинштейна Чайковский написал кантату — дипломную работу к окончанию Петербургской консерватории. Через много лет трагедия Шиллера «Орлеанская дева» в переводе Жуковского послужила композитору основой для оперы на этот сюжет.

Ближе других был Чайковскому другой замечательный немецкий поэт — Генрих Гейне. На его стихи написано несколько романсов, в том числе один из шедевров Чайковского — «Хотел бы в единое слово». Композитор любил цитировать изречение любимого поэта: «Где кончаются слова, там начинается музыка».

Петр Ильич и сам много размышлял над связью музыки и поэзии. Сохранились интересные его высказывания на эту тему. «Я совершенно не согласен с Вами, — писал он Н.Ф. фон Мекк, — что музыка *не может передать всеобъемлющих свойств чувств любви*. Я думаю совсем наоборот, что *только одна музыка и может* это сделать [...]. Тут именно слов-то и не нужно [...]. Ведь и стихотворная форма, к которой прибегают поэты для выражения любви, уже есть узурпация сферы, принадлежащей безраздельно музыке. *Слова*, уложенные в форму стиха, уже перестали быть просто *словами*; они омузыкалились. Лучшим доказательством того, что стихи, пытающиеся выразить любовь, суть уже более музыка, чем слова, служит то, что подобные стихотворения (я укажу Вам на Фета, которого я очень люблю), будучи внимательно прочитаны как слова, а не как музыка, не имеют почти

никакого смысла. Между тем, смысл в них не только есть, но в них есть *глубокая мысль*, только не литературная, а музыкальная. Ваше замечание, что слова часто только портят музыку, низводят ее с недоступной высоты, верно совершенно. Я это всегда глубоко чувствовал, и от этого-то, может быть, мне больше удавались инструментальные сочинения, чем вокальные» (VII, 106).

Поразительно тонкие суждения о поэзии высказывал Чайковский в письмах к поэту К.Р. (великому князю Константину Константиновичу). Эти высказывания композитора настолько значительны, что привожу из них большие фрагменты.

«Я дилетант в деле версификации, — писал Чайковский, — многие вопросы меня интересуют, и никогда никто не мог мне вполне ясно и определенно ответить на них. Например, читая "Одиссею" Жуковского или его "Ундины", или "Илиаду" Гнедича, я страдаю от несносного однообразия русского гекзаметра, сравнительно с коим латинский (греческий язык мне незнаком), напротив, полон разнообразия, силы и красоты. Меня также чрезвычайно занимает вопрос, почему сравнительно с русским стихом немецкий не так упорно придерживается строгого последования стопы за стопой в том же ритме? Когда читаешь Гете, то удивляешься смелости его относительно стоп, цезур и т.д., доходящей до того, что мало привычному слуху иной стих представляется даже почти не стихом. А между тем, слух лишь удивлен при этом, но не оскорблен. Случись у русского стихотворца что-либо подобное [...] чувствуется нечто неприятное» (XIV, 440-441).

«В конце концов, конечно, я неправ, ибо такой изумительный мастер стиха, как Фет, оправдывает скрадывание цезуры. Из этого, вероятно, вытекает то заключение, что я отношусь к стихам, как музыкант и вижу нарушение ритмического закона там, где его [...] вовсе нет, а если есть, то оно извинительно. Я несколько не удивляюсь, что Ваше высочество писали прекрасные стихи, не быв знакомы с наукой версификации. То же самое мне говорили многие наши стихотворцы, например, Плещеев. Однако ж я думаю, что русская поэзия много бы выиграла, если бы талантливые поэты интересовались техникой своего дела. По-моему, русские стихи страдают некоторым однообразием. "*Четырехстопный ямб мне надоел*", — сказал Пушкин, но я прибавлю,

что он немножко надоел и читателям. Избирать новые размеры, выдумывать небывалые ритмические комбинации — ведь это должно быть очень интересно» (XIV, 453-454).

«Мне бы хотелось, чтобы почаще случались такие отступления от обычных стихотворческих приемов, как у Фета. Ведь русский язык, как справедливо заметил Тургенев [...] нечто бесконечно богатое, сильное и великое [...]. Мне, например, чрезвычайно нравятся силлабические стихи Кантемира [...]. А размер древних русских песен и былин? А размер "Слова о полку Игореве"? Разве не может стать того, что когда-нибудь у нас будут писать не только тоническим, не только силлабическим, но и древнерусским стихом?» (XIV, 513).

В рассуждениях Чайковского о специфике русского стихосложения поражает и эрудиция композитора, и чутье художника, позволившее ему предугадать пути развития отечественной поэзии!

Соображения Чайковского К.Р. сообщил Фету, и поэт в письме к великому князю отметил, что «русский стих способен на изумительные разнообразия, [и это] доказывает бессмертный Тютчев своим стихотворением

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней».

Слова Фета Константин Константинович процитировал в своем письме композитору. Чайковский ответил: «Во-первых, трогательно отношение Фета к Тютчеву, а во-вторых, пример из Тютчева [...] вполне разрешил мои недоразумения [...] остается желать, чтобы подобные случаи были не исключениями, а совершенно обыденным явлением», (XIV, 539).

В этом же письме Чайковский говорит о Фете: «...некоторые его стихотворения я ставлю наравне с самым высшим, что только есть в искусстве [...] ради удовольствия вспомнить эти стихи, выписываю их здесь: "На стог сена, ночью лунной"», — и композитор приводит все стихотворение, а затем добавляет: — «Не правда ли, стихотворение *гениально?*» (XIV, 540).

В другом письме к К.Р. Чайковский дает развернутую характеристику Фета:

«...считаю его поэтом безусловно гениальным, хотя есть в этой гениальности какая-то неполнота, неравновесие, причиняющее то странное явление, что Фет писал иногда совершенно слабые, непостижимо плохие вещи. Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой возможности сравнивать его с другими первоклассными нашими или иностранными поэтами, искать родства между ним и Пушкиным, или Лермонтовым, или Ал. Толстым, или Тютчевым (тоже большая поэтическая величина). Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии и смело делает шаг *в нашу область* (т.е. музыку). Поэтому часто Фет напоминает мне Бетховена, но никогда не Пушкина, Гете или Байрона, или Мюссе. Подобно Бетховену ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределами *слова*. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также его часто не понимают, а есть даже и такие господа, которые смеются над ним, утверждая, что стихотворения вроде: "Уноси мое сердце в звенящую даль" и т.д. есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности немзыкального, пожалуй, это и бессмыслица, но ведь недаром же Фет [...] вовсе не популярен, тогда как Некрасов с его ползающей по земле музой, идол огромного большинства читающей публики» (XIV, 513-514).

Стоит упомянуть, что свой первый романс семнадцатилетний Чайковский написал на стихи Фета. И в дальнейшем не раз обращался к его поэзии.

Что касается Некрасова, то свою нелюбовь к нему композитор объяснял тем, что «очень трудно найти в Некрасове текстов для музыки [...] я все-таки не могу отрицать его таланта. "Мороз красный нос" мне нравится. "Забытая деревня" — в своем роде *chef d'oeuvre*. Но во всем этом для музыки нет материала. А ведь это очень знаменательно. В сущности *стихи и музыка* так близки друг другу» (VIII, 198).

Превыше всего ценя в поэзии глубину чувств и музыкальность, Чайковский часто обращался к второстепенным поэтам, находя у них тексты для романсов. Так, он обратил внимание на

Даниила Ратгауза, стихи которого у последующих поколений вызывали ехидный смех. А Чайковский нашел в ранних стихотворениях этого поэта неопределимый источник для создания своего последнего вокального цикла (опус 73), где каждый романс — шедевр.

Не так ли часто случалось и с другими композиторами? Вспомним песни Шуберта на стихи второстепенного поэта В.Мюллера. Или слабые стихи Нестора Кукольника, ныне забытого, послужившие текстом для романсов Глинки. Да и весьма посредственная поэзия А.Голенищева-Кутузова была использована Мусоргским для песен и романсов!

Так и стихи малооригинального поэта К.Р. вызвали у Чайковского искреннюю симпатию, и шесть из них композитор положил на музыку.



Но был поэт, который в жизни и творчестве Чайковского сыграл особую роль. Пушкина он любил с детства... Однако на стихи его не написал ни одного романса, за исключением «Соловей мой, соловейко» (из «Песен западных славян»).

Казалось бы, объяснением такого феномена служат слова самого композитора о Пушкине, «который силой своего гениального таланта очень часто врывается в бесконечную область музыки [...]. Независимо от того, что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть *что-то*, проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть музыка» (VI, 146).

Почему же на стихи Фета, тоже стоящие на грани музыки, Чайковский мог писать романсы, а на пушкинские не решался? Это одна из творческих тайн, которую, быть может, он и сам не мог бы объяснить. Так или иначе, композитор не прикасался к священной для него лирике Пушкина.

Зато пушкинские сюжеты послужили для создания трех лучших опер Чайковского: «Евгений Онегин», «Мазепа» и «Пиковая дама». Он создал также симфоническую балладу «Воевода» (по Пушкину—Мицкевичу), пронизанную тончайшим лиризмом и глубоким драматизмом. Но — взыскательный художник! — он остался недоволен этим произведением и уничтожил партитуру

(к счастью, сохранились оркестровые голоса, и партитура восстановлена после смерти композитора).

Было время, когда Чайковский намеревался писать оперу «Капитанская дочка». Однако сюжет пушкинской повести требовал дарования иного типа. Дело не в масштабе таланта, а в характере его. Необходимость изобразить, показать пугачевский бунт отпугивала композитора. Композитор это почувствовал и отказался от своего намерения⁶⁾.

Чтобы яснее представить себе отношение Чайковского к Пушкину, интересно проследить за ходом его мыслей, рождавшихся в процессе работы над «пушкинскими» операми. Особенно много писал Чайковский о любимом поэте в связи с «Евгением Онегиным» — первой оперой на пушкинский сюжет.

Весной 1877 года тридцатисемилетний композитор тщетно искал подходящий сюжет для оперы. Ни на одном произведении из предлагаемых ему друзьями он остановиться не мог. Однажды в гостях у известной оперной певицы Е.А.Лавровской Чайковский вновь заговорил о поисках сюжета. «А что, если взять "Евгения Онегина"?» — сказала Лавровская. Композитор был поражен: это с детства любимое произведение просто не приходило ему в голову. В ту минуту он ничего не ответил, а вернувшись домой, всю ночь не спал и обдумывал сценарий оперы. Через несколько дней композитор договорился со своим приятелем Константином Шиловским, и тот засел за либретто.

«Я напишу прелестную оперу, совершенно подходящую к моему музыкальному характеру», — сообщал композитор одному из братьев (VI, 134).

«Опера эта будет, конечно, без сильного драматического движения, но зато будет интересна сторона бытовая, и притом сколько поэзии во всем этом! Одна сцена Татьяны с няней чего стоит?! Пусть моя опера будет несценична, пусть в ней мало действия, но я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку потому, что меня к ней тянет» (VI, 141). Сочинение этой оперы композитор и начал с письма Татьяны.

Очень интересны высказывания Чайковского в ходе полемики со своими друзьями — композитором С.И.Танеевым и Н.Ф.фон Мекк. Привожу некоторые из этих высказываний.

«...если, как Вы утверждаете, опера *есть действие*, а у меня в "Онегине" его нет, то я готов назвать "Онегина" не оперой, а чем хотите: сценами, сценическим представлением, поэмой, чем угодно. Мне захотелось написать музыкальную иллюстрацию к "Онегину"; при этом я неизбежно должен был прибегнуть к драматической форме [...]. Мне кажется, что все сценические неудобства выкупаются прелестью пушкинского стиха. Но и по этому поводу у меня является опасение. Я говорю про то святотатственное дерзновение, с которым я поневоле должен был ко многим стихам Пушкина прибавить или свои собственные, или же местами стихи Шиловского. Вот чего я боюсь, вот что меня смущает. Про музыку я Вам скажу, что если была когда-нибудь написана музыка с искренним увлечением, с любовью к сюжету и к действующим лицам оно, то это музыка к "Онегину". Я таял и трепетал от невыразимого наслаждения, когда писал ее. И если на слушателе будет отзываться хоть малейшая доля того, что я испытал, сочиняя эту оперу, то я буду очень доволен и большего мне не нужно. Пусть "Онегин" будет скучным представлением с тепло написанной музыкой — вот все, чего я желаю» (VII, 69). (Оперу «Евгений Онегин» композитор назвал лирическими сценами. Отсутствие же острого сюжета несколько не повлияло на любовь к ней публики. Еще при жизни Петра Ильича «Онегин» стал одной из самых популярных его опер.)

Через несколько лет, возвращаясь к той же теме, Чайковский продолжал спорить с Н.Ф. фон Мекк: «Вы говорите, что в "Евгении Онегине" мои музыкальные узоры лучше канвы. Я же скажу, что если моя музыка к "Евгению Онегину" имеет достоинства теплоты и поэтичности, то потому, что мое чувство было согрето прелестью сюжета. Вообще, мне кажется, что признавая за Пушкиным только красоту стиха, Вы несправедливы. Татьяна не только провинциальная барышня, влюбившаяся в столичного франта. Она полная чистой женственной красоты девичья душа, еще не тронутая прикосновением к действительной жизни; это мечтательная натура, ищущая смутного идеала и страстно гонящаяся за ним [...] ...стоило появиться лицу, по внешности отличающемуся от среды пошло провинциальной, она вообразила, что это идеал, и страсть охватила ее до самозабвения. Пушкин превосходно, гениально изобразил мощь этой девической люб-

ви, и я с самых ранних лет моих всегда бывал потрясен до глубины души глубокою поэтичностью Татьяны после появления Онегина. Итак, если я горел огнем вдохновения, когда писал сцену письма, то зажег этот огонь Пушкин, и откровенно Вам скажу, вовсе не из напускной скромности, а вполне сознательно, что если моя музыка заключает в себе хотя десятую долю той красоты, которая в самом сюжете, то я очень горжусь и доволен этим [...]. Разве не глубоко драматична и не трогательна смерть богато одаренного юноши из-за рокового столкновения с требованиями светского взгляда на *честь*? Разве нет драматического положения в том, что скучающий столичный лев, от *скуки*, от рокового стечения обстоятельств, отнимает жизнь у юноши, которого он, в сущности, любит! Все это, если хотите, очень просто, даже обыденно, но простота и обыденность не исключают ни поэзии, ни драмы» (XII, 246-247).

Последние слова Чайковского доказывают, что ему были близки эстетические принципы Пушкина. Отношение же композитора к героям «Евгения Онегина» свидетельствует, что Чайковский по-своему воспринимал их и что его понимание не всегда совпадало с авторским. Так, в образе Ленского совершенно исчезают нотки иронии, столь характерные для пушкинского романа; Онегина Чайковский считает светским львом — и только, в отличие от пушкинской трактовки. Но опера — не иллюстрация к произведению поэта, а самостоятельное творение другого художника, для которого пушкинский текст явился лишь мощным толчком.

Это особенно ощутимо в «Мазепе» и «Пиковой даме».

Вот что сам композитор рассказал об истории создания «Мазепы».

«К.Ю.Давыдов (директор Петербургской консерватории) прислал мне либретто "Мазепы", переделанное [...] из поэмы Пушкина "Полтава". Мне оно тогда мало понравилось, и хотя я пытался кое-какие сцены положить на музыку, но дело как-то не клеилось, я оставался холоден к сюжету, и, наконец, оставил думать о нем. В течение года я много раз собирался отыскать другой сюжет для оперы, но тщетно; а между тем хотелось приняться именно за оперу, и вот в один прекрасный день я перечел либрет-

то, перечел поэму Пушкина, был тронут некоторыми красивыми сценами и стихами и начал со сцены между Марией и Мазепой, которая без изменений перенесена из поэмы в либретто. Хотя я [...] ни разу не испытал того глубокого авторского наслаждения, которое мне причинил, например, "Евгений Онегин", когда я писал его; хотя вообще сочинение подвигается тихо и особенного влечения к своим действующим лицам я не имею, но пишу, потому что теперь уже начал, и притом сознаю, что кое-что мне все-таки удалось» (XI, 136).

Чайковский предупреждал, что Карла IX и Петра Великого в его опере на сцене не будет, так как они не имеют прямого отношения к любви Марии и Мазепы, к семейной трагедии Кочубеев. А для Чайковского, как всегда, сфера личная, лирическая — в опере главное⁷⁾. «Номер, который я считаю лучшим, — говорил он, — сцена Мазепы с Марией, благодаря чудным стихам Пушкина, будет, мне кажется, и на сцене производить впечатление» (XII, 227).

С «Пиковой дамой» было все не так, как с «Онегиным» и даже с «Мазепой». Поначалу Чайковский категорически отказывался писать оперу на сюжет пушкинской повести, предложенный композитору директором императорских театров И.А. Всеволожским. Последний увлекся этим сюжетом потому, что решил перенести действие в XVIII век, что открывало широкие возможности для роскошной обстановки. «Такой сюжет, как "*Пиковая дама*", меня не затрагивает, и я мог бы только кое-как написать», — утверждал Петр Ильич в 1888 году (XIV, 400).

Но в декабре 1889 года, после повторных уговоров директора и Модеста Ильича — автора либретто, чувствуя потребность в работе над новой оперой, Чайковский познакомился с либретто. И его первоначальное отношение к предлагаемой теме изменилось.

Нет смысла обсуждать вопрос, хорошо или дурно либретто Модеста Чайковского с художественной точки зрения. Можно согласиться, что стихи его очень слабые. Но либретто, написанное им, устраивало композитора прежде всего с драматургической стороны. Это была такая канва, по которой, пользуясь выражением самого Чайковского, он мог вдохновенно вышивать свои музыкальные узоры.

Повесть Пушкина и опера Чайковского — произведения совершенно разные. Дело не только в том, что сюжет сильно изменен. Петербургскую повесть великого поэта композитор перечитал по-своему. По ее мотивам он создал глубоко философское произведение, где ставятся совершенно иные проблемы, нежели у Пушкина. Опера создавалась в период между Пятой и Шестой симфониями Чайковского, в которых с такой силой звучит тема Жизни и Смерти, тема Рока, воплощена тоска человека по счастью и недостижимой светлой мечте. Не о власти денег, как в повести Пушкина, а именно об этих общечеловеческих и вечных вопросах размышляет композитор в своей «Пиковой даме», как размышлял и в симфонии «Манфред», вдохновленный Байроном.

Чайковский-читатель, преломляя в своем творчестве создания великих мастеров слова, проникал глубоко в суть их творений, но, будучи сам яркой индивидуальностью, воплощал в музыке нечто свое, кровное, пережитое. Читатель становился соавтором, и создания его, сохраняя связь с первоисточником, начинали жить самостоятельной жизнью.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) П.И. Чайковский. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Тт. V-XVII, Москва, 1959-1981; т. VII, 505. — В дальнейшем ссылка дается сразу после цитаты в тексте сокращенно: римскими цифрами обозначается том, арабскими — страница. Адресаты не указываются (за редкими исключениями, когда это необходимо по контексту), так как для предлагаемой темы важно, *не к кому* обращался Чайковский, а *что* он говорил.

2) Дневники П.И. Чайковского. Москва—Петроград, 1923, с.210. В дальнейшем сокращенно: Д.

3) А.П. Чехов. Собрание сочинений. Т. XI. Письма. Москва, 1956, с.385. Модест Ильич — брат композитора, драматург и либреттист.

4) Там же, с.422.

5) Цит. изд., т. XII, Москва, 1957, с.33.

6) Не имея склонности к сочинению народных сцен в духе Мусоргского, Чайковский, тем не менее, создал потрясающую

картину казни Кочубея и Искры (опера «Мазепа»). Причем надо отметить, что в ту пору «Хованщина» Мусоргского не была ему известна, он знал только «Бориса Годунова» и, вероятно, вокальные «народные картинки» покойного композитора.

7) Интересно отметить, что центральную в пушкинской поэме картину Полтавского боя композитор не показал на сцене, а создал симфонический антракт «Полтавский бой».

ПРОЩАНИЕ С ПОЭТОМ

Умер Давид Самойлов. Большой русский поэт, один из тех, кто вопреки времени и обстоятельствам на протяжении всей своей творческой жизни отстаивал честь отечественной литературы. По нашему глубокому убеждению, его поэзия навсегда войдет в золотой фонд российской поэзии.

Судьба Давида Самойлова типична для литературной плеяды его поколения: школа, студенческая скамья, фронт, где он был бойцом пулеметного расчета и полковым разведчиком и откуда вынес несколько ранений и боевых наград. И это о нем и о таких, как он, с мудрой горечью когда-то написал рано ушедший от нас Семен Гудзенко: «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем». Хотя Давид Самойлов дожил до семидесяти, он умер «от старых ран». И не только фронтовых. Его долгие годы замалчивали, пытались отодвинуть на периферию читательского внимания, лишить широкой аудитории.

Из-за этого ему, подобно многим большим мастерам: Пастернаку, Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой, Тарковскому и другим, – пришлось надолго уйти в переводы. Но благодаря этому отечественный читатель получил возможность познакомиться с лучшими образцами французской, польской, венгерской, чешской, словацкой, армянской, литовской и эстонской поэзии в его изумительной по приближению к подлиннику интерпретации.

В последнее десятилетие судьба, словно расплачиваясь с ним за все прежние испытания, одарила его наконец широким признанием: поэта принялись награждать и жаловать. Но он, ни ни иоту не изменяя себе, с честью прошел и через этот губительный для слабых душ искус. Тому свидетельством его последняя поэтическая книга «Горсть» — образец высокого и неувыдающего дарования.

Один за другим уходят «последние из могикиан» трагической эпохи нашей поэзии: Слуцкий, Мартынов, Тарковский. Теперь — Давид Самойлов. Но с нами, с читателем, с русской поэзией останется их бесценное слово, которое всегда будет отзываться в наших сердцах.

«КОНТИНЕНТ»

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Юрий И д а ш к и н

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

XX съезд КПСС возродил в СССР политическую жизнь, которая с начала тридцатых годов была прервана, трансформировавшись в аппаратные игры, имевшие, разумеется, политические цели, но к общепринятым формам политической жизни не принадлежавшие. Конечно, последствия долгих лет сталинщины не могли быть преодолены одним ударом хрущевского кулака, тем более что, как стало впоследствии известно, Хрущев вовсе и не стремился к замене сталинской модели феодального социализма, а намеревался лишь подремонтировать ее, устранив самые вопиющие политические нравы и инструменты системы. И хотя Хрущев выступил не столько против сталинщины, сколько против Сталина, уже довольно скоро стало ясно, что сталинщина без развенчанного Сталина существовать в прежнем виде уже не может. Но и политическая жизнь в ее обычных формах возродиться еще не может. Такие слова, как «программа», «платформа», «общественное движение», не могли не ассоциироваться с «фракцией», «оппозицией», которые автоматически вызывали обморочный испуг у одних и привычную жажду крови у других, составлявших огромное большинство.

И тогда — не впервые в нашей истории — политическая жизнь приняла латентные формы, вылившись в литературную борьбу шестидесятых годов, практически сведшуюся к полемике между журналами «Новый мир» и «Октябрь».

Было бы непростительной наивностью полагать, что обе редакции представляли собою в те годы некие политические монолиты, вокруг которых группировались только убежденные единомышленники. Так не бывает ни в политике, ни в литературе, тем более когда она выступает в роли предтечи или, если угодно, прообраза политических платформ. Смею утверждать, что некоторые наиболее левые авторы «Октября» тех лет были

значительно ближе к идеям «Нового мира», нежели «Октября», как и некоторые произведения, опубликованные «Новым миром», вполне могли бы появиться на страницах «Октября», но авторы просто не желали нести их в редакцию журнала, дабы не испортить свою репутацию.

Сказанное, однако, ни в коей мере не отменяет того факта, что «Новый мир» действительно выражал интересы и идеи обновления общества, решительного преодоления сталинщины как теоретической методологии и политической практики, а «Октябрь» был рупором тех, кого XX съезд потряс не глубиной разоблачений, а их неожиданностью, кто не смог или не захотел им поверить, чьи интересы и чаяния, перспективы и образ жизни оказались под угрозой. Но и тех также, кто органически не способен был в одночасье отказаться от искренних убеждений, не знавших альтернатив и ставших истовой верой. К числу последних, несомненно, принадлежал Всеволод Кочетов, который с 1961 года до своей кончины в ноябре 1973 года возглавлял редакцию «Октября».

Время от времени я читаю в газетах и журналах оценки деятельности «Октября» шестидесятых годов — «кочетовского», как его называют, а также суждения о личности В.А.Кочетова. Порою доводится прочесть и о себе: в 1963 году написал то-то, а в 1966 — то-то. Чаще всего публикации эти носят осуждающий, нередко клеймящий характер. Получаю я и письма. Некоторые читатели и почитатели кочетовского «Октября» утешают, подерживают, сетуют: «Вот и произошло то, против чего вы предостерегали! А тогда кое-кто сомневался в вашей правоте...» Не стану кривить душой: все, что читаю, переживаю глубоко и размышляю над прочитанным трудно и постоянно. Не скрою и того, что некоторые публикации ранят своей рассчитанной несправедливостью, а некоторые письма поддержки вызывают горечь и даже возмущение. Многие авторы, касаясь позиции «Октября» в дискуссиях с «Новым миром», характеризуют ее как защиту сталинизма со всеми его преступлениями. А многие из тех, кто и сегодня уверен в безоговорочной правоте тогдашнего «Октября», по сути выступают против коренной демократизации политической и общественной жизни, радикальной экономической ре-

формы. Мне сегодняшнему одинаково тяжки и обвинения одних, и восторги других.

На мой взгляд, было бы ошибкой полагать, что деятельность «Нового мира» и «Октября» в 60-е — начале 70-х годов отражала лишь личные общественно-политические позиции и эстетические воззрения А.Т.Твардовского и В.А.Кочетова. Но так же ошибочно было бы отрицать их решающую роль во всей деятельности редакций. Более того. Я полагаю, что, если бы не личный авторитет и популярность авторов «Теркина» и «Журбиных», не некоторые особенности их характеров, ни «Новому миру», ни «Октябрю» не удалось бы столь долго проводить в жизнь свои линии.

Предвижу возражения многих читателей, особенно молодых: дескать, можно ли сравнивать литературную известность и популярность Твардовского и Кочетова? Но, если полистать советские газеты и журналы за период с 1952 по 1972 годы, нетрудно убедиться, что, начиная с «Журбиных», каждый новый роман Кочетова, очень многие его статьи и выступления вызывали широчайший общественный резонанс, острейшую полемику. Да, многие читатели категорически не принимали позиции автора «Братьев Ершовых», «Секретаря обкома» и особенно — «Чего же ты хочешь?». Но страсти, кипевшие вокруг этих произведений, а также завидная судьба «Журбиных» и добавившего роману популярность кинофильма «Большая семья» сделали имя Кочетова всенародно известным. Повторяю, разные социальные слои и группы очень по-разному относились к творчеству и общественным позициям Кочетова. Особым признанием он пользовался у партийных и советских работников, военнослужащих, значительной части рабочих и сельской интеллигенции. Не принимала его творчество в основном инженерно-техническая и творческая интеллигенция. Но читали его все.

Это обстоятельство важно отметить не для того, чтобы запоздало возвышать авторитет писателя, но без учета сказанного просто невозможно понять многие обстоятельства общественно-литературного процесса тех лет. А предпринимаемые сегодня попытки доказать, что роман «Журбины» был отнесен к достижениям советской литературы исключительно из-за обществен-

ного положения его автора, искажают истину. При всей неизбежности переоценки многих литературных ценностей, при том, что читательское восприятие сегодняшнего дня базируется на совсем иных общественных и эстетических категориях, неплодотворность внеисторического подхода к искусству не вызывает сомнений.

Теперь о личности Кочетова. В некоторых публикациях последнего времени, резко осуждающих общественные позиции и редакторскую деятельность Кочетова, отмечаются его положительные человеческие качества: цельность личности, искренность убеждений, честность и порядочность в общественных и личных конфликтах, прямота и независимость суждений. В этом духе, повторю, высказываются и многие противники общественно-литературных взглядов Кочетова. Надо ли объяснять, как привлекали эти и другие положительные качества Кочетова людей, разделявших его взгляды или, по крайней мере, в чем-то с ним согласных.

Тут неизбежно возникает вопрос: но как же человек, наделенный или воспитавший в себе подобные ценные качества личности, мог занимать позиции, во многом противоположные потребностям общественного прогресса? Думаю, что это недоумение возникает только у тех, увы, весьма многочисленных сегодня людей, которые, захлестнутые потоком во многом неожиданной, ранящей, обладающей поистине взрывной эмоциональной силой информации, — спешат поскорее ответить на вопрос «Кто виноват?» вместо того, чтобы трудно искать ответ на более важный вопрос: «Почему?»

Но так же было в сравнительно недавние времена, которые могли стать, но на беду не стали победным революционным ружьем в истории нашего общества.

Я не историк и не социолог. Но, не претендуя на научность анализа, я все же решусь высказать суждения современника тех этапных событий, тем паче что эти мои суждения, как мне представляется, содержат ответ и на вопрос о мотивах деятельности Кочетова.

Сегодня лишь политическим слепцам или откровенным сталинистам приходит в голову оспаривать неоценимое историче-

ское значение XX съезда КПСС для судеб нашей страны и, видимо, всего человечества. Но шаг, предпринятый Н.С.Хрущевым вопреки сопротивлению Президиума ЦК, да и практически всего бюрократического слоя общества, уже в первые послесъездовские годы получил крайне противоречивое и, я сказал бы, «тормозящее» продолжение. Действительно: сегодня Хрущев публично заявлял, что если бы был лауреатом Сталинской премии, то с гордостью носил бы на груди лауреатскую медаль с профилем Сталина, а назавтра в официальном выступлении с наименьшей экспрессией восклицал, имея в виду Сталина: «Черного кобеля не отмоешь добела». Личный темперамент Хрущева, толкнувший его на утверждение о полной некомпетентности Сталина в военных делах, доходившей до рассмотрения линии фронта по глобусу, не раз сказывался и в дальнейшем, питая не столько широкое возмущение умершим диктатором, сколько недоверие ко многим разоблачениям, переходящее в глухое раздражение к их инициатору, который все неуклоннее терял свою первоначальную популярность (как у правых, так и у левых).

Разумеется, все это объяснялось не только и не столько личными недостатками Хрущева, сколько слишком глубокой, нерасторжимой его связью со сталинским режимом, за многие преступления которого он нес и личную ответственность. Если говорить обобщенно, Хрущев фактически подменил разоблачение культа личности Сталина как определенной тоталитарной модели общественно-государственного устройства осуждением Сталина и нескольких его близких соратников за преступления, которые трактовались по сути лишь как их личная вина. Совершенно очевидно, что общество, хотя и потрясенное фактами, обнародованными на XX и XXII съездах, но в известной мере убагодворенное рядом позитивных перемен и в духовной, и в материальной сферах жизни, в значительной своей части посчитало вопрос исчерпанным: многие невинные вернулись к семьям, другим вернули честные имена, а их семьям — относительно равные возможности для нормальной жизни, тело Сталина убрали из мавзолея, нескольких его самых близких соратников исключили из партии, Берию и его приспешников казнили, на прилавках появилось немало товаров и продуктов. Если же добавить к этому стремительное падение популярности Хрущева, проводивше-

го все более импульсивную политику на фоне все более широко насаждаемого культа собственной личности, нетрудно понять, что процесс, начатый XX съездом, быстро захлебнулся как в результате умелого сопротивления аппаратных сил, так и по вине самого Хрущева.

Но какое отношение все это имеет к Кочетову и борьбе «Октября» с «Новым миром»? Думаю, самое прямое. Приведу несколько цитат.

«А как сделать, чтобы на те должности, с которых командуют, попадали бы только достойные люди, а, скажем, не такие, как наш редактор, для которого важно одно: топают ли его сотрудники в редакционных коридорах или ходят на цыпочках, "соблюдают" или "не соблюдают", трепещут или не трепещут, а что и как они делают, как работают, куда устремлены — плевать. А их же таких, по его образу и подобию, ведь немало в начальстве, таких, которые любят ходящих на цыпочках, которые обожают лезть, подхалимство и своими личными врагами считают тех, кто говорит им в глаза правду, кто не лебезит перед ними, сохраняет свое человеческое достоинство. С теми, которые не гнут шею, которые говорят правду, наверно, общаться труднее, ладить с такими надо уметь. Но с ними же и дело пойдет по-настоящему. Потому что они не служаки, не исполнители, а творцы — маленькие ли, большие, но на своих местах они, безусловно, творцы. А те, у которых шея резиновая, которые каждое словцо начальника встречают радостными улыбками и бурными аплодисментами, — они если что и создадут, то лишь кумира из своего начальника, увы, очень часто посредственного, ординарного».

Да, вопросы поставлены верно, опасения вполне обоснованы, все мы ныне этим озабочены. Но приведенная цитата взята не из статьи, опубликованной после апрельского 1985 года пленума ЦК КПСС. Написано это было в 1964 году человеком, который поздней осенью 1941 года, будчи фронтовым корреспондентом «Ленинградской правды», в докладной записке на имя ответственного редактора писал:

«Коллектив редакции ... должен сделать для себя выводы. Рассказывая о боевых действиях, мы печатаем преимущественно "боевые эпизоды". Все они на один лад. В каждом "фашисты трусливо бегут" и дело кончается их разгромом. Полагаем, что боль-

шинство людей даже не читают эти материалы, а кто читает — не верит, хотя сами эти факты и не выдуманы. Весь народ прежде всего смотрит сообщения Советского Информбюро. Он видит, каково положение на фронтах, и теряет уважение к нам из-за того, что мы не говорим ему всей правды. Не убаюкивать нужно народ, а открыто и мужественно говорить ему правду, как бы тяжела она ни была... Надо помнить, что мы сейчас фронтовая, а не гражданская газета и что вопрос стоит о нашей жизни и смерти. А мы часто делаем секреты из таких вещей, которые отлично известны не только противнику, но и всему населению».

Был в этой докладной и такой пункт:

«О роли политотделов. В политотделе армии, в политотделах дивизий множество столов. За каждым — человек со знаками различия не ниже старшего политрука (тогда офицерское звание. — Ю.И.). И все что-то пишут, пишут, непрерывно пишут. Нужно покончить с этим канцеляризмом, заставить политаппарат заняться живым делом — прежде всего бытом бойцов. Той же доставкой горячей пищи. Борьбой со вшивостью. Ведь многие бойцы по месяцу и больше не были в бане. Обстоятельства не позволяют отводить части (55-й армии Ленинградского фронта. — Ю.И.) на отдых — надо организовать санобработку людей. Все эти вопросы — кровное дело политработников».

Поскольку выше была приведена цитата из написанного в 1964 году, всякий многоопытный читатель поймет, что автор был реабилитирован после XX съезда КПСС... Но он не был осужден, а «только» исключен из партии и уволен из редакции, оставшись в блокадную зиму без продовольственных карточек... Когда одного из секретарей Ленинградского горкома партии, отвечавшего за пропаганду и агитацию, попросили помочь трудоустроить журналиста, решение об исключении которого из партии, кстати, не было утверждено райкомом, он ответил: «Пусть походит...» В блокадном зимнем Ленинграде — без продовольственных карточек и зарплаты... Автор обеих цитат — Всеволод Кочетов.

Когда историю своего исключения из партии и изгнания из редакции Кочетов рассказал в своих фронтовых записях, опубликованных сначала в «Октябре», а затем вышедших в 1967 году от-

дельным изданием, тогдашний редактор «Ленинградской правды» и тогдашний секретарь горкома обратились в ЦК КПСС с жалобой, обвиняя Кочетова в клевете. Оба они в то время занимали весьма ответственные посты. Я узнал об этом случайно: в тот момент, когда Кочетову позвонил по этому поводу сотрудник аппарата ЦК, я находился в кабинете главного редактора «Октября». «Никаких извинений и тем более опровержений с моей стороны не будет, поскольку написанное мною — правда, легко, кстати, проверяемая. Прошу назначить партийное расследование всех изложенных мною фактов, но предупредите жалобщиков, что в этом случае я поставлю вопрос об их партийной ответственности за допущенный в то время произвол. По своей инициативе я этого делать не стал бы, но если они хотят "восстановления справедливости", что ж», — сказал при мне Кочетов по «вертушке» (телефон правительственной связи) и добавил: «Буду ждать». Насколько мне известно, жалобщики хода делу не дали.

Почему я счел необходимым привести эти факты? Разве они меняют объективный смысл романов «Братья Ершовы», «Чего же ты хочешь?», всей деятельности их автора на посту редактора «Литературной газеты», а позднее «Октября»? Думаю, что объективного смысла не меняют. Но никакие деяния (а тексты книг — тоже деяния) не могут получить истинную оценку без учета личности человека, их совершившего, мотивов его деятельности, которые могут в очень разной мере соотноситься с ее результатами, наконец, без учета обстоятельств эпохи, времени, кстати говоря, совершенно не одинаково воспринимаемых и совершенно не одинаково воздействующих на разных людей.

Позволю себе еще одно, на мой взгляд, необходимое отступление. Размышляя о сложных, исполненных острейших противоречий, беззаветного героизма и неслыханного трагизма сталинских годах нашей истории, давая оценку тем или иным деятелям, событиям, поступкам, мы сегодня нередко становимся на интеллектуально более легкий, а эмоционально более притягательный путь. Если сегодня многим из нас что-то представляется до самоочевидности ясным, то мы сознательно или бессознательно отказываемся понимать, как это могло быть неясным или даже не вполне ясным другим... Более того. Некоторым сегодня ка-

жется, что если при жизни Сталина их что-то настораживало, даже возмущало, то это означает, что им уже тогда было дано прозреть истину о роли Сталина и всего созданного им политического механизма. Увы, это всего лишь аберрация. А хрущевское десятилетие!.. Как по-разному и как искаженно толкуется оно сегодня даже людьми, стоящими в принципе на одинаковых позициях по главным политическим вопросам... Ну, а застойный период, как теперь выясняется, дал нам столько героев «сопротивления», столько рыцарей без страха и упрека, храбро сражавшихся за высокие идеалы, что только диву даешься, как могли Брежнев и Суслов так долго продержаться у власти. Ни в коем случае не умаляю мужества и благородства незабвенного А.Д.Сахарова, смелости, стойкости и упорства А.Солженицына и генерала Григоренко, Г.Владимова, М.Ростроповича, В.Буковского, адвоката Б.Золотухина, но никто из них и словом не обмолвился о своих заслугах в борьбе против мракобесия и беззаконий. Свои «подвиги», в основном совершенные шепотом, теперь во весь голос воспевают совсем другие. Недавно один актер очень подробно изложил историю действительно подвижнической деятельности театра на Таганке. Но вот что изумляет: среди гонений, обрушившихся на сподвижников Ю.П.Любимова, автор не раз поминает... скудость полученных почетных званий, наград, зарубежных гастрольных поездок! Да, не хлебом единым... Да, слаб человек... Но по какой же логике было ожидать поощрений от тех, против кого боролись? И как выглядят намеки на то, что «держались» во многом благодаря неофициальным связям и «выходам» на «верха».

Не будем лукавить: это, видимо, правда. Немало мы слышаны о том, как поставленный над законом и вне его механизм власти использовался преимущественно для покровительства преступникам, но в отдельных случаях — и для поддержки талантов. Да что там... Иные из них были так изобильно обласканы и морально и материально, что это с лихвой компенсировало 3-4 тяжких испуга, которые им довелось пережить за двадцать лет. Но вот вопрос: где кончается тактика и начинается откровенная беспринципность, обеспечиваяющая свой индивидуальный и вполне на деле безопасный пир во время чумы?

Я вообще думаю, что не без умысла со стороны некоторых деятелей литературы и искусства, историков, экономистов, социологов, философов мы, сосредоточившись на анализе сталинского периода, значительно реже и меньше анализируем двадцатилетие 1965-1985 гг. Спорунет, истоки всех негативных явлений, всех преступных нарушений законов, перерождения многих общественных институтов и лиц — там, во временах сталинизма. Да и никогда не продвинулись бы столь высоко такие люди, как Брежнев, Кириленко, Кириченко, Подгорный, если бы не репрессии среди партийных кадров в предвоенные годы. Но все же, почему мы неизмеримо меньше внимания уделяем текстам, фильмам, полотнам, поступкам, созданным и совершенным в семидесятые годы? В годы, когда грозящие честным художникам опасности чаще всего принимали форму не казней и ссылок, не лишения детей «врагов народа» фамилий отцов, а всего лишь — неполученного звания или ордена, несостоявшейся зарубежной поездки или, на худой конец, запрета книги, спектакля, фильма. Предвижу хор возмущенных голосов: а как же ненаписанные книги, картины, неснятые фильмы?.. Да кто же спорит — все это трагедия для общества! Но не о том речь, а о природе массового конформизма, не страхом тюремной решетки внушаемого, а нежеланием «портить себе жизнь». И о том, что многие столпы и рабы вчерашнего конформизма сегодня не только безоглядно атакуют тех, кому вчера угождали, но и позволяют себе снисходительно «прощать» Бухарина и Рыкова, Блюхера и Примакова за допущенную слабость, за капитуляцию перед молодчиками Ягоды и Ежова: ведь все же жертвы сталинского террора...

И пусть себе атакуют — не в том беда... А в том, что подавляющее большинство прилежных и лишь чуть-чуть фрондировавших конформистов и словечка не отыскивали для хотя бы мимолетного осуждения своего вчерашнего вполне старательного, порою и весьма эффективного служения застою, который они сейчас так лихо бичуют.

Но вернемся, однако, к фигуре Кочетова, со всеми удивительными ее противоречиями. Из приведенных выше фактов его биографии любой непредвзятый читатель сделает вывод, что и

до войны и в военные годы журналист Кочетов не принадлежал к числу тех безоглядно верноподданных, которые постоянно предъявляли свое идейное первородство к оплате, возрастая в должностях и званиях. Примечательно, что и много лет спустя, став видным писателем и одним из лидеров ортодоксального направления в советской литературе, он был обласкан весьма избирательно. Да, он регулярно входил в число делегатов партийных съездов, но ни разу не вошел в состав ЦК, лишь дважды попал в Центральную ревизионную комиссию. В то время, как, например, Н.Грибачев при всех высших партийных руководителях неизменно входит в состав ЦК. Немаловажно отметить, что Кочетов ни разу (!) не был избран депутатом Верховных Советов. Тогда как за время его пребывания на ответственных литературных постах депутатами союзного и российского парламентов становились писатели и менее известные, и менее влиятельные. Кочетов трижды награждался за литературную и общественную деятельность орденами, из них дважды — высшими. Но ни Сталинской, ни впоследствии Государственной премии он ни разу не получил. Читатели, недостаточно знакомые с порядками, нравами и обычаями, царившими в коридорах власти, могут счесть все это несущественным. Но те, кто хорошо информирован, знают, что в таких вопросах случайности исключались: и депутатские мандаты, и литературные премии распределялись на «больших верхах», где личность Кочетова ни полного доверия, ни личной симпатии не вызывала. Подчеркиваю: не общественно-политические позиции, а личность. По той же причине Кочетов никогда не входил в число секретарей Союза писателей СССР и лишь за два года до смерти стал одним из нескольких десятков секретарей Союза писателей РСФСР.

В чем же тут дело? Ведь практически все романы Кочетова, его публицистика и деятельность на постах главного редактора «Литературной газеты» в конце 50-х годов, а затем «Октября» (1961-1973) верой и правдой служили защите «основ». Да, служили. Но не прислуживали. И эту разницу, которая многим из сегодняшних доморощенных наших робеспьеров и маратов, неприемлемых к автору «Чего же ты хочешь?», покажется совершенно незаметной, тогдашние верхи ощущали и оценивали очень точно.

Как можно было относиться к номенклатурному работнику, отказавшемуся от спецпайка и демонстративно ездившему на собственной машине, предоставляя служебный автомобиль для нужд редакции и журнала? Я уже написал однажды, что эти факты не прибавили Кочетову симпатии ни справа, ни слева. Конечно, его издательские дела складывались прекрасно, денег у него было много, но ведь хорошо известно, что и более состоятельные его коллеги не гнушались банкетами по случаю юбилеев за счет Литфонда, то есть казенных средств. Впрочем, допускаю, что его щепетильность в денежных делах могла и не быть широко известна. Зато непререкаемая самостоятельность его суждений и мнений, абсолютная негибкость под напором «руководящих указаний» были достаточно хорошо знакомы и людям со Старой площади, и руководителям Союза писателей.

Независимость кочетовского характера принесла ему немало неприятностей еще при жизни Сталина. Из-за нее он чуть не погиб от голода в блокадном Ленинграде, отказался от публикации «Журбиных» в «Знамени», где ему гарантировали Сталинскую премию, если он примет предлагаемые вставки. Забавно, что уже после смерти Сталина история повторилась с кинофильмом «Большая семья», где снова, маня премией, предложили подхалимские поправки. Но все это сходило Кочетову с рук (хотя он и остался без премии), потому что он еще не занимал крупных постов. Но когда, вопреки уговорам Сулова, он все же настоял на своем уходе по болезни из «Литературной газеты», ибо не считал возможным сохранять должность, не имея физической возможности работать в редакции, это уже стало «звоночком». У Сулова еще долго не возникало к Кочетову идеологических претензий (они появятся лишь после романа «Секретарь обкома», где автор вступил в неявную, но прочитываемую полемику с Хрущевым, а апогея достигнут после «Чего же ты хочешь?», где был брошен вызов уже самому Сулову), но строптивость этого номенклатурного писателя он запомнил: отказываться от имеющей силу закона просьбы секретаря ЦК не было позволено никому.

Еще при Хрущеве появился аппаратный термин «управляемость». «Управляемый» работник, т.е. сговорчивый, беспрекословно выполняющий установки и указания, мог рассчитывать

на карьеру. «Неуправляемый» не только не имел шансов на продвижение, но, как правило, отодвигался с самостоятельной работы, день в день отправлялся на пенсию. Кочетов был совершенно «неуправляемый».

Помню, как ему при мне позвонил один из заместителей заведующего отделом ЦК и сделал какое-то предложение. Кочетов ответил согласием. Собеседник в шуточной форме выразил удивление тем, что обычно несговорчивый Кочетов так легко согласился. «Ну если из вашего здания поступает иногда разумное предложение, отчего не согласиться?» — так же шуточно ответил Кочетов. Шутки шутками, но за ними ощущались напряженность и нараставшее взаимное недовольство.

Я уже писал выше, что редакция и редколлегия «Октября» отнюдь не были монолитны. И когда Павел Антокольский принес в редакцию свою небольшую поэму «Пикассо», она встретила в редколлегии довольно сильное сопротивление. Хотя Кочетов был истово привержен реалистическому искусству и авангард по большей части не вызывал у него симпатий, но он обладал врожденным вкусом и умел подняться над своими идейно-эстетическими пристрастиями, если речь шла о подлинном искусстве. Вопреки возражениям, Кочетов настоял на публикации поэмы Антокольского. Она была уже набрана, как грянуло посещение Хрущевым Манежа и погром всего, что не укладывалось в жесткие рамки социалистического реализма. Естественно, противники поэмы Антокольского потребовали рассыпать набор, заявляя, что в создавшихся условиях публикация будет расценена как вызов, как демонстративная акция. В редакцию прибежал взволнованный Антокольский: «Что будет с поэмой?» Кочетов, отличавшийся склонностью к юмору, спокойно спросил: «А вы хотите ее забрать? Передумали? Нет? Какое совпадение: и мы нет...» Поэма была напечатана.

Впрочем, и эта, и некоторые другие подобные акции Кочетова и руководимого им журнала не получали надлежащей оценки, так как довольно широкие общественные круги и в первую очередь значительная часть творческой интеллигенции воспринимали лишь основную позицию «Октября» и не склонны были замечать какие-то нюансы, оттенки ни в ней, ни в произведениях

главного редактора. Что ж, в то время, видимо, иное было и невозможно и, быть может, не нужно. Но теперь, когда гласность, похоже, уже неодолима, когда особенности трудных процессов борьбы старого с новым требуют отказа от черно-белого или, если хотите, плоскостного мышления, не будет лишним отказаться от плакатного представления о разных фигурах прошлого.

Полагаю, что подлинная демократия не должна и не может допускать бессудных расправ. Тоталитарные «тройки», пресловутые особые совещания ничуть не лучше, хотя и не хуже куда как демократичных судов Линча. Это верно не только в буквальном смысле...

Сегодня, когда в советском обществе переоцениваются многие ценности и миллионные массы людей начинают заново постигать азбучные истины морали и этики, казалось бы, пора понять, что неотъемлемое право на личные взгляды и убеждения не может быть незаметно подменено правом лишь на «убеждения, соответствующие истине». Долгие десятилетия подавляющее большинство советских граждан пребывало в убеждении, что император Николай II и его семья должны были быть казнены без суда только на том основании, что в их жилах текла августейшая кровь. Сегодня в СССР можно прочесть и услышать, что преступность акции в подвале Ипатьевского особняка заключается в пролитии именно августейшей крови... Отсутствие политической культуры и ужасающие деформации правового сознания и морально-этических представлений, детерминированные вбивавшимся в головы приоритетом классовых интересов над всеми иными категориями, дают сегодня весьма тяжелые, в чем-то парадоксальные последствия. Недавно я позволил себе печатно высказать отнюдь не новую и вполне элементарную мысль о том, что обе стороны в Гражданской войне одинаково любили Отечество, но по-разному представляли его будущее. Тут же отыскался некий кандидат исторических наук, который на страницах той же газеты заявил себя потомком тех, кто косил из пулеметов офицерские батальоны, и признался, что аплодирует им и сегодня. Видимо, меня он счел потомком барона Врангеля или адмирала Колчака...

Я не знаю, какова была персональная вина Врангеля и Колчака, Деникина и Алексеева в кровавых эксцессах Гражданской

войны. Думаю, что такой же вопрос правомерен и в отношении Якира и Буденного, Тухачевского и Примакова. Но абсолютно убежден в том, что никто не вправе ставить под сомнение искренность убеждений родовитых дворян Колчака и Тухачевского, крестьянских детей Алексева и Примакова, уроженца еврейского местечка Якира, которые воевали под разными знаменами в соответствии со своими представлениями о благе общего для них Отечества.

Если просвещенная часть советского общества (в нее, правда, не входят иные историки, писатели, философы и даже народные депутаты) это начинает понимать, то на каком же основании высокомерно третируется литератор и общественный деятель Всеволод Кочетов, который, я вовсе не намерен отрицать это, придерживался по поводу путей развития страны совсем иных взглядов, нежели многие литераторы новомировской ориентации. Вот если бы кто-то сегодня привел документы или факты, свидетельствующие о том, что Кочетов писал доносы на коллег, совершал поступки, во все времена и при любых обстоятельствах расцениваемые как подлость, если бы он, как многие вполне уважаемые ныне советские писатели, устно и печатно выступал с антисемитскими выступлениями, то поношения в его адрес были бы оправданными. Но примечательно, что если при жизни Кочетова о нем широко распространяли клеветнические измышления, например, о том, что он под Ленинградом построил дачу на старом захоронении (у него вообще никогда и нигде не было собственной дачи), или о его «зоологическом антисемитизме» (его вдова — еврейка, а среди членов редактората и постоянных авторов «Октября» евреев было больше, чем в любом сегодняшнем левом советском ежемесячнике), то в период перестройки ему инкриминируют лишь политические убеждения, да и то подчеркивают, как, например, Д.Гранин в «Огоньке», их поразительную искренность.

Но я рискну свидетельствовать, что и с политическими взглядами Кочетова дело обстоит отнюдь не так однозначно, как иные авторы пытаются ныне представить. Начать с того, что ни в одной из публицистических статей Кочетова никогда не содержались призывы к репрессиям. Да, он истово верил в то, что с социалистической революцией примирились отнюдь не все,

был убежден, что наши инакомыслящие объективно «льют воду на мельницу мирового империализма», усматривал связь между деятельностью империалистических разведок и независимой общественной мыслью в СССР. Но не будем все же забывать, в какое время он жил, не будем забывать и то, что, борясь против опасностей, которые, как ему представлялось, грозили социализму, оказавшихся на поверку фантомами, он, в отличие, например, от М.Шолохова, не квалифицировал приговор А.Синявскому и Ю.Даниэлю как проявление социалистического гуманизма; в отличие от А.Прокофьева и М.Алексеева, А.Иванова и Н.Шундика, не требовал разгрома редакции «Нового мира» и, в отличие от многих ныне здравствующих и вполне процветающих в период перестройки писателей, не клеймил А.Сахарова и А.Солженицына.

Я вовсе не хочу этим сказать, что он осуждал процесс Синявского и Даниэля, был согласен с линией «Нового мира» или приветствовал идеи Сахарова и Солженицына. Я только хочу подчеркнуть, что у него были весьма твердые представления об этике политической полемики, в соответствии с которыми он напечатал в «Октябре» статьи Н.Сергованцева и Д.Старикова с довольно резкой критикой соответственно повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и поэмы Твардовского «Теркин на том свете», но категорически, несмотря на все уговоры, отказался подписать пресловутое «письмо одиннадцати» и никогда не клеймил Сахарова и Солженицына предателями и «власовцами».

Сейчас уже почти никто не помнит, а молодые люди просто не знают, что почти неправдоподобный для того времени факт публикации повести Э.Казакевича «Синяя тетрадь» состоялся при Кочетове в «Октябре», что именно Кочетов напечатал всеми печатными органами отвергнутую поэму И.Сельвинского «Три богатыря», что «Октябрь» и лично Кочетов энергично поддерживал Н.Рубцова, А.Передреева, В.Шукшина, а последний благодаря личному влиянию Кочетова был прописан в Москве. Недавно «Правда» напечатала трогательную историю о том, как прописала Шукшина в своей квартире сотрудница редакции «Октября» О.М.Румянцева, с дочерью которой был близок Шукшин. Но забыла «Правда» упомянуть о главном: разрешение на про-

писку добыл Кочетов через тогдашнего начальника московской милиции Н.Сизова, принесшего в «Октябрь» рукопись романа. Именно Кочетов напечатал весьма крамольные для того времени роман Л.Первомайского «Дикий мед», экологические статьи и очерки В.Чивилихина и В.Бритвина, по сути, открывшие экологическую кампанию в советской литературе.

Не найдешь в современной прессе и упоминания о громком скандале, который в «Октябре» учинил в свое время один из главных литературных мракобесов сороковых-пятидесятых годов Михаил Бубеннов, автор печальной памяти статей в «Правде», рассчитанных на уничтожение В.Гроссмана и В.Катаева. Бубеннов, доставшийся Кочетову в наследство от предыдущего главного редактора «Октября» Ф.Панферова в качестве члена редколлегии, в определенный момент усмотрел в деятельности Кочетова в «Октябре» недопустимую идеологическую широту. В качестве предлога он избрал публикацию довольно ординарного с точки зрения художественной романа начинающего писателя И.Коваленко «Откровение юного Слоева» и в привычном для себя погромном стиле «высек» это произведение на страницах «Литературной газеты», обвинив заодно Кочетова не только в объективной «смычке с журналом "Юность"», но и в игнорировании мнений членов редколлегии, которые, разумеется, не могут позволить подобные идеологические шатания. После публикации статьи Бубеннов предъявил Кочетову ультиматум: немедленно убрать из состава редколлегии чуждых по крови Старикова и Идашкина, через которых, очевидно, осуществляется проникновение в редакцию идеологической скверны. По прошествии двадцати лет смею утверждать, что хотя ни у Старикова, ни у автора этих строк никогда не было и не могло быть ничего общего с фанатическим черносотенцем Бубенновым, но и обвинения, что мы в то время были в «Октябре» «пятой колонной» «Нового мира» или «Юности», увы, не имеют под собой никакой почвы, как бы романтически и привлекательно для сегодняшней моей репутации ни выглядела эта версия. В случае невыполнения своих требований Бубеннов, поначалу поддержанный А.Первенцевым и П.Строковым, угрожал добиться через ЦК снятия Кочетова. Впрочем, Первенцев и Строков быстро отказались от бун-

та, видимо, поняв, что вряд ли ЦК пойдет на замену Кочетова Бубенцовым, носившим в то время неснятый партийный выговор за антисемитизм. Не представляю, что надо было совершить в те годы, чтобы такой выговор «заработать». Но это уже другой сюжет...

Еще до появления романа «Чего же ты хочешь?» Кочетов по командировке «Правды» ездил в Ленинград, чтобы собрать материал для очерка о передовых рабочих. Вернулся он мрачный. Возвратил в бухгалтерию командировочные (обычная для него щепетильность) и отказался от написания очерка. «Журбиных больше нет, — сказал он мне. — И, может быть, больше не будет...» Означало ли это потерю веры в нравственную и политическую силу рабочего класса, которому он посвятил почти все свои книги? Полагаю, что нет. Но потерю веры в политический режим Брежнева—Суслова, который лишил рабочий класс его политической роли, означало бесспорно. Мне могут возразить, что критика этого режима велась в романе «Чего же ты хочешь?» справа. Верно. Теперь я ясно понимаю, что трагедия сильной и яркой личности Кочетова заключалась в том, что, постигая несомненную политическую деградацию общества, стагнацию почти во всех сферах жизни, нарастающий идеологический и духовный кризис, почти нескрываемую коррупцию в высших эшелонах власти, с которыми писатель, несмотря на опалу, кое-какие связи сохранял, он заблуждался и по поводу причин происходящего, и, главное, по поводу возможных путей преодоления надвигающейся опасности. Правда, одну из причин он все же диагностировал верно: режим личной власти, нравственно-политическое перерождение правящего слоя, угодничество и карьеризм которого создавали неодолимую преграду на пути любых попыток улучшить положение в партии и стране. Именно по режиму личной власти и стремился Кочетов нанести удар в своем последнем, незаконченном романе «Молнии бьют по вершинам». К сожалению, он написал лишь первую часть, да и она была — уже после его смерти — опубликована в журнале «Москва» со значительными цензурными купюрами. Но я вместе с вдовой писателя расшифровал рукопись для перепечатки и могу свидетельствовать, что на примере некоторых нравов зиновьевского

партийного руководства Ленинграда Кочетов пытался осудить культ Брежнева, причем делал это достаточно прозрачно.

Сегодня во многих, увы, весьма поверхностных публикациях имя Кочетова и журнал «Октябрь» 50-х — начала 70-х годов употребляются лишь как знак, как символ всего крайне реакционного. Никто даже не пытается анализировать истоки идейных убеждений Кочетова, их динамику, практически никто не задумывается над тем, почему Кочетов в последние дни жизни попал в опалу. Ведь предложенное недавно Роем Медведевым со страниц «Юности» объяснение: дескать, Суслов был раздражен откровенным сталинизмом кочетовского романа, — выглядит весьма нелепым. Слишком хорошо известно отношение Суслова к тому, что мы называем сталинизмом. Да и мне довелось присутствовать в кабинете Кочетова при его телефонном разговоре с Брежневым, который сказал Кочетову, что прочитал роман с интересом, но там поставлены весьма непростые вопросы и, прежде чем их обсудить с автором, у генсека появилась, как он сказал, потребность внимательно перечитать роман. От Кочетова и из других источников мне было известно, что у разных членов политбюро сложилось разное отношение к роману, но Суслов, действительно, с самого начала занял отрицательную позицию. Убежден, не потому, что Суслов был левее Брежнева, а потому, что в кочетовском романе ясно говорилось о развале идеологической работы в партии. Подобное обвинение, конечно, адресовалось в первую очередь Суслову. И он, видимо, воспрепятствовал встрече Кочетова с Брежневым, который больше уже Кочетову не звонил. Другое дело, что из этой встречи ничего хорошего не могло выйти. Убедить Брежнева, что Суслов — никудышный идеолог, Кочетов, конечно же, не сумел бы, хотя, допускаю, что попытался бы — возможно, не напрямую. А сделать Кочетова трубадуром застоя, одним из своих угодливых портретнощев типа Маркова—Михалкова не смог бы Брежнев. Воцарявшиеся в стране брежневские порядки Кочетов категорически не принимал. В последний год его жизни, когда он был практически на постельном режиме, мне довелось много беседовать с ним с глазу на глаз. И должен сказать, как ни покажется это кому-то парадоксальным, что эволюция моих общественно-

политических взглядов началась в значительной мере под воздействием этих разговоров.

Теперь, когда Кочетова поминают лишь для того, чтобы послать ему запоздалые проклятья, когда его фамилия стала почти нарицательной, а один вполне прогрессивный писатель, много пекущийся о милосердии, даже позволил себе в одной из статей написать фамилию Кочетова, кстати, немало помогавшего этому писателю в начале его творческого пути, со строчной буквы, — я все чаще вспоминаю изможденное многолетней болезнью, исхудавшее лицо Кочетова с впавшими, блестевшими каким-то нестерпимым блеском глазами, которые я старался миновать взглядом, ибо в них читались не только физические, но и душевные муки.

О его последних месяцах и последних минутах много и злобно налгано. И, однако же, убежден, что правда не может быть ни партийной, ни, тем более, групповой. Правда может быть только самой собой, в противном случае это — неправда. Я расскажу правду о последних месяцах и минутах Кочетова — то, что по разным причинам, объективным и субъективным, до сих пор не предавалось гласности.

Нетак давно в советской печати промелькнула версия о том, что болезнь Кочетова связана с провалом его романа «Чего же ты хочешь?». Здесь причудливо смешана правда с ложью. Ложь, что роман провалился. Интерес к нему был огромен. Экземпляры журнала рвали из рук, текст размножали средствами малой полиграфии, оттисками спекулировали. Верно то, что состоялось лишь одно книжное издание, и то вне Москвы — в Белоруссии, по решению бюро ЦК КП Белоруссии (переговоры об этом издании с уже тяжело больным автором вел через меня тогдашний зав. отделом пропаганды белорусского ЦК А.Т.Кузьмин, здравствующий и поныне), за что партийному руководству Белоруссии было выражено серьезное порицание из центра.

Верно и то, что, видимо, Суслов запретил обсуждение романа в печати. Одна — весьма традиционная, критиковавшая роман справа («Где автор видел подобное? У нас ведь растет идейно здоровая молодежь!») — рецензия Ю.Андреева появилась в «Литературной газете» — и все. Замечу, что роман и до сего дня не издан

ни одним московским или центральным издательством и не включен ни в одно из посмертных избранных сочинений автора. Конечно, «Чего же ты хочешь?» — не «Очерки русской смуты», но ведь тоже памятник времени...

Собственно, и такие прежние романы Кочетова, как «Братья Ершовы», в чуть меньшей мере «Секретарь обкома» и в еще чуть меньшей — «Угол падения», тоже вызвали крайне разноречивые мнения и острейшую полемику. Разница, однако же, была. И состояла она отнюдь не в том, что последний прижизненный роман Кочетова вызвал меньший общественный резонанс. Скорее наоборот: из-за сравнительно малого тиража («Роман-газеты» на этот раз не было) вокруг романа возник ажиотаж, и поэтому ни о каком провале речи не было. А что касается, так сказать, идейной направленности романа, то, хотя она, безусловно, была более жесткой, чем в прежних его произведениях, и это вызывало более широкое общественное несогласие, Кочетова смущало и огорчало отнюдь не это. Он был по натуре боец, и противодействие его никогда не пугало. Если бы роман подвергся обсуждению в печати, несомненно, были бы высказаны диаметрально противоположные точки зрения. Вероятнее всего, слабость художественной стороны осталась бы на периферии дискуссий, а в центре ее оказались бы различные подходы к проблемам идеологии. И тогда было бы широко продемонстрировано то, что Кочетов видел и слышал на многих читательских конференциях, на которых он, превозмогая прогрессирующую тяжкую болезнь, все же бывал: у его мировоззрения есть немало противников, но и очень много сторонников.

Но роман упорно замалчивали. Вскоре Кочетову, привыкшему к единомыслию и поддержке широких партийных кругов, стало ясно, что дело не в капризах того или иного средней руки аппаратчика. На этот раз его явно не поддержало руководство партии. История с изданием романа в Белоруссии лишь подтвердила этот вывод.

Конечно, разойтись во взглядах с руководством партии Кочетов не побоялся бы, не такой он был человек. Но, размышляя над происходящим, он начал приходить к выводу, что руководство партии разошлось во взглядах не только с ним, но и с ленинским курсом. А вот это осознавалось им как трагедия. Конечно,

теперь мы понимаем, что существовали и существуют очень разные представления о том, что такое ленинский курс, и о том, в какой мере совместимы многие тактические шаги Ленина с его же стратегическим планом.

Да, мировоззрение Кочетова, многие его идейно-нравственные установки, вполне закономерные и естественные в большевистский период истории партии и страны, объективно оказались анахроничными после XX съезда КПСС. Кстати, он был поначалу восторженным поклонником Хрущева, безоговорочно поддерживал его в период борьбы против группы Молотова—Маленкова—Булганина, неоднократно рассказывал мне, какая творческая, вдохновляющая атмосфера начала проникать в деятельность высших эшелонов власти в первые хрущевские годы. Постепенно, однако, Кочетов разочаровался в Хрущеве, причем в разговорах со мной он критиковал Хрущева и слева и справа, что в общем-то отражало непоследовательную, импульсивную деятельность этого лидера. Весть об отставке Хрущева Кочетов воспринял с одобрением и надеждой. Однако к концу 60-х годов у него уже не осталось никаких иллюзий, в том числе и по поводу морального облика многих высших руководителей. А знал он о них уже тогда больше, чем многие из нас. Да, Кочетова разочаровало в новом руководстве отнюдь не то, что оно окончательно заморозило хрущевскую оттепель, а прежде всего его идеологическая «слабость» и «непоследовательность». И в этом, как теперь ясно, Кочетов был глубоко неправ, ибо команду Брежнева—Суслова нельзя упрекнуть, пожалуй, единственно в идеологических послаблениях. Но в конце своей жизни Кочетов ясно осознавал всю глубину идейно-нравственного перерождения верхушки тогдашнего партийно-государственного руководства, кремлевской геронтократии, тщетно скрываемую под флером уродливого и смехотворного культа микроскопической личности Брежнева. Это осознание далось Кочетову нелегко. В нем постоянно шла внутренняя борьба. Она в какой-то мере получила отражение и в его творчестве, и особенно на страницах журнала. Кочетов яростно сражался, призывал одуматься, спасти первозданность коммунистических идеалов, не уступать чуждым идеологическим поветриям, разоблачать происки империали-

стических разведок, стремящихся разложить наше общество и в первую очередь молодежь. Но уже в последнем, незавершенном романе все отчетливее звучат темы идейно-нравственной чистоты, опасности перерождения кадров, культа личности руководителей и т.п. И на страницах «Октября» в разделе литературной критики все еще ведется борьба против идейной ущербности, а в прозе, поэзии и особенно в публицистике появляются все менее воинственные, а порой и откровенно фрондирующие материалы, правда, в основном по проблемам экономики, права, экологии.

Я часто упоминал о тяжелой болезни Кочетова. Что это за болезнь? В 1961 году он перенес несложную операцию по поводу липомы на внутренней стороне бедра. Это незлокачественное поначалу новообразование регенерировало и периодически требовало все новых хирургических вмешательств. Всего Кочетов перенес за двенадцать лет семь операций. Трудно установить, в какой момент и по какой именно причине произошло злокачественное перерождение опухоли. Во всяком случае, от близких больного это скрывали очень долго. Лишь после пятой операции жене дали понять, что диагноз практически не оставляет надежды. Тем не менее, были сделаны еще две операции. Страдания, которые перенес Кочетов, неопишуты. Воля этого человека, от которого до последнего дня жизни скрывали роковой диагноз, была фантастична. Даже тогда, когда промежутки между обезболивающими уколами стали сокращаться до нескольких часов, он работал над версткой журнала. Кстати, именно роковому диагнозу он был обязан тем, что ушел из жизни главным редактором. Один из тогдашних руководителей 4-го главного управления при министерстве здравоохранения рассказал мне, что «сверху» интересовались диагнозом и, получив «удовлетворительный» ответ, видимо, решили оставить главного редактора «Октября» в покое. Буквально повторять историю с Твардовским и «Новым миром» «противник сталинизма», видимо, считал неудобным. Поэтому несколько последних «выходок» «Октября» остались почти безнаказанными.

За три недели до смерти Кочетов, практически уже не вставший с постели, при моем очередном посещении (последние годы своей жизни он провел на служебной даче в подмосковном поселке Переделкино) попросил продлить разрешение на хране-

ние оружия. У него был немецкий пистолет «Вальтер» калибра 7,62 мм, срок разрешения на владение которым истекал. Разумеется, я немедленно выполнил в Московском управлении милиции все необходимые формальности, но просьба эта меня и членов семьи Кочетова насторожила, тем более что за несколько дней до этого в разговорах и с женой, и со мной он подвергал сомнению верность диагноза «липома». К тому времени мы все знали истинный диагноз, прибегали ко всевозможным, как теперь сказали бы, «неформальным» медицинским средствам, уже несколько месяцев при Кочетове безотлучно находился одесский фельдшер Орлов, лечивший больного изобретенным им препаратом из змеиного яда, но от больного все тщательно скрывали роковое слово, уверяли и, как нам казалось, успешно, что у него липома и вся проблема в ее необыкновенной способности к регенерации. Но в какой-то момент Кочетов, с изумительным мужеством и стойкостью переносивший страшные страдания и даже продолжавший редактировать журнал, видимо, начал понимать безысходность положения. Потеряв надежду на выздоровление, он, естественно, обратился мыслью к хранившемуся дома «Вальтеру».

Я написал: «естественно». Но так ли уж это естественно? И тут я позволю себе забежать вперед. На похоронах застрелившегося Кочетова было много писателей. Возможно, кто-то пришел и по протокольным соображениям, присутствовали, конечно, и близкие друзья, товарищи. Помню, как жена Вадима Кожевникова подошла к вдове Кочетова и сказала: «Ты должна утешаться тем, что много лет прожила с настоящим мужчиной. Его уход это окончательно подтвердил. Ну кто из них, — она указала взглядом на группу стоявших неподалеку «номенклатурных» литературных деятелей, — способен на это? Случись что, не дай Бог, ведь до последней секунды будут цепляться за жизнь...» Не стану комментировать это высказывание, но не вспомнить его не могу...

Итак, разрешение на «Вальтер» было продлено, о чем я сообщил Кочетову. Но не сразу (мы с его женой договорились избегать темы оружия), а в ответ на его вопрос. Стало ясно, что он думает о пистолете, и нетрудно было понять, в какой связи. Пистолет был надежно (как оказалось, увы, не вполне) упрятан, а 4

ноября 1973 года на даче состоялся очередной врачебный консилиум и из уст одного профессора, недостаточно понизившего голос, прозвучало роковое слово. Кочетов услышал, понял, что никакой надежды на выздоровление нет, а ценой мучений можно лишь продлить жизнь на несколько месяцев, и в тот же вечер застрелился.

Я примчался в Переделкино, вызванный по телефону, через 45 минут после выстрела. Поняв, что произошло, принял меры к тому, чтобы обеспечить неприкосновенность картины случившегося, и позвонил домой секретарю Союза писателей СССР Ю.Верченко. Он попросил меня оставаться на даче Кочетова и встретить всех должностных лиц, которых он вызовет, и помочь в их работе. Часа через полтора прибыли сотрудники милиции и прокуратуры, и мне пришлось помогать несколько оробевшему следователю зафиксировать все детали происшедшего. Они оказались выразительными и характерными для Кочетова.

Поскольку при выстреле из пистолета этой системы в канал ствола автоматически досылается следующий патрон и возникает опасность выстрела при случайном прикосновении к спусковому крючку, Кочетов, чтобы обезопасить своих близких, дослав патрон в канал ствола, вынул из пистолета обойму. В последние минуты перед смертью ему не изменили ни хладнокровие, ни привычная забота о близких людях. Понимая, что, вбежав в комнату после выстрела, кто-то может схватить пистолет и коснуться спуска, он, вынув обойму, предотвратил возможную беду. А зачем нужно было продлевать разрешение на пистолет? Да по той причине, чтобы никто не пострадал. Ведь после самоубийства, как понимал Кочетов, начнется расследование и может возникнуть вопрос: а почему разрешение было просрочено. Дескать, если бы тот сотрудник, который за это отвечает, вовремя просигнализировал об истечении срока, пистолет у тяжело больного можно было изъять. При тогдашних порядках какой-нибудь майор мог лишиться места или пенсии...

Такова правда о последних месяцах жизни Кочетова и о том, как он расстался с жизнью. Меняют ли сообщенные в этой статье факты общую оценку литературной или общественной деятельности Кочетова? Разумеется, идеи, заключенные в романах

«Братья Ершовы» или «Чего же ты хочешь?» не могут трансформироваться во времени — они в нем остаются, и тут, по словам кочетовского главного оппонента, «ни убавить, ни прибавить». Разумеется, объективный смысл деятельности «Октября» в 60-е — начало 70-х годов не подлежит пересмотру: он таков, каким был, и никакие субъективные моменты не могут да и не должны быть использованы для затушевывания реального хода истории. Она и без намеренных искажений достаточно сложна.

Но у политики, в отличие от истории, которая есть лишь фиксация фактов и событий, существует нравственный аспект. Сегодня в нашей стране есть напряженная, противоречивая, во многом непривычная политическая жизнь. Разброс политических взглядов достаточно велик. Вопрос о дальнейших путях политического и правового развития государства и общества приобретает сугубо практический характер. Будет ли в нем место истинному плюрализму, терпимости к инакомыслящим? Или нас ожидает хаос злобной нетерпимости, беззастенчивое шельмование оппонентов, война всех против всех, которая может быть остановлена лишь «спасительной» твердой рукой?..

В этой статье я попытался показать Кочетова, каким он был в действительности, вернуть его фамилии заглавную букву, превратить ее из нарицательной в индивидуальную. Нельзя, безнравственно шельмовать человека за убеждения, сколь бы далекими от твоих собственных они ни были и сколь бы убедительно ни доказала история их ложность. Особенно недопустимо это в нашей советской литературе, где библейский вопрос «На ком греха нет?» обретает весьма грозное звучание. Но грех заблуждения, грех приверженности ложной вере — одно, а грех предательства и непомерного тщеславия, корыстолюбия и мздоимства, пренебрежения к низестоящим, подбострастного самоуничтожения перед властью имущими, грех бестрепетной, жаждущей щедрого вознаграждения лжи и нестеснительной неискренности, наконец, грех привычного, ставшего основой не только творческого облика, но и человеческого характера страха — совсем другое.

Не примечательно ли, что «почвенники» (примем здесь терминологию В.Бондаренко) «великодушно» простили Кочетову

его отказ подписать «письмо одиннадцати» и всячески замалчивают этот факт, а «западники» (по той же терминологии) столь же прочно «забыли» о почти одновременном с «Новым миром» выступлении «Октябрь» против статей В. Чалмаева в «Молодой гвардии», от которых ныне ведется отсчет позиции сегодняшнего «Нашего современника»! Обе стороны стремятся зафиксировать на вечные времена лишь черно-белую фотографию Кочетова. И не случайно из разных лагерей можно услышать — с противоположными, разумеется, оценками — суждения об однозначности этой фигуры.

Но она не была такой. Во всяком случае — к концу жизни. И не будем забывать: мы имеем перед ушедшими неоценимое преимущество — возможность прозрения и покаяния. Многие ли из нас воспользовались ею? Зато недостатка в жаждущих обличать и карать — хотя бы посмертно — у нас не было никогда. Нет и сейчас.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы допускаем, что точка зрения автора на личность и творчество Всеволода Кочетова иным читателям может показаться спорной. Поэтому мы охотно предоставим наши страницы и для любого противоположного мнения.

ИДАШКИН Юрий Владимирович. Родился в 1930 г. в Харькове. В 1952 г. окончил Московский юридический институт. Работал юристом в строительных и транспортных организациях. С 1957 по 1959 г. учился в аспирантуре Института психологии и одновременно преподавал в школе. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию по психологии. До 1962 г. — научный сотрудник Института психологии. В 1962-1973 гг. — ответственный секретарь и и.о. первого заместителя главного редактора журнала «Октябрь». С 1975 по 1980 год — в Госкомиздате. С 1980 по 1987 г. — главный редактор журнала «В мире книг». В 1987-1989 гг. — зам. главного редактора еженедельника «Литературная Россия». Критик, публицист, член СП СССР. Автор десяти сборников статей и монографий. Живет в Москве.

ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

В Москве 11 февраля 1990 года состоялся вечер памяти русского писателя и философа Д и м и т р и я П а н и н а . Накануне «Вечерняя Москва» на первой полосе писала: «"Созидатели и разрушители" — так по одной из работ писателя будет называться вечер его памяти в ЦДЛ... Еще одно отторгнутое имя русской культуры возвращается к нам».

Большой зал ЦДЛ заполнили сотни людей. В фойе была развернута выставка работ писателя. Более трехсот книг Д.Панина были тут же распроданы, и вдова писателя, прилетевшая из Парижа для участия в вечере, пожертвовала все деньги Воскресенскому храму в Иванове.

На вечере присутствовали друзья писателя по ссылке и по последней работе в Москве после освобождения из ГУЛАГа. Вечер открыл писатель Вячеслав Кондратьев, начертавший путь одного из представителей русской интеллигенции, всю жизнь боровшегося против безбожной власти и неминуемо подвергшегося ее репрессиям.

Публикуем отрывок из выступления на вечере одного из его организаторов, литературного критика Ф е л и к с а М е д в е д е в а :

Он оказался пророком, Дмитрий Панин. Пророком своего отечества. Мученик, отшельник, философ, провидец, умница, честнейший человек на земле, упрямец, бунтарь — в своих прозрениях, словно в невероятных снах, он видел обновленную свою родину, донельзя измученную большевистским произволом. Чуть ли не до самой смерти в своих философских научных изысканиях он выглядел почти сумасшедшим. Сейчас он предстает гением.

Он шел дальше всех, ибо у Дмитрия Панина расхождения с советской историей, с самим понятием «советскости» более глубокие, нежели у многих; у большинства — они «стилистические»...

Он хотел видеть свой русский народ совершенным, но понимал, что к совершенству можно стремиться бесконечно. Дон Кихот и Санчо Панса одновременно, он оказался и созидателем и разрушителем. Созидателем — своей верой в революционное изменение всей политической системы, нравственной структуры в России; разрушителем — ибо поглощение его идей и помыслов ведет к настоящей революции, которая, кстати, в России становится все более неотвратимой...

Много лет Россия жила тяжело, больно, заскорузло. Сейчас ей будет легче. О Панине вспомнили. Панина начинают издавать. Панин возвращается домой. Возвращается пророком в свое отечество.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАС ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОБМАН

В последнее время мифомания, мифотворчество сделались бичом советского общества. Маги от медицины лечат по телевидению все болезни от рака до насморка, чудодейственные мальчики и девочки в глухих провинциях заставляют летать по воздуху чугунные сковородки и держат в страхе местных пожарников, злонамеренное правительство целенаправленным ядерным взрывом под землей устраивает землетрясение в Армении. Страшно, аж жуть! Но что самое поразительное (и опасное!) — верят! Верят миллионы вполне, казалось бы, нормальных и здравомыслящих людей. Верят любому заезжему графоману из зарубежной тмутаракани, сообщающему им о своих сногшибательных литературных успехах на Западе. Верят безответственному эмигрантскому болтуну, выдающему стране рецепт полного потребительского благоденствия уже к нынешней осени. (Как тут не вспомнить из Платонова о двадцатипятилетнем плане построения всеобщего счастья с выполнением к ближайшей пятнице.) Верят другому околполитическому прохиндею из Америки, дающему на страницах «Московских новостей» советы по всем проблемам современной жизни. Блажен, кто верует!

Общество наше продолжает жить разрушительными (хотя бы и под другим знаком) иллюзиями. Находясь в тяжелейшем похмелье после семидесятилетнего наркотического запоя, общество наивно надеется, что с помощью различных политических или экономических паллиативов, вроде провозглашения независимости всех от всего, продажи коопера-

тивных маек и комфортной борьбы с культом личности оно уже вот-вот, чуть не завтра обретет трезвость мышления и сказочное изобилие.

Увы, протрезвление так быстро не наступит, для этого человечество еще не придумало лекарств. И не только у нас. Не следует кивать и на страны Восточной Европы. Положение там (исключая разве ГДР, которой поможет выйти из положения братская ФРГ) не многим лучше нашего, а в Румынии, где, кстати, после войны никогда не было ни одного советского солдата, и того хуже.

Более чем наивно полагаться и на Запад, который в состоянии-де насытить нас потребительскими товарами. Нет такой силы в мире, которая бы могла одеть и прокормить четыреста миллионов человек из соцлагеря. Перепроизводство на Западе составляет ничтожный процент (кто же будет выпускать излишек товаров, который невозможно продать?). И на этот процент невозможно содержать чуть ли не целый континент.

Больная экономика стран так называемого социалистического лагеря настолько взаимосвязана, что выйти из положения, даже в случае отказа от существующей политической системы, можно только сообща, но и для этого потребуется время и время. И, мягко говоря, нелегкое.

Когда академик Аганбегян ссылается на пример Венгрии, то он обманывает только себя. Не надо быть большим специалистом по экономике, чтобы (хотя бы исходя из текущей информации) знать, что экономическое положение в этой стране такое же катастрофическое, как и у ее социалистических соседей. Товары есть, но их некому и не на что покупать. Растет нищета и безработица, социальная напряженность достигла предела и чревата взрывом. Из смешанной экономики ничего не получается. И поэтому права Попкова в своей статье в «Новом

мире» («Где пышнее пироги?»): или — или. Или социализм, или свободный рынок. Примеры скандинавских стран так же неубедительны: в этих странах *социалистическая форма перераспределения*, а экономика почти полностью рыночная. Гораздо «рыночней», чем в США. Да и форма такого перераспределения в самих этих странах сегодня подвергается пересмотру, ибо резко снижает производительность труда и способствует «утечке мозгов» и квалифицированной рабочей силы.

Поэтому, на мой взгляд, пора перестать искать виноватых в Сталине, в Ленине или в жидо-масонах. Пора отдать наконец себе отчет, что, кроме нас самих, нас никто и ничто не спасет. Система изжила себя, и она требует скорейшей замены, но замены требует и наше собственное сознание. Сознание потребителя и нигилиста. Сказать, что все плохо, — это еще не значит что-либо изменить. Попытаться возродить в себе созидательное, а не разрушительное начало гораздо труднее, чем бороться с идеологическими тенями.

К сожалению, сегодня в стране происходит не возрождение гражданского общества, способного действительно спасти положение, а борьба за монополию влияния на происходящие в нем процессы. Не успел опереться писательский «Апрель», которому большинство из нас здесь в эмиграции так радовались, как он тут же, по словам «человека вне подозрений», всеми уважаемого Олега Волкова («Русская мысль» от 19.1.90), превращается в карьеристскую лавочку по типу всех творческих союзов в СССР. Только что возник русский ПЕН-Клуб (к чему, каюсь, и я приложил руку) и, как говорится, не сходя с места ввязался во внутрилитературные склоки. И трава не расти, дай только оппоненту насолить!

Плюрализм все так же, как в застойные времена, воспринимается сторонами чисто по-гогтентотски: все, что я делаю, красиво и хорошо, все, что ты делаешь, некрасиво и плохо.

А вот как своеобразно толкуется у нас понятие «демократия». В одном из последних номеров «Огонька» выступил ведущий популярной программы «Взгляд» Дмитрий Захаров. (Кстати, я видел в записи одну из передач этой программы, и она мне очень понравилась.) Сначала мне хотелось бы его процитировать:

«Можно ли представить, что главный редактор "Ридерз дайджест" был снят по решению Вашингтонского обкома партии или пленума союза писателей округа?»

Отвечаю: нельзя. Ибо в Вашингтоне не существует ни обкома партии, ни отделения союза писателей. Но существует Хозяин журнала. И если этот Хозяин встанет завтра не с той ноги и ему что-либо не понравится, то, уверяю вас, на следующее утро Главный редактор обнаружит у себя на письменном столе конвертик с вежливой записочкой и чеком на выходное пособие. Что Хозяин «Ридерз дайджест» уже неоднократно и проделывал. И никакие страсти-мордасти в печати ему (то есть редактору) не помогут. Знаю это со слов своего хорошего знакомого из этого журнала — Джона Баррона.

Также не может никого снять с работы и «союз писателей округа Колумбия» — по той простой причине, что такого союза не существует в природе. Но судьбу редакторов вашингтонских локальных газет — профсоюзных или университетских — решают именно руководящие органы этих организаций: правления, ректораты и так далее.

Могу привести пример из французского опыта. Хозяин популярнейшего и наиболее серьезного еженедельника в этой стране («Экспресс») Гольдшмидт

уволил с поста главного редактора выдающегося философа и публициста, моего друга Жана-Франсуа Ревеля только за то, что на обложке журнала перед очередными выборами был напечатан портрет Франсуа Миттерана, а не Жискара д'Эстена (Гольдшмидт «болел» за второго). Вот и все.

А дальше у Захарова еще наивнее:

«Думается, разрешение ситуации одно: коллективы электронных средств массовой информации, равно как и печатных органов, должны иметь право выбирать своего руководителя и главных редакторов, причем путем тайного голосования. Необходимо телевидение, возглавляемое не номенклатурным работником, а профессионалом». Это уже что-то совсем новенькое в истории мирового телевидения. Ни на одном телевидении Запада не существует никакой процедуры выборов. Оно находится или в частных руках (и тогда кадровой политикой руководит владелец), или в руках государства (как это имеет место в большинстве стран Европы), и тогда им руководят политики или менеджеры, то есть «номенклатурные работники». Они назначают и смещают сотрудников по своему усмотрению или по звонку из правительства. И никакого шума по этому поводу в прессе практически не возникает. Или, если возникает, то в редких случаях.

А что касается тайных выборов, то Захарову следовало бы усвоить одну простую истину. Демократия — это не выбор лучших, а выбор себе подобных. Тайным голосованием талантливый человек никогда и никуда не будет выбран, ибо коллектив в своем подавляющем большинстве, к сожалению, не состоит из гениев. Скорее наоборот. Первой жертвой таких выборов окажется (если он талантливый человек, а я смею верить в это!) сам Дмитрий Захаров. И телевидение в конце концов скатится к уровню каменного века. Неужели горький опыт с вы-

борами Олега Ефремова во МХАТе ничему не учит наших творческих деятелей?

(Иные в Советском Союзе частенько ссылаются на пример французской газеты «Монд», но это кооперативное издание, увы, — редчайшее исключение на Западе.)

Мифы, мифы, мифы! Сколько этих мифов! Миф о замечательной «ленинской гвардии» (надеюсь, читатели успели ознакомиться с предложением Георгия Пятакова Сталину, опубликованным недавно в «Известиях ЦК КПСС»), миф о «презумпции невиновности» на Западе (великого кинорежиссера Бергмана в хваленой Швеции посадили *по доносу* о неуплате налогов, оказавшемся впоследствии ложным. И он сидел, пока не доказал свою невиновность), миф о некоей сверхгуманности сил общественного порядка за рубежом (французский, как, впрочем, и американский полицейский стреляют в вооруженного человека без предупреждения), миф о самоокупаемости западного искусства (все серьезные творческие коллективы здесь находятся на дотациях) и так далее, и так далее, и так далее. Закончу, с чего начал: давайте, наконец, хоронить свои мифы — или мифы похоронят нас.

P.S. К моему немалому удивлению, «Литературная газета» напечатала эту «Колонку», разумеется, соответственно ее прокомментировав. В своей препроводительной заметке редакция спрашивает меня: «Почему в числе примеров только "Московские новости", "Апрель", ПЕН-Центр, "Огонек"?» Отвечаю. Потому что так называемые «правые» меня мало интересуют, они, надо отдать им должное, верны себе, исповедуют те же, неприемлемые для меня ценности, на том же убогом профессиональном уровне. Но вот органы печати и организации вроде вышепе-

речисленных меня крайне интересуют, ибо претендуют быть флагманами и запевалами процесса демократизации в нашей стране и любая ложь и двусмысленность в их деятельности меня возмущает во много раз больше, чем привычные инсинуации справа, тем более, что некоторые из них («Апрель» и ПЕН-Центр) я всячески — и печатно и устно — поддерживал. Уже одно то, что, к примеру, целый ряд людей, входящих в руководство СП СССР, являются одновременно лидерами противостоящего этой организации «Апреля» и возглавляют ПЕН-Центр, который изначально должен был бы вообще стоять «над схваткой», представляется мне не только противостественным, но и аморальным: Фигаро здесь, Фигаро — там. Так что, дорогие коллеги из «Литгазеты», я не усматриваю в своей сегодняшней позиции по отношению к культурным и общественным процессам, происходящим в нашей стране, абсолютно никаких противоречий.

ОБРАЩЕНИЕ МОСКОВСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ БИБЛИОТЕКИ

Если вы желаете содействовать дальнейшему развитию демократии в СССР, свободному обмену информацией, утверждению подлинной гласности и свободы слова — работники Московской независимой библиотеки приглашают вас к сотрудничеству по следующим вопросам:

1. Приобретем на любых условиях книги, труднодоступные или отсутствующие в государственных библиотеках, а также изданные за рубежом на русском языке.

2. Приобретем для нашей библиотеки до 3-х экземпляров самиздатских журналов и газет, издающихся в вашем регионе. Просим вас содействовать нам в этом, даже если это выразится лишь в передаче нашего адреса заинтересованным людям.

3. Если вы желаете оказать библиотеке финансовую поддержку, мы с благодарностью ее примем. Наш счет: №41162 в отделении Сбербанка номер 5289/166 г. Москвы на имя распорядителя Московской независимой библиотеки Юрия Кушкова.

4. Мы готовы обсудить с вами условия открытия филиала в вашем регионе или условия сотрудничества с уже существующими независимыми общественными библиотеками.

По всем вопросам обращайтесь письменно по адресу: 109382 Москва, ул. Краснодонская, 46, кв. 101 или по телефону: 361-22-05, спросить Игоря Галканова.

НЕЗАВИСИМАЯ БИБЛИОТЕКА города ЛЬВОВА

просит присылать книги и журналы на русском языке по истории, религии, правам человека, марксистской философии, критике марксизма и атеизма, культуре русского зарубежья. Почтовый адрес библиотеки: Soviet Union, 290053, Lvov-53, Box 5807.

НАША ПОЧТА

Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

Собирался я написать в редакцию «Континента» уже очень давно, но до сих пор, не имея адреса, не мог этого сделать. И лишь совсем недавно, приобретя в своем Университете один из номеров «Русской мысли» за 3 руб. (точнее, ксерокопию «Русской мысли» от 13 октября минувшего года) и, наконец, прочитав Ваше интервью в журнале «Юность» (№12), решил написать Вам лично.

Ваша позиция на происходящие здесь в России перемены мне очень близка, хотя, как мне показалось, и Вы перешли, поддавшись, может быть, всеобщему бурному взрыву восторга на Западе по поводу нынешней перестройки, на чересчур оптимистический тон.

Многим из нас же, глядя месяц назад на то, как итальянцы встречали Горбачева, с каким упоением скандировали: «Горби! Горби!», оставалось лишь горько усмехнуться.

Да, говорить и печатать сейчас стало возможно очень многое, можно бастовать, выходить на митинги и демонстрации, проклинать ЦК, партию и правительство. Моральная обстановка, однако же, не изменяется к лучшему, и выздоровления общества пока не происходит.

И пока наши «западники» грызутся с «почвенниками», периодически атакуя друг друга, сшибаясь стенкой на стенку, отступая и вновь переходя в наступление; пока в новообразованном парламенте обсуждаются и принимаются многочисленные законы, или же их проекты, или поправки к ним (и сколько их! Удивительная страна — где еще найдешь подобное законотворчество, и где любые законы не были столь бессильны?), молодежная преступность и бандитизм приобретают невиданный ранее размах; мракобесие также нисколько не исчезло, а обрело лишь другой характер (на национальной почве, в виде появления на политической арене очередных кумиров-популистов, Борцов за Справедливость, или в ожидании перед телеэкранами новоявлен-

ных Исцелителей — Чумака и Кашпировского). И так уж ли готов наш народ к демократии, если происходит небывалый разгул преступности — с одной стороны, и призывы к твердой руке, к чрезвычайному положению, что находит отклик у немалой части населения — с другой? Да еще и при отсутствии тех товаров первой необходимости, что были в изобилии при «застое»! У многих обывателей, как в столице, так и на периферии, мерилом благополучия служит наличие или отсутствие колбасы, сахара, мыла или модных тряпок на прилавках — какая им еще, прости Господи, демократия и свобода нужна, какой плюрализм? Да тут и кооперативы появились всевозможные — долой хапуг-капиталистов, обогащающихся за счет трудового народа! Готовы искать виновников и врагов где угодно — в жидомасонах, кооператорах, ученых-экономистах, партаппарате, мафии, административно-командной системе, но только не в себе самих! Наконец, налицо катастрофическая нравственная да и генетическая деградация русского народа, в особенности — современного молодого поколения. По данным ЮНЕСКО, в конце 50-х — начале 60-х годов СССР занимал 3-е место в мире по интеллектуальному уровню среди молодежи мира, в последние же годы отошел за 40-е. «Куда утекла русская нация? Знаем куда, всосалась в землю Архипелага. А на поверхность эти и всплыли — какие-то Жижины, Чечевы, Шкаевы» (А. Солженицын. «Бодался теленок с дубом»). Быть может, еще хуже, чем они сами, — здесь же, рядом среди нас. И хотя Солженицын, как мог, приближал сегодняшние перемены, многое предвидев и предопределив, я все же не перестаю удивляться его несокрушимому оптимизму: выступая на Западе, он подчеркивал, что видит будущую Россию в выздоровлении и в освобождении никак иначе, как изнутри. Тем не менее, как это ни хотелось бы признавать, но пока освобождение ее (безусловно, неполное) произошло в значительной степени «сверху», но не изнутри, в результате прихода к власти отнюдь не мифических, а реальных «левых» партаппаратчиков и частичной замены ими столь же реальных «правых» (здесь все-таки братья Медведевы оказались точнее). И я уверен на все 100 процентов: продлись андроповское правление по сей день — многие остались бы вполне довольны, вот что самое ужасное. Так что и впрямь, как Вы год

назад писали в «Огоньке»: «рабы, сверху донизу все рабы», ничего не забывшие, но ничему не научившиеся.

О молодежи (т.е. о сегодняшних 15-25-летних, к которым, кстати, и я принадлежу) и говорить нечего: какие-то рокеры, панки, металлисты, «люберы», да и просто жлобы, которым вообще ни дѣчего нет дела, все «до лампочки», а интересы самые что ни на есть примитивные. (Большую часть студенчества и политических объединений я здесь не имею в виду. Но доля образованных, мыслящих и порядочных людей в нынешнем молодом поколении значительно меньше, чем среди сорокалетних и пятидесятилетних, и для меня это факт неоспоримый.) А это, согласитесь, очень опасно: для России всегда был характерен разрыв между интеллигенцией и простым народом, сыгравший роковую роль в революционных событиях 1917-го и послуживший причиной их; в будущем же этот разрыв грозит перерасти в пропасть непреодолимую. Да и о каком выздоровлении общества может идти речь, если его лучшая часть — творческая интеллигенция — и сама тяжело больна? Вместо объединения здоровых сил ради возрождения страны только лишь усугубляется раскол по идейным соображениям, сводятся счеты и преследуются групповые интересы. И если Вы читали в «Огоньке» стенограмму заседания последнего пленума СП РСФСР, то наверняка должны были ужаснуться — нельзя было и подумать раньше, что нынешние русские братья-писатели (и Распутин, и Белов в их числе) могли бы так опуститься, так низко пасть. Просто замечательно в двух словах (лучше и не скажешь!) охарактеризовал Юрий Кублановский нынешнее состояние России: «после нашествия!» «Вот на таком фоне разворачивается педалируемое обеими сторонами ("почвенниками" и "либералами") разделение, размежевание — вместо солидарных усилий. Страна движется к хаосу, к уголовщине, но — грызутся, грызутся "правые" — "левые", "левые" — "правые", грызутся на пепелище после нашествия» («РМ» 10.11.89).

Так что впереди — ничего радостного, и хотя по китайскому пути страна вряд ли пойдет, но и восточноевропейский путь освобождения для России пока исключен: мы — не те, нам ой как далеко до чехов, до немцев, поляков, венгров, прибалтов, гру-

зин, мы духовно разобщены и обречены еще долго топтаться на месте, и скорее всего наше развитие будет сочетать в себе и европейский, и азиатский (китайский) пути (как это уже показали события в Тбилиси, где наши же русские вояки учинили кровавое побоище). Ну, а в худшем случае, что тоже не исключено, если и в самом деле «С Россией кончено... На последях / Ее мы прогалдели, проболтали, / Пролузгали, пропили, проплевали, / Замызгали на старых площадях...», то мы обречены, и ждать нам остается только Страшного Суда.

*

Все это было, в общем, затянувшееся лирическое отступление. С Вашим журналом, Владимир Емельянович, мне посчастливилось познакомиться еще до наступления так называемой «гласности», в 1983-84 гг., когда я учился в 10-м классе ср. школы. То были №№7, 14 и 17, которые я и в более позднее время перечитывал от корки до корки.

Именно в те годы, именно Ваш журнал оказал на меня решающее влияние (т.е. на мое мировоззрение). Но, к сожалению, ни один из более поздних номеров так и не был мне доступен. И мне очень обидно, что редакция «Огонька», обругавшая Вас и Ваш журнал в прошлом году, тем не менее имеет доступ к «Континенту», в то время как я, да и тысячи других соотечественников могли бы с большим удовольствием читать Ваш «Континент», но не имеют такой возможности. Не менее обидно, что и Ваши повести и романы так и не напечатаны у нас до сих пор (мне только лишь и удалось прочитать отдельные отрывки из Вашего «Ковчега для незваных», а больше — ничего). Мне бы очень хотелось, чтобы редакция выслала сколько-нибудь номеров «Континента» за 1988-1989 гг. Знаю, что был напечатан Ваш последний роман «И Аз воздам»; очень заинтересовало меня содержание 61-го номера. Если уж совсем исключена возможность выслать мне журналы, то хоть сообщите, каким путем он распространяется в Союзе? Между прочим, журнал «Грани» с этого года распространяется по подписке, о чем была помещена информация в «Московском комсомольце»; существует ли для «Континента» такая перспектива?

Прошу Вас ответить в любом случае.
С уважением

Парфенов Филипп Александрович

5.1.90

15.1.90

Дорогой Филипп!

Я готов согласиться почти со всеми положениями Вашего письма, включая вполне справедливую критику моего интервью в «Юности». В свое оправдание могу лишь сказать, что некоторые мои более определенные высказывания были из него выпущены (к примеру, мое отношение к социализму вообще) по чисто техническим причинам: материал не вмещался в заданный размер.

Не могу принять только Ваших сравнений русского народа с другими нашими братьями по несчастью социализма.

Позволю себе процитировать Вас:

«Так что впереди — ничего радостного, и хотя по китайскому пути страна вряд ли пойдет, но и восточноевропейский путь освобождения для России пока исключен: мы — не те, нам ой как далеко до чехов, до немцев, поляков, венгров, прибалтов, грузин...»

К сожалению, это далеко не так. Наши славные грузины, еще не обрета независимости, уже отказывают в праве на самоопределение соединим народам — абхазцам и осетинам, не имеющим с ними ничего общего ни по языку, ни по культуре, ни по религии. Мало того, они успели вписать одну из позорнейших страниц в свою историю, отказав соотечественникам-месхам в праве вернуться на родину. Об их соседях армянах и азербайджанцах не говорю: здесь уже дошло до прямой войны. Вы можете возразить мне, что события эти спровоцированы все теми же злонамеренными русскими. Более чем убедительно. Тогда насколько же примитивным должно быть политическое сознание народа, поддающегося на столь вульгарные провокации.

То же самое, как это ни парадоксально, происходит и в иных «высокоцивилизованных» странах Восточной или, как ее еще на-

зывают, Центральной Европы. Не успел новый президент Чехословакии, действительно замечательный и высокогуманный человек, Вацлав Гавел призвать своих соотечественников признать национальную вину перед тремястами тысячами судетских немцев, насильственно изгнанных после войны с родных земель, в стране началась такая шовинистическая истерика, что государственному лидеру пришлось тут же отступить.

В Болгарии и того хуже. Новое правительство, во исправление преступлений Живкова, одним из первых актов постановило не только уравнивать турецкое меньшинство в правах с болгарями, но и призвать в страну тех из них, которые совсем недавно бежали в Турцию. Казалось бы, абсолютно естественный жест. В ответ толпы разъяренных болгар высыпали на улицы. И правительство (кстати, коммунистическое!) немедленно капитулировало.

Если же снова возвратиться в наши палестины, то, вспомните, стоило в высококультурной Литве польскому меньшинству подать робкий голос об автономии, как правительство, в полном соответствии с лексиконом «Памяти» заговорило о «единости и неделимости» литовской земли, «неконституционности» (видите, и незаконная еще вчера конституция пошла в ход!) польских требований и т.д., и т.п.

Уверяю Вас, дорогой Филипп, маленький империализм ничем не лучше, а порою и хуже большого.

К чести русских, хотя бы их интеллигенции, они только и делают, что перед всеми каются и готовы даже немцам, то есть обычным сельскохозяйственным колонистам, выделить отдельное государство, хотя придумали эту хитроумную небывальщину господ большевики уже после революции, даже не спрашивая у самих немцев, нужен ли им собственный губком и Совет народных комиссаров. Немецкие крестьяне, как известно, и без этих паразитов жили — дай Бог каждому русскому так жить, потому что любили и умели работать.

Со всем остальным в Вашем письме я, увы, с небольшими оговорками должен согласиться.

С искренним уважением

В.Максимов

P.S. О литературе для Вас я позабочусь.

В.М.

Нью-Йорк, 28 января 1990 г.

Уважаемая редакция,

ваш журнал всегда уделяет большое внимание взаимодействию культурной жизни эмиграции с новыми тенденциями в Советском Союзе. Поэтому мы, художники В. Комар и А. Меламид, просим опубликовать это письмо с выражением нашей искренней благодарности директору Русского музея в Ленинграде Владимиру Александровичу Гусеву.

В январе этого года, предоставив стены музея художникам эмиграции, В. Гусев проявил исключительное понимание ряда проблем, вполне естественных в столь новом деле, и, пойдя навстречу нашей просьбе, не допустил к экспозиции «Портрет Р. Регана (так у авторов письма и картины. — *Ред.*) в виде кентавра», несмотря на то, что эта наша работа в преддверии выставки была уже показана по советскому телевидению и ранее репродуцирована в ряде журналов, включая «Огонек». Так как эта картина оказалась в СССР против воли и нас — авторов, и владельца — нью-йоркского коллекционера М. Стейнхардта, решение директора Русского музея свидетельствует о появлении известных начал традиционной этики во взаимоотношениях метрополии с эмиграцией. Если холст мог быть выставлен вопреки нашей воле, то, как заметил один юрист в Москве, — в чем тогда отличие выставки у Нахамкина от «бульдозерной» выставки 1974 года, где наш автопортрет был уничтожен? В доперестроечное время насильно не выставляли, а теперь (великий прогресс) насильно выставляют. И в том и в другом случае игнорировалось личное мнение художника.

Также, пользуясь случаем, просим передать нашу признательность главному куратору галереи Инне Ламм, сумевшей подняться над ограниченными интересами своей фирмы и взявшейся передать В. А. Гусеву наше письмо и копии обращений М. Стейнхардта к Нахамкину с требованием вернуть принадлежащую ему картину. Эти и другие документы убедили администрацию Русского музея в обоснованности наших пожеланий и в неправоте Натана Бирмана, фактического хозяина галереи Нахамкина.

С наилучшими пожеланиями

Виталий Комар, Александр Меламид

Р.С. Возможно, читателям будет интересно ознакомиться и с другими письмами, ставшими частью истории, которую можно было бы назвать «История путешествия портрета Регана в Советский Союз, где он, несмотря ни на что, так и не был выставлен».

20 февраля 1990 г.

Уважаемый Владимир Емельянович!

Пишу в связи с публикацией статьи П.Хантворк. В тексте сделан ряд весьма удачных стилистических поправок. Статья — наряду с полиграфическим оформлением — выглядит более чем удачно. Но в процессе редактирования, к сожалению, допущена одна серьезная ошибка: на стр. 200 («Континент» №62) редактор поправил фразу так, что смысл ее искажен:

«Показания Данильченко... наделали им [судьям] много хлопот, но судьи предпочли отклонить эти показания».

В том-то и дело, что судьи не отклонили эти показания. Они не пожелали отклонить показания советского свидетеля ради поддержания мифа о высокой достоверности советских свидетельств. Юристы американского Бюро специальных расследований неоднократно заявляли, что ни одно советское свидетельство не было дисквалифицировано в судах свободного мира. В этом и состояли «хлопоты». Мой перевод передает мысль оригинала точнее:

«Показания Данильченко... наделали им [судьям] много хлопот, но судьи не пожелали отклонить эти показания». По-английски: «...the judges apparently felt reluctant to reject it» (*не пожелали отклонить*).

Поскольку журнал указывает автора перевода, т.е. меня, я полагаю, что по поводу этой ошибки необходимо напечатать поправку в следующем номере.

«Континент», сколько я знаю, не прибегал к таким мерам из-за отсутствия ошибок. В данном случае ошибка имеет принципиальный характер, сообщая тексту противоположный смысл. Я думаю, что Вы согласитесь со мной.

С уважением

Святослав Караванский

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

НАСТОЙ ИЗ ТРАВ И ЗАКЛИНАНИЙ

Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки трудные читать.
Б.Слуцкий

Всех писателей, и графоманов, и гениев, роднит стремление быть прочитанными. Иначе зачем брожение ума и изводить бумагу, зачем трата глаз и времени на столь странное занятие — буквенное ремесло? И каждый писатель, будь то праведник или пройдоха, страстотерпец или холуй, втайне надеется, что именно его мысль застрянет в памяти читателя.

Увы, не многое остается в решете людского любопытства...

Поводом увеличить это небольшое может служить книга Феликса Канделя «Слеза в дыму».

Писать о ней — желание рефлексивное. Но вяжет по рукам отсутствие навыка в подобном деле. И дремал бы по-прежнему на письменном столе мой допотопный, как динозавр, «Континенталь», если б критика нарушила обет молчания. Ей, критике, немота противопоказана.

Однако прежде — несколько строк о книгах Канделя, что предшествовали этой повести, а именно: «Коридор», «Первый этаж», «Люди мимоезжие». При всей их схожести они различны, как пальцы одной руки. При их различии они едины, как сжатый кулак. Или ладонь, что гладит в утешение...

Эти книги — путеводитель по стране, где общие доли и доли, коридоры и камеры; парады и парадные, где шебуршат по жизни одни и те же герои, только откликаются на разные имена.

Россия безмерна, вмещает все: простор в четыре стороны и тесноту коммуналок, живость ручья в Карпатах и омертвелую Припять, первых жаворонков на проталинах и вербные сережки над медленной водой, покинутые села и толкотню столиц; в ней обилие воздуха, но часто трудно дышать.

Здесь добро и зло в одной упряжке.

Россия всегда немного беременна очередным переворотом.

Шумит океан людей. В нем тоже пена, соленые брызги, взлеты и спад.

Россия — по Канделю — это падение без взлета?

Феликс Кандель. Слеза в дыму. Иерусалим, 1989

У Канделя нет счастливых. Хорошие и не очень, проходимцы и подвижники, в галстуках и опорках — все голодны по жалости, голодны по теплу.

Холод на дворе двадцатого века.

Книги Канделя о России — это коловорот покореженных судеб: воронки кружат человечью щепу, не спрашивая, затягивают на дно.

Там по страницам шустрит родной подворотный люд. Толпана улице торопится, скрипит суставами, держа при себе острые локти. Печально смотрят на свет старики и сизые хронические ханыги. В тени заборов светит фиксами дворовое жиганье.

Там по колдобинам колятся мимоезжие странники в поисках неведомого, чудного, храня в голове мечтанье о полном стопарике. Ищут вчерашний день...

Там по городам и весям всполохи ярости и мычание души...

Но к этому бедламу мы притерлись, принохались, освоили его. Мы здесь обросли панцирем и щетиной. Понатерли мозоли в нужных местах. Мы знаем этот мир оптом и в розницу. Нас не удивишь. Привыкли. Мы сами при случае удивить можем...

И вот — удивительная повесть.

Правда, время в ней иное, как бы древнее. Другие нравы и обычай, несхожие с нашими. Имена не теперешние, с причудой имена. Но небо над крышей то же самое, синькой крашено. И у беды тот же солоноватый привкус. И так же истошно взвизывается крик под пыткой.

От стужи, говорят, даже камни лопаются.

Кончилось у людей терпение. Плюнули всенародно на эту землю и перебрались на деревья жить. На постоянное жительство. Потому что нет покоя на земле. Захоронить место найдется, а вот житья нет. Может, деревья спасут?

Пусть сердце робкое, зато живот сохраним...

Понабили полатей меж листья, вскарабкались на верхотуру, только головы зачумелые вниз свисают.

«Ну ее к лешему, эту землю, где режут, бьют, отбирают... уж лучше голодом жить, нужду на кулак мотать, слезу слезой погонять — ну ее к лешему, ну ее!»

Это запев, разминка голоса. А впереди — притча с извлечениями из хроник.

В истории нет бесследных поступков. Каждое событие аукнется в будущем. И в каждой хронике, если приглядеться, пульсирует зародыш сегодняшних забот или завтрашней тревоги.

«Слеза в дыму» проросла на российской почве. Но притча — универсальна: она расцветет в любом климате и будет созвучна любому народу. Разве нам не знакома страна, что всем кагалом взобралась на дерево? Издалека ее видно. Только жить на высоте неудобно, а слазить боязно.

В старину считалось: трудная книга — лучшая книга.

Кандель написал трудную книгу.

Она требует напряжения лба. Притчевый стиль непривычен уху. Игра иносказаний иногда озадачивает. А язык? — из какой-то позабытой болотной области, где не говорят, а чамкают, бормочут закоптелые междометья.

Короче: она трудна ленивому мозгу.

Слишком высока планка.

Это счастье писателя — видеть красоту простых вещей и владеть словом. У Канделя строка, подобно гимнасту, воздушна и упруга. Слова выпуклые, а если порой спотыкаешься о них, так ведь лесной чащей идешь, а не по асфальту.

В притчах всегда слышен отголосок библейского ветра.

«Слеза в дыму» написана языком, каким не стыдно писать притчи.

Насыщенность такого языка требует науки, а не пафоса. Здесь нужен серьезный расклад по жердочкам филологии, с цитатами и выкладками, с поисками связей и корней, с выявлением преемственности от Лескова до Ремизова и прочей премудростью.

К сожалению, автор этих заметок данную задачу не решит. Зато он благодарен судьбе, что не утратил способности восхищаться искусством.

«Слеза в дыму» достойна того.

Кандель готов любому слову найти собрата. Слова у него в кровном родстве между собой, по закону мафии. Сплетенье их рук не разорвать. Они строят надежно и вольную фразу, и тайную метафору, и раскольничий изуверский говор.

Язык этой прозы радует глаза. В нем сочность арбуза, что с аппетитным хрустом разваливается под ножом.

А сложность этого языка природна. В старославянском слово «сложник» означало — сочинитель.

И если подсчитать, не так уж много сочинителей приходится на целый народ. Не каждый хочет на эту должность. Каторжная работа. Хребет гудит, если делаешь настоящее. Если хочешь, чтоб получился глоток живой воды. Настой из редкостных трав и колдовских заклинаний.

Исаак Шапиро

ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ АЛЛЫ ГОЛОВИНОЙ

Друзья из Европы прислали мне «Городского ангела», книгу Аллы Головиной, посмертно изданную в 1989 году в Брюсселе. При нынешнем падении интереса к поэзии, при обилии стихо-

Алла Головина. Городской ангел. Книга стихов. Брюссель, 1989.

творцев по обе стороны границы (боюсь, что эти фразы успели стать привычным рефреном в любом разговоре о стихах), у этой книги есть все шансы оказаться незамеченной. В самом деле, сколько их, книг, выпущенных эмигрантами в случайных европейских издательствах, дабы потешить свое самолюбие. Но Алла Головина, пишет мне, «была скромницей, стихов своих не издавала, показывая же друзьям, говорила, что это не ее». В то же время в автобиографической справке мы читаем: «Не хватает, как воздуха, литературных контактов, но мой интерес ко всему, что касается русской литературы и русских судеб, велик и неистребим».

Судьбы иных художников исключительны по своей безыходной пожизненной отделенности от читателя, слушателя, зрителя. Вот одна из этих судеб — участь поэта, несомненно, значительного, масштаба ее современников в России, которых постиг такой же удел отсечения от читателя едва ли не на всю жизнь: Марии Петровых, Арсения Тарковского, Семена Липкина. Эти ушли в переводы, мирясь с жизнью хотя бы тем, что она давала возможность литературных заработков. Алла Головина никогда не была даже «профессиональным литератором». Ее вторая прижизненная книга (первая вышла в 1935 году) так и не была выпущена из-за войны. В предисловии к «Городскому ангелу» профессор Эткиндр отмечает, что стихи Головиной были бы нужны именно в 30-е годы — как противовес альбомности и политизированной словесности. Вряд ли можно с этим согласиться. К середине 30-х годов, к тому времени, когда русской эмиграции как социальной общности оставались считанные годы жизни, стихи естественно отошли для нее на дальний план. Что бы ни твердил гордый поэт практичному книгопродавцу — они вообще не слишком часто бывают нужны обществу. Например, чисто по инерции, так сказать, на всякий случай, поддерживает сейчас щедрая Америка свою порядочную армию второсортных поэтов. С другой стороны, русский читатель стихов еще, несомненно, существует, иногда и сам что-то записывает в тайную тетрадку, но главное — понимает, что поэзия способна посвятить его в нечто, непостижимое иными способами. Такой читатель откроет «Городского ангела», чтобы испытать и удивление, и уважение, и восторг. Произойдет описанное полтора столетия назад Баратынским. «Как знать — душа моя окажется с душой его в сношение, и как нашел я друга в поколенья, читателя найду в потомке я».

Легко и свободно кроит поэт трудную материю русского стиха. Просветленное страдание, уверенное перо, ясная графика душевного пейзажа — вот главные ноты этого творчества, теснее всего сближающие его, пожалуй, с Ходасевичем, с поздней Ахматовой, а может быть, и с Набоковым. А отсюда прослеживается и дорожка к главному учителю — разумеется, Пушкину, которому Головина обязана не столько прямыми заимствова-

ниями, сколько общей системой ценностей. Но голос у нее при этом свой, из тех спокойных и ровных, что знатоками ценились всегда, а со временем, думается, будут цениться еще больше, коль скоро замордованного техническими и социальными революциями читателя равно отпугивает и нытье, и натужность, и поэтическая поза.

Традиционное противостояние земной жизни и небес — куда от него деваться? Видимо, это одна из основных осей творчества. Впрочем, разрешается это противостояние у каждого по-своему. Алла Головина благодарна за свет, льющийся с небес.

Откуда ж райских песен
Тишайший здесь полет?
И слезы над стихами,
Что кружат, как вино,
Откуда ж здесь дыханье
Легчайшее Твое?

И сокрушается, когда городской ангел с каменным крылом пролетает мимо, не соизволив спуститься.

Но ты очнешься неживой,
Пусть над рекой чуть слышный шорох,
И тень его скользнет на шторах
С закинутою головой —
Над грудями усталых тел,
Что звали, верили и ждали,
Он к розовой рассветной дали,
Не обернувшись, пролетел...

Ангел, любовь, смерть — эти постоянные мотивы книги сплетаются в ней в один образный клубок, становясь в известной мере тождественными друг другу. Как и в только что процитированном стихотворении, все это, к сожалению, не спасает. Ангелы на парижском мосту не останавливают самоубийц. И полно, восклицает поэт, существуют ли они, эти ангелы? Или они — только статуи с изъеденными веками? Вот одно из лучших стихотворений в книге:

Ни за что не болей и не ратуй,
Не дождешься ни зла, ни хвалы.
На мосту у изъеденных статуй
Веки каменные — тяжелы.
Не подымут ни век, ни ладоней,
А поставили благословлять,
И кому бы глядеть — благосклонней,
И кому б, наказуя, — прощать?
Но святая в массивной одежде,
В бело-сером цветочном венке,
Не вещает уже о надежде,
Не склоняется ночью к реке,

Не спасает и не отзывает.
А река глубока, глубока,
И перила легко раздвигает
На заре городская тоска...

В стихах Аллы Головиной особенно привлекает редкая по чистоте интонация. По-английски про хорошо написанный текст говорят, что он «течет», — так и интонация русского стиха, знающего толк в своих предшественниках.

И никто, наверно, не заметил,
Как я пела, огибая дом,
И как, словно спущенные петли,
Тень моя рассыпалась дождем,
Как недолго, чувствуя тревогу,
Голос мой срывался и дрожал,
Но никто не вышел на дорогу,
На земле меня не удержал.

Природная мягкость характера не позволяет Головиной выходить за строгие рамки своего мира. Пусть удивление поэта своим даром напоминает то же самое у Ходасевича — но ее рука не поднимается клеймить окружающее. Если поэт и отворачивается от него с ужасом и стыдом, то уже и не смотрит в его сторону. Отсюда кажущаяся бедность этих стихов. Но это бедность ссыльного аристократа, знающего толк в драгоценностях. Стихи Головиной на самом деле отличаются мастерски выкованной звукописью, пропитаны эхом всей истории русского стиха — и в этом их особое обаяние и внутреннее богатство. Спущенные петли заставляют вспомнить о том, как Ахматова надевала на правую руку свою знаменитую «перчатку с левой руки» или «узкую юбку, чтоб казаться еще стройней». На дорогу никто не выходит — Лермонтов? или есенинская мать в ветхом шушуне? Этого, видимо, мало для того, чтобы преодолеть человеческое одиночество, пусть и населенное городскими ангелами. Как любому поэту мало написанного до него. Вот почему он пишет собственные стихи, не только продолжая дело учителей, но и споря с ними. Пастернак уже уподоблял сердце соколу:

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе.
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку тебе.

Алла Головина, несомненно, эти строки читавшая, включает эту метафору в иной поэтический мир, который ближе к напряженно-безысходному Тютчеву, чем к живописно-шумному Пастернаку:

Бьется, бьется сердце, сокол под чеканным колпачком.
Где добыча? Взмыл высоко и кидается рывком.

Нет добычи. Если даже попадетсЯ в полутьме,
Ты ей смерти не навяжешь в клетке и кутерьме.
Промолчи, не обольщайся, взглядом небо изучи.
А потом к земле бросайся черным филином в ночи.

Эмигрантских мотивов в этой поэзии практически нет. Они появляются лишь в двух законченных стихотворениях книги.

Головина обращается к самому трагическому русскому поэту нынешнего века, чтобы сказать сыну:

Океанская глубь, океанская ширь,
Зелена и бела на бумаге Сибирь,
И коричнев Кавказ, и Кура коротка,
Опираясь на Кремль, как на два локотка.

Смотрит сонно Москва, и подвески огней
Запевают малиновым звоном у ней,

Питерсбурх, Петербург, Петроград, Ленинград,
Это летний крыловский сияющий сад.

Почему же он вечно в крови и снегу?
Я не знаю, Сережа, и знать не могу.

Ссылаясь на старшего брата по ремеслу (в этом коротком стихотворении можно отыскать не одну цитату из Мандельштама), Головина делает свой вывод. «Не знаю и знать не могу» — вот ее ответ на безумства века. (Впрочем, все не так просто — только пережив или предчувствуя братание между германским диктатором и «кремлевским горцем», можно обратить внимание на коричневый цвет Кавказа на географической карте.) А между тем в стороне от этих безумств, в оккупированном ли Брюсселе, на эмигрантских ли посиделках в послевоенном Париже или в благополучном доме в трудолюбивой стране, продолжались и жгли те же тревога и скорбь, которые не зависят от случайностей географии и истории. У череды земных поколений — одинаково устроенное сердце, одинаково отлетающая душа. Алла Головина, видимо, хорошо осознавала, что слишком многое вокруг преходяще, и оставляла его заботам политиков, публицистов, в лучшем случае — прозаиков. Жизнь, в ее понимании, есть вечная молитва о спасении души и успокоении сердца.

Пылало сердце, платье прожигая.
И вот на ткани — темное пятно.
Душа летит и падает нагая,
От сна восстав, в разбитое окно.
Она разбужена, когда крыло истлело,
Весь мир в дыму задохся и завял,
Она с балкона в облака слетела
Растянутых толпою одеял.
Она встает, не чувствуя бессилья,
Она вдыхает городскую пыль.

Уже стихов серебряный костыль
Ей режет опадающие крылья.
Прикрыв рукой ослепшие глаза,
Она кричит, вещая о пожаре,
Она спешит о смерти рассказать
И птицам перья стынувшие дарит.
Но шло землей медлительное лето,
И сквозь земной невыносимый зной
Вставало сердце солнцем сквозь запреты
Гореть и звать библейской купинной.

Свой одинокий подвиг это сердце совершило достойно, и теперь дело нас, читателей, ответить поэту запоздалой благодарностью за чистоту духа, за верность той струне в тумане, которая направляла эту жизнь, и дрожь которой теперь по наследству достается нам.

Бахыт Кенжеев

ЛИШНИЕ ДЕТИ

В последнее время мы все больше перестаем делить русскую литературу на советскую и зарубежную. В московских журналах печатаются Войнович, Аксенов, Солженицын, Максимов, Коржавин, Бродский. После долгого изгнания на родину вернулись их произведения. Советское телевидение в литературно-публицистических передачах постоянно использует тему возвращения в прошлом запрещенных имен. В то же время наметилась и обратная тенденция: все больший интерес проявляет Запад к советской литературе. В зарубежных русских журналах чаще стали появляться произведения советских авторов. Происходит постепенное воссоединение двух литературных процессов, идущих одновременно в СССР и в русском зарубежье. Литературная критика также уже почти не разделяет авторов по прописочным адресам.

Книга, которая лежит передо мной, необычна для отдела критики «Континента». Книга для учителей и родителей, вышедшая в Москве в издательстве «Просвещение», адресована автором, детским врачом-психиатром, прежде всего тем, кто имеет отношение к воспитанию детей. Создается впечатление, что она может заинтересовать очень узкий круг читателей. Несколько мешает язык автора. Книга написана, вероятно, в ранний период гласности, поэтому заметна некоторая осторожность автора в выборе наиболее нейтральных высказываний, традиционные

М. Буянов, Ребенок из неблагополучной семьи. Записки детского психиатра. Москва, «Просвещение», 1988.

для застойного времени постоянные примеры социального неблагополучия США, Канады, Англии и других развитых стран. Некоторое замешательство вызывают также декларативные призывы автора покончить с «зеленым змием» и хвалебные отзывы в адрес антиалкогольной кампании, в разгар которой, по видимому, писалась книга.

Но надо преодолеть несколько страниц, постараться не заметить нравоучительного тона, принять некоторую дидактичность автора. В целом книга написана в научно-популярном жанре, который делает ее доступной читателю, далекому от психиатрии. Автор рассказывает о психологических состояниях и психических расстройствах, возникающих у ребенка, живущего в неблагополучной семье, на материале конкретных примеров, взятых из своего врачебного опыта. Серьезность темы, затронутой автором, заставляет задуматься не только о проблемах психиатрии, но и над некоторыми социальными проблемами Советского Союза. Ведь эта книга не исчерпывается случаями из врачебной практики М. Буянова, она наводит на размышления о положении ребенка в СССР. Сегодня эта тема чрезвычайно важна: ведь сегодня, можно сказать, над советскими детьми нависла угроза уничтожения. Для детей Белоруссии, Армении, Азербайджана она стала уже реальностью в буквальном смысле. Рождаются в Белоруссии дети-уроды (последствия Чернобыльской катастрофы), переполнены больницы Минска детьми с неизлечимыми заболеваниями кровеносной системы, полученными в результате радиоактивного облучения. Лишены полноценной медицинской помощи армянские дети — жертвы землетрясения. А сколько погибло их в волне национальной резни, захлестнувшей армянский и азербайджанский народы! А маленькие рабы Средней Азии! Только недавно открыто заговорили о бессовестной эксплуатации детей на уборке хлопка в Узбекистане, об отсутствии не то что нормальных условий жизни, а самого примитивного медицинского обслуживания, о нехватке питьевой воды и продовольствия. Процент детской смертности в Средней Азии достигает уровня самых слаборазвитых стран. Да и в центре страны — Москве, Ленинграде — далеко не все благополучно: и в медицине, и в питании, и в воспитании. Словом, «счастливое детство» советских детей — сегодня выражение более чем сомнительное. Лозунг застойных лет, который висел во всех пионерских лагерях: «Спасибо партии за наше счастливое детство!» — в наши дни звучит как жестокая насмешка и цинизм.

Отходя немного в сторону от проблем психиатрии, М. Буянов делает некоторые социальные обобщения. Чтобы были благополучны дети, справедливо считает автор, надо, чтобы благополучны были их родители. По этой формуле из социального неблагополучия вытекает покалеченное детство. Действительность полна аномалий в экономике, воспитании, социальной справедливости, которые приводят к смятению в душах подрастающего поколения и делают «одних — ожесточившимися анархистами, других — готовыми на любую гадость умниками, тре-

тых — равнодушными исполнителями», — к такому выводу приходит М. Буянов. В его книге мы находим многочисленные примеры того, как болезни социальные неизбежно порождают болезни биологические. Немало страниц автор посвящает теме алкоголизма. Действительно, сегодня эта проблема в СССР стоит как никогда остро. Самое страшное, что врачи констатируют значительный рост рождаемости умственно отсталых детей-олигофренов, все больше открывается специальных учреждений для детей с аномалиями развития. В большинстве случаев виною алкоголизм родителей, одна из самых тяжелых социальных болезней.

М. Буянов находит свое решение проблемы алкоголизма в СССР. Он считает, что нужно полностью прекратить продажу алкоголя в магазинах; ведь пока есть водка, есть предрасположение к пьянству. Это мнение автора спорно. На сегодняшний день можно говорить о провале антиалкогольной кампании в Советском Союзе: пить стали даже больше, хотя достать алкоголь достаточно трудно, все перешли на самогон, в результате чего проблема еще усугубилась, а государство понесло убытки. Виноват не сам алкоголь, как показывает опыт развитых стран, где нет ни малейших ограничений на его продажу, а то, что, кроме него, нечем заполнить образовавшийся духовный вакуум.

Еще один пример возникновения биологических болезней из социального неблагополучия, о котором пишет автор, — детские дома и приюты. Самое страшное, что в них все больше становится не сирот, а брошенных, никому не нужных детей, чьи матери просто отказались от собственного ребенка. Отсутствие материнского тепла с грудного возраста в ряде случаев приводит к патологическому развитию детской психики. М. Буянов описывает некоторые из своих встреч с детьми из детских домов. Опять-таки почему их так много — нежеланных, никому не нужных, лишних детей? Одна из причин — отсутствие противозачаточных средств, медицинская невежественность, отсталость полового воспитания.

Да и в полноценных семьях зачастую дети растут заброшенными. Где те грань, которая отделяет внешне благополучную семью от неблагополучной для ребенка семьи? Дефекты воспитания, считает М. Буянов, — это и есть первейший и главнейший показатель неблагополучия семьи. Они в большинстве случаев порождают душевные аномалии. Неблагополучные общественные отношения через семью оказывают воздействие на ребенка. Чтобы семья была благополучна, нужно, прежде всего, усовершенствовать общественный механизм. Этот вывод автора чрезвычайно важен. Несмотря на некоторую скованность М. Буянова в высказываниях по поводу улучшения общественных отношений и на выражения чрезмерного восторга по поводу новой политики КПСС, несомненна заслуга автора в том, что он одним из первых в СССР задумался о проблеме детства: еще в застойные времена он подготовил к публикации свои очерки о неблагопо-

лучных детях. В 1987 году, как рассказывает М.Буянов в своей книге, очерки напечатать не удалось, слишком уж тяжелым оказывалось положение, которое описывал автор в них. Хотя с опозданием, но очерки М.Буянова опубликованы. И, несмотря на то, что книга может показаться кому-то устаревшей, она чрезвычайно важна для советского читателя как начало разговора о том клубке проблем, который представляют собой вопросы воспитания в Советском Союзе.

Ольга Миронова

ПРИШЕДШИЙСЯ КО ДВОРУ

«Писатель должен всегда заботиться о чести собственного писательского имени и быть готовым ответить за каждое написанное им слово».

Валентин Пикуль

В прошлом году московским издательством «Современник» завершен выпуск четырехтомника избранных произведений исторического романиста Валентина Пикуля — тиражом 250 тысяч. Отдельным же изданиям его романов — и тоже шестизначными тиражами — потерян счет. В чем причина того, что этот писатель так пришелся ко двору в Советском Союзе, чем вызван такой феноменальный успех — и у издателей, и у читателей?

С легкой руки Валентина Саввича Пикуля лет пятнадцать-двадцать назад на нашей родине сделался модным литературный жанр, обозначаемый термин «роман-хроника». На первый взгляд, жанр весьма обязывающий, если речь идет о произведениях на историческую тему. В действительности — совсем наоборот: с одной стороны, причисление к жанру романа позволяет не слишком считаться с реальными фактами истории, ходом и подоплекой исторических событий; с другой — определение «хроника» как бы заранее отводит любой упрек в нехудожественности.

И сверх того, привлекательность «романа-хроники» для его автора в том, что он не слишком трудоемок: дает возможность целыми страницами переписывать (быть может, слегка перефразируя) чужие описания, высказывания, диалоги, не опасаясь обвинения в плагиате; а наряду с этим — кое-что лукаво переиначивать, тенденциозно комментировать. Это делает данный жанр прямо-таки незаменимым для советских лизоблюдов, позволяя им безопасно касаться наиболее щекотливых и «спорных» вопросов отечественной истории, недавних табу, поднимать чуть ли не историческую целину, толкуя события, поступки и высказывания реально существовавших людей в искаженном, не свойственном им, порой — густо просоветском духе. Писатели, так сказать,

улучшают историю. Улучшают — в понимании своих хозяев. Один из последних — и очень характерных — примеров: роман-хроника (конечно же, «роман-хроника»! — так и значится на титульном листе) некоего Валентина Лаврова под названием «Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции». Этот без малого 400-страничный том выпущен в свет в 1989 году московским издательством «Молодая гвардия» (разумеется, тоже солидным тиражом — 150 тыс.). В нем грубо искаженно рисуется более чем тридцатилетний эмигрантский период жизни великого русского писателя. Достаточно сказать, что В.Лавров (не поворачивается язык назвать его автором; скорее составитель, компилятор) не гнушается переделкой высказываний самого Бунина и окружающих его лиц, дабы представить их более лояльными советскому режиму, чем это было в действительности*.

Вернемся, однако, к Пикулю. Рецептура его писаний — или, как принято говорить, «творческая лаборатория» — несложна: обладая невероятной усидчивостью, он, по свидетельству советской прессы, изо дня в день проводит за письменным столом по 10-15 часов**, — конечно, не пишет очередной роман все пятнадцать часов подряд, это было бы уму непостижимо, но — штудирует литературу, в частности, мемуарную, делает заметки и выписки. Докапывается иногда до мельчайших деталей, даже когда дело касается не главных героев его будущего произведения, а сугубо второстепенных. А потом — перетолковывая эти детали, кое-что добавляя от себя, кое-что затушевывая, «нюансируя», исподволь, вроде бы небольшими дозами, внушает читателям ортодоксальную советскую точку зрения, трактует уже и крупные исторические события в угодном «партии и правительству» смысле.

В прошлом военный моряк, он в своих произведениях уделяет немало внимания императорскому военно-морскому флоту. В 1988 году Государственную премию РСФСР имени Горького получил его слабенький роман «Крейсера» из времен русско-японской войны (1904-1905). Я же хочу продемонстрировать «творческую лабораторию» Пикуля на примере другого, более давнего, но постоянно переиздаваемого в СССР романа «Моонзунд», написанного в 1970 году и посвященного событиям 1915-1917 гг. Почему?

* Произведение В.Лаврова и его литературно-политические приемы подробно рассмотрены мной в статье «Монтаж» («Новое русское слово», 16-17 сентября 1989).

** Честь собственного имени. Диалог писателя Валентина Пикуля и критика Сергея Журавлева. — «Наш современник», 1989, № 2.

Во-первых, потому, что в качестве одного из второстепенных персонажей Пикуль «вывел» в романе моего отца Алексея Михайловича Косинского, боевого офицера императорского флота, командира эскадренного миноносца «Забияка», — и на соответствующих страницах «Моонзунда» мне легче, чем кому бы то ни было, разграничить правду и ложь. Во-вторых — и это главное, — чем ближе к семнадцатому году, тем больше фальсификаций и мелкой, но тоже не безобидной и не случайной фальши содержат, по понятным причинам, произведения Пикуля.

Оговорюсь, что в какой-то степени наша семья должна бы быть даже благодарна этому писателю: впервые за советские десятилетия он печатно произнес несколько добрых слов о А.М.Косинском, закончившем свой жизненный путь в Соловецком концлагере в феврале 1930 года, в возрасте всего лишь пятидесяти лет. Но чувство благодарности уступает место недоумению и возмущению, когда познакомишься с эпизодами «Моонзунда», в которых фигурирует, по воле романиста, мой отец.

Что знает о нем Пикуль? Естественно, мимо внимания писателя не прошла книга А.М.Косинского «Моонзундская операция Балтийского флота», вышедшая в Ленинграде, в издании Военно-морской академии (1928). Эту книгу В.Пикуль использует и даже цитирует в своем романе, называя при этом моего отца «очевидцем» событий, т.е. ошибочно считая, что тот принимал участие в данной боевой операции, относящейся к сентябрю-октябрю 1917 года. Между тем, мой отец еще летом сдал командование «Забиякой», вполне справедливо полагая, что крепнущая власть образовавшихся на кораблях «судовых комитетов» не дает возможности командиру корабля впредь должным образом исполнять свои обязанности, тем более в условиях продолжающейся войны.

Живописуя Моонзундское сражение, Пикуль приводит такой эпизод:

«От Рогокюля уже спешили эсминцы "Новик", "Изяслав", "Забияка" и "Гром". С мостика "Забияки", отчаянно картавя, адмирала Старка вопрошал кавторанг Косинский:

— Мои мат'осы 'вутся в с'ажение. Дайте нам дело!».

В этом эпизоде — весь Пикуль. Мой отец действительно картавил (только, может быть, не «отчаянно»), это не выдуманная, а выисканная где-то романистом деталь; но на одну верную подробность приходится две неверных: во-первых, как я уже упомянул, А.М.Косинский не участвовал в Моонзундской операции, а во-вторых — Пикуль делает его «кавторангом», т.е. капитаном 2-го ранга, а не 1-го, каковым мой отец стал еще в 1916 году.

Первое же появление моего отца в романе связано с объявлением офицерам «приказа по флоту» (1915), коим, в связи со вспышкой бунта на линкоре «Гангут», «строго воспрещалось рукоприкладство и брань по отношению к матросам: офицерам советовали входить в нужды подчиненных, не отгораживать кают-компании от кубриков, терпеливо разъяснять матросам текущие события в мире и на флоте».

Мой отец не принадлежал к тем свирепым флотским командирам, которые своими придирками, часто несправедливыми, а то и рукоприкладством озлобили многие матросские души задолго до 17-го года. Но Пикуль впадает в другую крайность, рисуя А.М.Косинского офицером недисциплинированным, слабонервным, чуть ли не истеричным. Колчак, читаем в романе, «собрал у себя командиров и старших офицеров Минной дивизии», чтобы пояснить важность приказа. Это вызвало, по Пикулью, истерически-негодующую реакцию моего отца, который «поднялся во весь рост, словно распрямленная пружина», и произнес «звеняще» такую косноязычную тираду:

«— Я не помню этой чепухи... Я родился и вырос в семье педагогов, где идеи Ушинского и Водовозова были сродни мне с детства. Довольно-таки стыдно, господа, что после славной истории русского флота, на втором году ужасной войны мы должны выслушивать подобные приказы, в которых нам столь премудро советуют не бить матроса по морде.

— Я, кажется, уже предупредил собрание, — недовольно заметил Колчак, — чтобы обсуждений приказа не было.

— Это не обсуждение, — отвечал Косинский, — это возмущение!»

Еще один эпизод. В январе 1916 года «Забияка» подорвался на mine, сорванной с якоря и плававшей по воле ветра и течения. Мина была замечена с корабля, «Забияка» отвернул, нос корабля прошел благополучно, однако корму забросило на повороте, и мина взорвалась у кормы. На миноносце погибло 12 человек, еще 9 было ранено. Повреждения оказались серьезными (корпус корабля был распорот на протяжении нескольких метров, но современными решительными мерами доступ воды удалось ограничить) и потребовали длительного ремонта в сухом доке в Ревеле.

На войне как на войне. Для моего отца это была уже вторая война: первой была русско-японская — он участвовал в обороне Порт-Артура и накануне сдачи крепости прорвался из нее на своем миноносце «Статный», спасая от попадания в руки врага знамена порт-артурских полков, Квантунского гвардейского экипажа, другие воинские святыни и штабные документы. Но Пикуль, упомянув неудачу, постигшую «Забияку», выстраивает вовсе уж плаксивый вывод: он заставляет его командира «горько рыдать» за столом в кают-компании. При этом Пикулью представляется, что дворянин и офицер, выросший в либеральной семье, должен во всеулышание жалобно причитать сквозь рыдания, наподобие деревенской плакальщицы, по поводу потерь, понесенных в боевой обстановке:

— Двенадцать человек... как слизнуло. Спали вместе. На румпельных моторах. Там тепло. Ну, мне теперь похоронные писать. Где я найду слова для этих баб? Для м а т о к, для вдов? За веру, за царя, за отечество... Но так же нельзя! Это не слова... профанация!

Изображая моего отца такими жалкими красками, Пикуль, в его понимании, рисует доброго офицера, противопоставляя его злым: адмиралу Колчаку, адмиралу Вирену... Для вице-адмирала Вирена, губернатора Кронштадта, зверски убитого революционной матросней в дни Февральской революции, Пикуль вообще не находит иных слов, кроме как «лютый царский опричник», «сатрап» и т.п. Военно-морскую крепость Кронштадт он, согласно «роману-хронике», превратил в «город-тюрьму», до такой степени, что «дамы — при виде Вирена — спешили переждать его проезд в подворотне, чтобы не нарваться на оскорбление. Зато свободно шлындрали, бесстрашны и ненаказуемы, кронштадтские проститутки».

Известие, что 1 марта (1917) кронштадтские матросы вознамерились митинговать (невиданное дело в военно-морском флоте, да еще во время войны), естественно, ошеломило боевого адмирала. Пикуль со свойственным ему многословием и дешевой образностью выражает чувства, обуревавшие Вирена, фразой: «Как осатанелый от службы матрос драит суконкой медяшку, так и адмирал Вирен — с таким же остервенением — надраивал свое сердце лютейшей злобой к завтрашнему митингу».

Завершается весь этот бред садистским описанием убийства адмирала:

«На остриях штыков, испутив дикий вой, Вирен взвился высоко над людьми. Теперь его видели все — даже из самых последних рядов. Он висел на штыках. Он скреб их пальцами, которые скользили по мокрым от крови лезвиям».

О Колчаке в «Моонзунде» сказано следующее:

«Во веки веков адмирал Колчак останется памятен как враг народа — самый опасный, самый коварный и самый сильный... Если бы Колчак занимался только тактикой и только гидрографией, он мог бы принести большую пользу своему народу. Многие его товарищи служили в советском флоте, воссоздавая его, усиливая и совершенствуя, и умерли в высоких чинах и всенародном почете».

«Многие товарищи Колчака»? И среди них — уж не Косинский ли? Да, и Косинский, бесстыдно дает понять Пикуль:

«А.М.Косинский в советское время, — сообщает он читателю, — занимался педагогической работой в Ленинграде, автор трудов по истории русского флота». И жульнически ставит на этом точку. Получается у него вполне благостно: революция умеет казнить, но и миловать, безошибочно-де различает «врагов народа» и его друзей...

Но и здесь Пикуль выстраивает зловредный миф. Потому что в августе 1929 года, успев написать единственный «труд по истории русского флота» — тот самый, о Моонзундской операции, — мой отец был арестован ГПУ, а в феврале 1930-го, как уже сказано, погиб на Соловках. Советская власть признала его невиновным почти 30 лет спустя — появилась на свет бумажка о смертной реабилитации. Уверен, что такие же бумажки получи-

ли родные «многих товарищей Колчака», имевших несчастье остаться после октябрьского переворота в советской России.

Так что, приводя выше пример мелких пикулевских аббераций (на один факт, соответствующий действительности, — два неверных) и сопроводив его замечанием, что в этом, дескать, весь Пикуль, я, должно быть, несколько поторопился: его творческая манера предполагает не только небрежное обращение с фактами, но и сознательную, злостную фальсификацию. В конечном счете, все его мелкие передержки вырастают в крупные, позволяющие говорить о тенденциозном, продуманном искажении российской предреволюционной истории.

Сама Моонзундская операция расценивается им двояко — как цепь героических и успешных действий революционного (сильно большевизированного, по Пикулью*, а в действительности — находившегося к осени 1917 года под влиянием анархистов и эсеров) флота и в то же время как неудача сухопутных сил:

«Флот не пропустил врага на Кассарский плес.

Но зато армия пропустила врага к Орисарской дамбе».

В полном противоречии с такой (принятой вообще в советской историографии) оценкой Моонзундской операции флота как в целом успешной для русской стороны — она, дескать, не позволила немцам «создать исходные позиции для удара по революционному Петрограду», — А.М.Косинский в книге о Моонзунде высказывает такое суждение:

«Моонзундская операция была закончена немцами удачно, и это имело громадное значение для дальнейшего хода войны. Фланг нашей сухопутной армии оказался обнаженным, и ей пришлось думать уже не об удержании неприятеля, а лишь о собственном спасении, так как, с занятием Ревеля, неприятель выходил ей в тыл, если бы она своевременно не отступила; а занятие Ревеля для неприятеля значительно облегчалось вытеснением нас с Моонзунда».

При этом он прямо называет причины поражения: разложение, распад как сухопутной армии, так и флота вследствие воцарения в них революционных порядков. Он не скрывает, что падение дисциплины привело не только к падению боеспособности, но и попросту к потере человеческого облика частью солдат и матросов, употребляя при этом точное и беспощадное слово: *о з в е р е н и е*. «Революционный подъем», красочно расписываемый Пикулем, в книге моего отца выглядит чистойшей фикцией: «Недоверие команд к офицерам и даже друг к другу, стремление большинства только к собственному спасению,

* «За рубежами Моонзунда, — с изумительной наглостью вещает Пикуль, — открывалась новая революция — ленинская, и корабли шли в бой за нее, только за нее!»

полный упадок дисциплины — выступают ярким пятном на фоне громких резолюций и того якобы подъема, которым характеризовалось настроение наших армий летом 1917-го года».

Офицеры императорского флота, в большинстве своем убежденные монархисты (это в полной мере относится и к моему отцу, выросшему в семье либеральных интеллигентов), были, за редчайшим исключением, аполитичны в том смысле, что вовсе не интересовались мельтешением политических партий, безразлично, левых или правых. Но Пикуль изображает офицерскую среду иной: «золотопогонники», оказывается, уже в 1914-1915 гг. более всего взволнованы и озабочены влиянием большевиков на матросскую массу, опасно дававшим себя знать якобы с первых же месяцев мировой войны и неуклонно возрастающим. Действительность выглядела совсем по-другому: в 1914 или 1915 году (да и в 1916-м тоже) большевистской партии, сильно поредевшей, ослабленной эффективными полицейскими репрессиями, подрываемой изнутри многочисленными провокаторами, лишившейся думской трибуны и отсиживавшейся в глубоком подполье, было не до жиру: впору было думать о том, как бы сохраниться, уцелеть от полного разгрома, пережить лихолетье. Однако это не смущает нашего фальсификатора: с бросающейся в глаза настойчивостью он вводит в ткань своего «романа-хроники» эпизоды, в которых проявляется мифическое беспокойство флотского офицерства из-за растущей не по дням, а по часам роли большевиков в «подготовке революции».

Вот адмирал Эссен, командующий Балтийским флотом, в первые же месяцы войны (и на первых же страницах романа) сокрушенно делится со своими флаг-офицерами (адъютантами) Колчаком и Ренгартемом:

«С началом войны мы призвали из запаса рабочих, хотя и знали, что они принесут на флот бациллу большевизма*. Устранить же с кораблей этот опасный элемент мы не в состоянии, ибо хлебоборобы флоту не нужны — серое быдло покорно, зато и неразвито. А современная техника нуждается исключительно в грамотных матросах».

Зараженная большевизмом часть матросов, внушает читателю Пикуль, к тому же и воюет лучше других: большевики, дескать, — люди не только наиболее грамотные и развитые, но и самые бесстрашные в бою и самые ярые патриоты России. Автор «романа-хроники» приводит такой вымышленный им (и отнесенный тоже к первым месяцам войны) разговор двух флотских офицеров — Колчака (тогда — капитана 1-го ранга) и старшего лейтенанта Артеньева:

* Самого этого слова Н.О.Эссену, умершему в мае 1915 года, узнать, слава Богу, не довелось — но что до этого Пикулью!

«Присмотритесь внимательнее к каждому... бунту против засилья немчуры на флоте, и вы отчетливо разглядите в них явную большевистскую подоплеку». Это говорит Колчак; его устами, как видим, заранее дается отпор «злостным буржуазным выдумкам» лета семнадцатого года. Большевики, два года спустя совершившие в России государственный переворот — на деньги германского генштаба — и выведшие ее из войны с Германией, безусловно, нуждаются в таком обелении — только пусть бы уж Пикуль свидетельствовал в их пользу от себя, а не делал свидетелями защиты Колчака и его собеседника!

Продолжу эту бесподобную цитату:

«— Я не политик, — сказал на это Артеньев. — Но, как я слышал от людей сведущих, большевики вообще против этой войны, которую они называют империалистической».

— Верно. И они проводят свою политику хитро. Матросы-большевики воюют как раз хорошо. Они, как правило, на отличном счету у начальства. В каком-нибудь георгиевском кавалере, который «ест» вас глазами, трудно разглядеть замаскированного ленинца».

Вот читатель и проглотил двойную наживку: двойную потому, что не только большевики оказываются самыми что ни на есть самоотверженными патриотами, живота своего не щадящими за Россию, и георгиевскими кавалерами, но и с именем Ленина их патриотизм увязан. Того самого Ленина, что как раз в это время, отсиживаясь в далекой Швейцарии, на все корки разносит проклятых «оборонцев», изменников делу мировой революции, что сочли своим долгом защищать реакционную родину в начавшейся войне с немцами. Опять же замечу — в 1915 году вовсе не была известна эта одиозная фамилия Колчаку, не ведал он и термина «ленинец». Так постоит, уж не выходит ли пикулевская фальсификация даже не двойной, а т р о й н о й ?

Назойливые напоминания о большевизме, марксизме вообще весьма густо рассыпаны по страницам «романа-хроники». Прежде всего — страшно опасаются призрака вездесущего и всепроникающего марксизма высшие чины флота; право же, нет у них, кажется, других забот: «Адмиралы понимали (и это понимание пришло к ним то ли в первую, то ли, самое позднее, во вторую военную зиму. — И.К.), что запертый во льдах флот, лишенный с войною заграничных плаваний, которые всегда отвлекали матроса от нужд общественных (?!), — такой флот способен в тягостные зимние вечера засесть за марксизм».

Вот ведь как — и у матросов иных забот нет...

Февральская революция, по Пикулю, — дело рук, естественно, тоже большевиков, результат их агитации:

«[Хлебные] хвосты превращались в митинги. Изысканный нюх жандармов точно установил, что выкрики голодных идейно смыкаются с призывами большевистских прокламаций».

Подобными передержками, фальсификациями, анахронизмами наполнен весь этот «хроникальный» роман. Едва успела произойти Февральская революция, как Дыбенко на заседании Гельсингфорского совета грозит присутствующим: «Вот скоро

вернется из эмиграции товарищ Ульянов-Ленин, он всем нам порядок устроит».

«Товарищ Ульянов-Ленин» в тот момент сам еще не знал, удастся ли ему вернуться в Россию из Швейцарии. Да и... опять же — было ли в те дни вообще известно матросу Дыбенке это имя?

Разумеется, не может Пикуль не внести свою лепту — в качестве того же большевистского адвоката, — когда заходит речь о позорном эпизоде лета 1917-го — июльском вооруженном мятеже, поднятом большевиками. Мятаж, как известно, провалился, поэтому в советской историографии принято считать, что его как бы и не было. Пикуль и здесь послушен воле своих партийных хозяев. У него большевистская головка только тем и занята в те дни, что отговаривает «массы» братья за оружие.

На следующей странице — такая идиллическая картинка: прибывающих из Кронштадта вооруженных матросов прямо на Английской набережной в Петрограде «встречали большевики, предупреждая: "Не стрелять, товарищи! Демонстрировать мирно"».

И к большевистскому штабу — бывшему дворцу Кшесинской на Петроградской стороне — двинулись матросы не для того, чтобы их там еще больше раззадорили, а лишь чтобы выслушать, уверяет Пикуль, ленинское увещевание: «Его речь — два слова, не больше. Никаких программ. Никаких призывов к свержению. И мы пошли дальше (на самом деле — повернули в обратную сторону, к Невскому, к Таврическому дворцу — «брать власть вооруженной рукой». — И.К.). Он тогда словно предчувствовал, что ждет Балтику впереди, и — стойкость, выдержка, вера! — лишь к этому он призывал».

А с началом осени уже и боевые флотские офицеры, командиры кораблей не видели перед собой другой цели, кроме как служить большевикам (хотя до государственного переворота оставалось еще два месяца), — выходит, мой отец, не пожелавший подчиняться «судовым комитетам», был белой вороной среди изменников присяге?

«Оповестите команду, — говорит у Пикуля своему «комиссару» капитан 1-го ранга Антонов, командир линкора «Слава», — что я, старый русский офицер, не отказываюсь от контакта с большевиками».

«Красные стеньговые флаги, которым суждено реинкарнировать в знамена революции, клопочут над мачтами "Славы"... Сама история партии писалась сейчас в наклонении кораблей к цели, в бурном разбеге кильватерных струй... Партия Ленина дала свой п е р в ы й бой на море!» — восклицает в фальшивом восторге Пикуль.

Вот за это и издают в Советском Союзе без конца его исторически сомнительные, литературно несостоятельные, написанные на редкость скверным языком «романы». Советская пресса подхалимски именуется Пикуля «писателем с мировым именем». Даже «побывать у него дома стало сегодня престижно».

«Престижно» — простите, для кого?

Остается ответить на вопрос: чем же объясняется, при сих качествах произведений Валентина Пикуля, их фантастическая популярность в СССР?

Советский читатель привык к фальсифицированной истории отечества и другой не знает. В то же время, по естественному человеческому свойству, его не могут не привлекать те страницы и те стороны российского прошлого, которые до сих пор остаются полузапрещенными. А таких — несчетное число.

Десятилетия господства «единомыслия», засилья госбезопасности и чудовищной цензуры привели к тому, что отечественная история изобилует «белыми пятнами». Ни историкам, ни литераторам не вольно было касаться множества событий и имен — от Колчака до Флоренского, от Зиновьева до Власова. Уже эти четыре имени — столь разные и далекие друг от друга — позволяют понять, что запрет был наложен на тысячи и тысячи дат, биографий, исторических событий и эпизодов.

Некоторые — впрочем, немногие — ограничения, считавшиеся до того абсолютными, были сняты или смягчены в короткий период хрущевской «оттепели» — и в образовавшийся просвет ринулись не историки (что им было там делать? — архивы на нашей родине продолжали оставаться за семью печатями!), а второстепенные литераторы, эксплуатирующие понятный читательский, обывательский интерес к запретному и полузапретному.

Среди этих писателей первое место по плодовитости принадлежит, бесспорно, Пикулю. Со свойственным ему многословием он расписывает «тайны императорского двора», «освещает» разные закулисные истории, быт дворянства и «офицерской касты» начала века, касается, по его выражению, «потаенных пружин» истории, уделяет много внимания тому, как говорили, как одевались, что ели в сытой царской России — все интересно современному читателю! Любознательный современник ищет в романе, именуемом историческим, новые для себя имена, по крохам правды, там и сям попадающимся у любого, даже самого густопово-советского литератора, надеется составить собственное, отличающееся от надоевшего плакатного, представление о безвозвратно канувшей в прошлое эпохе, об исторических фигурах, эпизодах и идеалах прошлого.

А многие углубляются в романы о прежних временах, чтобы хоть ненадолго забыть о мрачных сегодняшних подсоветских буднях.

Отсюда и проистекает исключительная и незаслуженная популярность таких авторов псевдоисторических романов, как Георгий Марков, Аркадий Васильев или Василий Ардаматский. В этот весьма сомнительный во всех отношениях ряд отлично вписывается и Валентин Пикуль.

Иосиф Косинский

КОРОТКО О КНИГАХ

Samuel Willenberg

SURVIVING TREBLINKA

Basil Blackwill in association with the Institute for Polish-Jewish Studies, Oxford, 1989.

(Самуэль Вилленберг. Пережитое в Треблинке
Базиль Блэквилл при содействии Института
польско-еврейских исследований, Оксфорд, 1989).

Когда читаешь воспоминания бывшего узника Треблинки Самуэля Вилленберга, невольно воскресают в памяти картины советского ГУЛАГа. Злоба, ненависть, подлость, коварство не имеют национального лица, они — интернациональны.

Картины жизни и отношений между людьми в ГУЛАГе во многом подобны тому, что имело место в гитлеровских лагерях смерти. Однако практика душегубства фюрера превзошла «успехи» его восточных учителей небывалым разгулом смертоубийств, ожидавших узников на каждом шагу.

С. Вилленберг, как и все, пережившие ад лагерей смерти, испытал весь кошмар Катастрофы. Его обстоятельные описания быта и взаимоотношений между узниками, а также палачами и жертвами следует отнести к редким свидетельствам такого рода.

Душевные переживания и волнения участников трагедии, бесчеловечность палачей и садизм мучителей, безвыходность и отчаяние жертв и, наконец, смелость и героизм людей, отчаявшихся на вооруженное восстание, — главные стержни воспоминаний, увлекающие читателя. Как сказал другой бывший узник Треблинки Самуэль Райзман:

«Для изображения Катастрофы не нужно обладать большим воображением. Достаточно описать действительность такой, какой она была. Она была настолько вопиющей, что факты превосходят всякое воображение».

Слова эти — своего рода завещание пишущим о Катастрофе: передавать действительность такой, как она была; изображать то, что порой может выглядеть предосудительным для рассказчика и для его товарищей; быть свидетелем истины перед Богом, перед историей и перед своей совестью.

Для того, чтобы ужас и бесчеловечность Катастрофы, а также других геноцидов никогда не повторились, потомки должны знать правду без прикрас, преувеличений и искажений. Только такая правда может быть полезна для грядущих поколений.

Воспоминания С. Вилленберга правдивы и искренни, однако некоторые детали его повествования вызывают недоумение. Попробую объяснить.

11 октября 1945 г. С.Вилленберг рассказал свою историю работникам Еврейского исторического института. Эта история, записанная в Кракове, хранится в польском архиве в Варшаве под номером AZIH 301/1134. В упомянутом документе С.Вилленберг так описывает свое прибытие в Трешлинку:

«С лязгом отворилась дверь, перед которой стояли евреи — рабочие лагеря с немецкими повязками на руках; плетьюми, кольями выгоняли нас из вагонов».

В изданных же в 1989 г. воспоминаниях С.Вилленберг описывает это совсем иначе:

«Поезд остановился. Дверь отворилась со скрипом. Черные униформы (которые носила охрана. — С.К.) бросились на нас с дикими криками на русском и украинском языках и приказали нам выйти».

Которое из этих двух описаний соответствует истине?

Я думаю, что то, которое записано вскоре после пережитого события, тем более, что подобное подтверждают и другие архивные материалы.

Вот свидетельство Станислава Кона, законспектированное 4 апреля 1945 г. в Лодзи и хранящееся в польском архиве в Варшаве под номером AZIH 4.IV.45:

«Сразу по прибытии наши вагоны открыли; делали это еврейские рабочие с красными повязками; команда, раздевавшая людей».

Трудно понять, что заставило С.Вилленберга спустя 47 лет отойти от описанных им же фактов.

Не служил ли этот отход тому, чтобы скрыть от истории и грядущих поколений, что в жуткой Катастрофе, выпавшей на долю еврейского народа, находились люди и среди евреев, которые под страхом смерти и из эгоистических побуждений помогали гитлеровцам творить их черное дело?

Нужно ли это скрывать?

Ведь кошмар лагеря смерти для его жертв в том и заключался, что их встречали плетьюми и кольями *свои* соотечественники, принимавшие участие в обработке жертв для умерщвления. Если опустить эту деталь, то будет искажена жуткая правда истории и трагичная суть лагерей смерти. Потомки должны знать, что идущих на смерть встречали плетьюми и кольями не бывшие советские военнопленные, а еврейские капо с красными немецкими нарукавниками.

Чтобы судить о прошлых трагедиях, человечество должно знать правду о том, каким путем тираны достигали своих чудовищных целей.

Голод на Украине был организован не украинцами, но украинцы из так называемых комитетов незаможников (комбедов) изымали продукты у своих земляков, создавая условия для голода и гибели голодающих. Это правда истории.

То же относится и к лагерям смерти Гитлера. Без помощи коллаборантов, в том числе и еврейских, гитлеровцам было бы

трудно осуществить свой преступный замысел. И поколения должны об этом знать.

Приведенное мною отклонение от истины в мемуарах С. Вилленберга кладет тень сомнения и на целый ряд других фактов, изложенных бывшим узником. Не перетягивает ли он струну, отдавая дань модной в некоторых кругах украинофобии?

Мемуары должны отражать правду, тогда они представляют ценность для историка и исследователя. Если же память становится функцией чего угодно, но не истины, то такая память не только не полезна, а скорее вредна. И вредит она прежде всего самому автору и его авторскому достоинству, а также достоинству всех уцелевших узников Трешлипки, ибо такое свободное обращение с памятью позволяет сомневаться в свидетельствах, сделанных через столетия после событий на целом ряде форумов, в том числе и судебно-правовых.

Святослав Караванский

Виктория Швейцер

БЫТ И БЫТИЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Париж, «Синтаксис», 1988

На любом мало-мальски крупном книжном салоне либо книжной ярмарке можно видеть как непременно принадлежность биографию Марины Цветаевой, принадлежащую то русскому, то иностранному автору... Не так давно вышла биография Марины Цветаевой в воспоминаниях и высказываниях современников, подготовленная Вероникой Лосской. Вообще по «цветаеведению» можно уже составлять обширную библиографию — но это не входит в нынешнюю задачу автора данной заметки. Эта задача состоит в рассказе о концепции замысла книги «Быт и бытие Марины Цветаевой». Быт и бытие — сочетание рассказа о жизни самой героини Виктории Швейцер с рассказом о творчестве этого поэта. Так и разделяется практически каждая глава: даются факты жизни — а затем судьба прослеживается в поэтических творениях.

Логически книга делится на три части. Первая — жизнь и творчество Марины Цветаевой вплоть до революции. Затем — эмиграция Цветаевой и ее жизнь за границей. И, наконец, третья часть: история отъезда, возвращение в Россию и гибель.

При этом автор прослеживает в книге не только биографию поэта — но по мере сил и возможностей «цветаевскую географию». Она разыскала за долгие годы подавляющее большинство тех, кто Цветаеву знал еще при жизни — в России, Германии или Франции.

Чем отличается эта биография среди доброго десятка других на нынешнем книжном рынке? К ее главным достоинствам можно отнести чрезвычайно подробный психологический порт-

рет самой героини, данный на основе документальных свидетельств.

В книге «Быт и бытие Марины Цветаевой» честность биографа приводит на ум изречение древних «Платон мне друг, но истина дороже». Любя Марину, восхищаясь ею, сострадавая, — Виктория Швейцер не возводит свою героиню на пьедестал. Перед читателем — фигура, сотканная из противоречий. Человек, создающий вокруг себя перенапряженное силовое поле. Уязвленный, экзальтированный, вызывающий не только сочувствие, но порой и раздражение. Эгоцентричный, неумелый до безтактности в изъяснении чувства. Навязывающий в отношениях свои правила игры...

Своей личностью, своим гением Марина Цветаева была способна привлечь сильных и отпугнуть слабых. Даже Пастернак — и тот оказался неспособным выдержать этот эмоциональный накал и не пошел на душевную спайку с вернувшейся в Россию Цветаевой.

Все это, если говорить по-честному, чрезвычайно интересно — но не нуждается в «оформлении» стихотворными примерами. Такой метод подачи материала слишком напоминает школьное сочинение... Ссылки на стихи — не метод доступа к пониманию судьбы поэта. Разве что лишь ключ к его душе. Но тогда и биография оказывается не так уж нужной...

Но судьба Марины Цветаевой представляется столь же интересной и спорной, как и сама ее личность. В этой судьбе интересны моменты, относящиеся к жизни ее после эмиграции из России.

Во-первых, ее взаимоотношения с русской эмиграцией. Взаимоотношения непростые, основанные на восхищении и отталкивании, в особенности из-за деятельности ее мужа — советского чекиста Сергея Эфрона. Интересно отношение Марины Цветаевой к этой деятельности ее мужа. И, наконец, ее жизнь после возвращения в Советский Союз.

Причем последние ее дни перед гибелью заслуживают особо пристального внимания. В этой части (вольно или невольно) фундаментальная биография Виктории Швейцер, выдержанная в добротном «англо-саксонском» стиле, начинает для внимательного читателя мало-помалу приобретать сходство с политическим детективом. Ведь здесь из частных, событий и фактов вырисовывается... убийство Марины Цветаевой. Не хрестоматийное убийство обществом «поэта, невольника чести», а — самое настоящее. (Не исправляя позицию рецензента, заметим, что эта «детективная» концепция представляется нам мало правдоподобной. — *Ред.*)

Все наводит на эту мысль в биографии Виктории Швейцер. Жена чекиста, участвовавшего в убийстве советских невозвращенцев, Марина Цветаева слишком много знала. В. Швейцер открыто говорит о том, что после разоблачения и бегства Сергея Эфрона советское консульство в Париже лично руководило воз-

вращением Цветаевой. А далее автор уже предоставляет читателю — по законам особого детективного жанра «станьте сами сыщиками» — собрать из деталей (часто извлеченных как бы прямо из небытия) словно бы картинку из кусочков...

Вот обстоятельства предполагаемого убийства, как они вырисовываются из осторожных, но точных объяснений и комментариев автора.

Итак, возвращение в подсоветскую страну. Война с немцами. В самом начале войны Цветаева в панике из Москвы бежит — уже в тюрьме и муж ее, и дочь. Не жаль ей, не страшно бросать Москву, пусть под бомбами? Ведь есть уже и жилплощадь, и общество? Как могла вообще поддаться панике женщина с таким большим опытом в области житейских передряг? А что, если это бегство от чего-то пострашнее немецких бомб?

Эвакуация в Елабугу. Глухую провинциальную дыру, из которой Цветаева рвется в соседний Чистополь, где и жили в основном эвакуированные писатели. «Там — люди!» — как автомат твердит она. А ведь Цветаева на самом деле всегда была горда и самодостаточна. Тоска по общению — или страх, что ее проще убрать в глухом городе, без свидетелей?

Наконец, рассказ о последних днях, даже часах жизни Цветаевой — для чего Викторией Швейцер было даже предпринято в Елабугу паломничество. «Могла бы еще продержаться... Успела бы, когда все съели», — комментируют хозяева последнего цветаевского жилья. Незначительная, на первый взгляд, деталь, весьма существенная для сыщика: за несколько часов до своей ужасной смерти самоубийца просит... нажарить ей сковороду рыбы! Еще и подробности: в Елабуге, глядя в окно на проходящих марширующих красноармейцев, Цветаева произносит: «Такие победные песни поют, а он все не идет и не идет!» Кого же она ждала?! Отчего так хотела остаться одна в день смерти (согласно свидетельствам хозяев, о чем рассказывает автор книги). И кто пришел к Цветаевой в ее смертный час?

Но главное — как могла Цветаева бросить на произвол судьбы сына? Забыть о сидящих в лагере дочери и муже (она не знала до самой смерти, что Эфрон расстрелян)? Она — повторявшая, что покуда нужна им, не умрет...

История упрекает в черствости Пастернака, который говорил, что не верит в угрозу Цветаевой наложить на себя руки. Черствость — или трезвый взгляд Пастернака, знавшего, что на самом деле Цветаева «непоколебима»?..

И еще одна деталь. Как бы вскользь брошенный намек. На Цветаевой в день гибели — фартук. В нем она и повесилась. В нем ее и хоронили. И в фартуке, оказывается, был запрятан крошечный, с почтовую марку, блокнотик с совсем уж лилипутским карандашиком... Синий блокнотик с золотыми лилиями, из Франции. Гробовщик, утаивший блокнотик, трусливо молчал о находке сорок лет! Что там?! Говорят, одно лишь слово: «Мордовия»... Место, где сидела Аля. А что, если Цветаева пыталась

послать последний призыв о помощи? Последний перед тем, как ее повесили?..

Конечно, все можно списать на «иррациональность» поступков поэта. А что, если именно на это и был, и бывает расчет?

К.С.

5 июня 1989 года в Швейцарии создан фонд помощи независимому демократическому издательству «Экспресс-хроника» в Советском Союзе.

Фонд носит название «Фонд помощи Экспресс-хронике» и существует на частные пожертвования.

Средства Фонда будут использованы в целях:

- а) приобретения необходимых средств и материалов для печатания и издания;
- б) оплаты помещений, снимаемых редакцией;
- в) оплаты расходов по пересылке и связи;
- г) оплаты поездок сотрудников издательства за границу;
- д) помощи сотрудникам и их семьям, страдающим от репрессий властей.

Распорядителем Фонда назначен русский психиатр, борец за права человека Анатолий Корягин, проживающий в Швейцарии.

Номер банковского счета Фонда:

Crédit Suisse, CH-6002 Lucerne, 259850-90-1
Hilfsfonds Express-Chronika

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

ПРОЗА «НОВОГО МИРА»

Опилки и магнит

Пильняк так писал о законах композиционной гармоничности литературного произведения: когда у писателя возникает тема, она, словно магнитом, притягивает к себе разбросанные на столе железные опилки. Образ возникает — и опилки начинают двигаться, приходят в геометрический порядок, принимают закономерные формы.

Эта мысль создателя рычащей полифонии «Голого года» говорит об общем магните литературного творчества. По его мнению, этим магнитом является нужность написанного, нужность писательского вымысла для реальности. Тогда только этот вымысел, входящий в реальность, вызывает на внутреннем экране под черепной коробкой многомерный, перспективный мир, и тогда только забываешь, что на построение этого мира пошли «слова, слова, слова...»

Не зря именно Пильняк приходит на ум, когда читаешь жуткий, безнадежный «Стройбат» Сергея Каледина. Эту небольшую повесть, опубликованную в №4 «Нового мира» за 1989 год, можно представить написанной в 30-е годы, и ее с трудом можно было вообразить напечатанной еще несколько лет назад. Правда, она и теперь вызвала недовольство: «Стройбат» должен был появиться в «Новом мире» еще в апреле 1988 года — о чем широко оповещали читателей. Однако за «Стройбат» пришлось выдерживать бой: против его публикации резко запротестовало Главное политуправление Советской армии.

С.Каледин принадлежит к послевоенному поколению писателей. Его имя, недавно появившееся в литературе, завоевывает все большую популярность; именно по этому произведению стали судить о С.Каледине как о писателе, взрыхляющем целый пласт отечественной литературы. Как и «Смирненное кладбище», «Стройбат» основан на личном житейском опыте писателя, побывавшего в нестроевых частях, которые в царское время называли «золотой ротой»...

Стройбат называют армейской помойкой страны. Там собраны солдаты, непригодные для боевых действий. В стройбате не стреляют, а работают, порой на тяжелых работах, иногда на тех же, что и лагерные заключенные. В общем, стройбат — еще не зона, но уже не войско. Сюда присылают полудефективных, увечных, слабоумных, не умеющих писать, не знающих русского языка «инородцев». А еще здесь оказываются уголовники после

отбытия срока — а иногда и вместо него. Короче, служить в стройбате — позор.

Вот один из первых «слайдов», которыми открывается «Стройбат»: «Возле развороченного туалета в ослепительном свете пятисотваттной лампы копался с лопатой в руках [...] Константин Карамычев. Костя нагружал тачку отдолбленным дерьмом».

Таких сцен в повести множество. Угрюмые кадры «кино-съемок» — тодвигающиеся, то застывшие, на морозе...

Со страниц вздымается запах, который «слышишь» мозгом: это запах земли и замороженного дерьма — убийственный запах, убийственный воздух повести, кажется, забивающий глотку металлической пылью...

Из этой металлической пыли возникает толпа. Люди, бессмысленно живущие даже не сегодняшним днем — но жвачными, хватательными, желудочно-садистскими инстинктами. О них даже трудно сказать: потеряли человеческий облик; ведь для того, чтобы потерять, надо чтобы он был... У тех, кто собран в этот строительный батальон, вблизи «Города», протравленного миазмами водруженного в центре химического завода, — нет и не может быть ничего, кроме сегодня или же куцега неинтересного завтра. Будущим тут не пахнет ни для рядовых, ни для начальства. Несчастное начальство, непробивные убогие офицеры робеют перед ордой, отданной им под начало: «Политзанятия — тут у руководства одна политика: не перепились бы в зарплату, не передрались бы, не подохли», — пишет автор. Однако для тех, кто оказался в стройбате, жизнь, невзирая на унылость и убогость, довольно прибыльная. Кто-то, работая на хлебозаводе, ворует сахар, муку, изюм; другой — таскает химикалии с комбината; вообще, конечно, тащат все, кому не лень, но стройбат, кроме того, — не что иное, как головорезы, неуправляемое стадо, толпа. У стройбатовцев нет причин ни для ненависти, ни для уважения или приязни. Лишь изредка возникает что-то вроде смутной симпатии, ничем не похожей на «армейскую дружбу», о которой писали и пишут по сей день.

Сюжет повести «Стройбат» прост и страшен. Один из солдат, центральный персонаж повести Костя Карамышев, — накануне дембеля. Даже и билеты на поезд уже имеются для возвращения домой, в столицу. На прощанье Костя с товарищами устраивают в казарме, при потушенных огнях, сабантуй. Тут на них нападает рота «блатных», начинается самосуд, зверское избиение, иступленная злоба, которой никто даже не ищет объяснения. Прибегают конвойные. Одного из них убивает лопатой на глазах у Кости его «товарищ по оружию». Начинается следствие. На подозрении все, на ком обнаружены следы побоев, — Костя в том числе. Вместо демобилизации он ясно видит, что идет в тюрьму; начальник уверен, что именно Костя убил конвоира. И, чтобы вырваться, Карамышев выдает убийцу, который прикончил конвоира, спасая жизнь товарищу... И заключительный

аккорд: характеристика Константину Карамышеву, выданная после прохождения службы в армии, где он представлен как образец боевой дисциплины, отличник строевой подготовки.

Автор — не судья ни этому герою, ни другим персонажам своей повести. Да и мало кто из людей, существующих по законам этой жизни, может вообще быть чьим-то судьей. А в «Стройбате» и нет возможности даже отличить хороших от плохих, даже убийцу тут нельзя назвать злодеем. Нет ни страшных черт, ни особых качеств: отупевшие, одурманенные анашой, полностью разложившиеся люди, не только без морали, но даже не могущие претендовать на аморальность. Стадное чувство тут заменило пресловутое «чувство локтя», о котором так часто и много писали десятилетиями в отечественной официальной литературе.

Речь Сергея Каледина полна жаргона, грубых, страшных уродливых слов, сливающихся в адскую симфонию:

«И вдруг черная молчаливая казарма ожила. Вспыхнул свет. Кроме центральных дверей, распахнулись боковые. И из трех прорех казармы живыми потоками ломанулись блатные.

- Глуши козлов!..
- Сучье позорное!..
- Петушня помойная!..
- Мочи помидоров!..»

При этом Каледина трудно назвать реалистом, и уж ни в коем случае не соцреалистом! Он, если так можно сказать, из породы натуралистов с романтически-метафизической подосновой. Повесть «Стройбат» построена почти целиком на разговорах. Не на плавных диалогах — но на прерывистых, рваных фразах, в которых и до смысла доискаться иногда сложно. Однако этот хаотичный ропот, взрывы мата, жаргона, бессмысленные выкрики — сливаются в нечто далекое от обыденности. По мере вчитывания начинаешь все яснее различать дикую музыку, полную трагизма, резкими неровными ударами падающими в мозг:

«Холодная казарма гудела. Молодые соскакивали с верхних коек и испуганно одевались, не попадая в штанины. Двоих залезавшихся Куник сдернул сверху.

— Кому не касается!? — орал он. — Без гимнастеров! Стройтесь! Ремни на руку, вот так!

— Рота, отставить! — всунулся было Брестель, вспомнив, что он за начальника.

— Кыш, шушера! — Куник дал ему по башке...»

Сергей Каледин отказывается от психологизма в описаниях характеров. Сам ритм его повествования не позволяет ему этого. Его манера экспрессивна, отрывочна, он изображает не характеры, но переплетение различных ситуаций и событий. Такая позиция уводит в сторону от взгляда на его текст как на исследование определенного социального феномена, которые в изобилии водятся в современной советской литературе.

Интересно сопоставить стиль С. Каледина со стилем его друга и в известной мере единомышленника Евгения Попова. Они

похожи — и непохожи. Попов работает в области фантастического реализма; разрушая самое понятие нужности сюжета, фабулы, пишет «орнаментальные» новеллы и повести. Тогда как у Каледина — жизнь в упор, глядящая на тебя зловещим зрачком ружейного ствола.

Однако тема обоих, мир обоих — один и тот же. Мир одичания и развала. Антимир, населенный антилюдьми. Только Попов описывает этот антимир спокойно, как бы тоном сказителя, а Каледин ведет захлебывающийся репортаж с места антисобытий. Повесть «Стройбат» напоминает в своей отрывочности кинокартину, с перепутанными при монтаже кинокадрами. Густота языка Каледина создает почти материальный эффект, заставляет вспомнить железистый вкус яблока, надкушенного на морозе, кислого, смертельно холодного.

Невзирая на «репортажность» стиля, почерпнутого у прозаиков 20-30-х годов, «Стройбат» — художественное произведение в полном смысле слова. Только эта художественность так органична, что ее замечаешь не сразу — как костюм от хорошего портного...

Сергей Каледин — писатель, в котором прослеживается литературная порода. Его проза — жестко-мускулистая, напряженная. Жесткая метафизичность ритма унаследована Калединым от собратьев старшего поколения: В. Максимова, Ю. Трифонова, Г. Владимова. Сбалансированный художественный механизм повестей С. Каледина — с долгосрочной гарантией. И, похоже, его творчество забирает вверх, как хороший гусеничный вездеход!

«Незабудка» — повесть о неистребимой памяти

Сегодня нет почти ни одного советского писателя, который не отдал бы дань времени и его приметам — не начал бы писать о последних десятилетиях жизни советской России. Годы Большого террора, «застой», «перестройка» — вот те верстовые столбы, по которым ведут отсчет и молодые, и маститые... Такие, как Сергей Залыгин — один из старших представителей плеяды писателей-деревенщиков. В своей небольшой повести «Незабудка» (1989, №11) он охватил почти полувековой период советской действительности.

Повесть, которую С. Залыгин опубликовал в «своем» журнале, рассказывает сначала о том, что случилось с героями в последние недели перед смертью Сталина. А останавливается повествование буквально перед самым временем публикации. Это повесть о прошлом, которое не проходит.

Главный герой повести «Незабудка» носит на себе клеймо «сына врага народа». Это подросток, который живет вместе с матерью в столице, куда мать перебралась из провинциального города... «Дети не отвечают за грехи родителей», — сказал «вождь и учитель», отправляя на расстрел и в лагеря миллионы...

Однако сын в ответе. За то, что его отец «враг», и за то, что стал невольным палачом отца: спасая жизнь еще не рожденного ребенка, мать подписывает отречение от мужа-дворянина, который был репрессирован и затем расстрелян.

После этого, скрыв прошлое, она уезжает из своего города. И дальше всю жизнь старается быть как все. Ее любимым словом становится «нормально».

Однако сын, от которого она особенно стремится скрыть свою тайну, знает все. Он вспоминает, как старая женщина шепталась с его матерью над его колыбелью. И мать посулила «удавиться», если сын поймет разговор.

Так в повести Залыгина вырисовывается героиня, которая чем-то напоминает героиню Бёлля: безмятежная, ангелоподобная, милая и уютная женщина, общественная деятельница, каких много было на советских разнообразных предприятиях, — она скрывает в себе кровотокающую тайну, и рана не затягивается, и сама она, полностью померкшая изнутри, хочет лишь одного — сохранить личину!

Все это не должен видеть никто, и в первую очередь сын. А тот видит, видит постоянно, привыкнув к этому зрелищу гробницы надежд и счастья. И незаметно в его душе накапливается ужас от этого зрелища вечного обмана. Это страх перед «отцом народов», превратившим его мать в живую гробницу. Страх сын не сознает; этот страх в его душе принимает форму обожествления Сталина. И лишь тогда он понимает, что обожествление и есть ужас, когда совершает невольный поступок, хулиганскую выходку, в те времена связанную с неизбежным смертельным исходом: нечаянно прожигает папироской портрет. И понимает, что обречен. В ужасе он становится на колени перед оскверненным портретом Вождя. От гибели его спасает лишь смерть Сталина.

И жизнь течет дальше — сквозь эпохи Хрущева, Брежнева, прибываясь к нынешнему берегу перестройки. И мать и сын живут «как все». Оба они совершенно нормальные советские служащие. Однако героя не оставляет желание — узнать, как же «поживает» внутри матери тайная память? И он решает узнать правду с помощью правды искусства.

Герой — скульптор-любитель. Он принимается лепить скульптурный портрет матери. Лицом к лицу с ней, долгими днями и часами, он постепенно, слой за слоем, снимает с этой тайны оболочку и пелены. И неожиданно для него самого вместо миловидного лица, миловидного даже в старости, вылепливает уродливую карикатуру!

Только, в отличие от «Портрета Дориана Грея», этот портрет так и не сказал настоящей правды о героине. А та называет свой портрет «Незабудкой». И решает не уничтожить его.

Таков сюжет этой житейской драмы, написанной в добротном стиле традиционной психологической прозы, пришедшей к нам из прошлого века. Да и сами коллизии, которые так мучительно переживают герои, напоминают те, что привлекли в свое

время и русских классиков. Женщина с ее неистребимой любовью и чувством вины; ее сын — палач поневоле, несущий всю жизнь свой тайный ужас... Эти люди — очевидные потомки «маленьких людей», подаренных нам Гоголем и Достоевским. Только, возьмишь Достоевский за подобный сюжет, как сострадал бы, плакал и негодовал читатель! К сожалению, от повести «Незабудка» подобного эффекта нет. Его героиня написана в строгих, сдержанных полутонах. Автор как бы вовсе не хочет показать смерти, скрытой под могильным холмом, усеянным «незабудками». С.Залыгин слишком уж сдерживает себя, воздерживаясь от эмоций, не хочет показать отношения к происходящему.

Не хочет — или ему не дано? Ведь когда великие классики повествовали подобным образом, то через сдержанное описание пробивался скрытый огонь. А без такой затаенной страсти повествование и читателя оставляет холодным. Он уже не верит в затаенное горе героини, слишком уж ставшей в конце концов «как все»!

Так схематичное изложение превосходного сюжета делает повествование подчас монотонным, в особенности при описании исторического фона. Тот отрезок времени, который С.Залыгин решил вместить в свой рассказ, напоминает попытку великана залезть в стакан! Жизнь советской России от Сталина до наших дней — период, который может рассчитывать на многотомный роман, а в повести Сергея Залыгина эпохальные приметы времени зачастую устаиваются лишь механического перечисления.

И такое торопливое «пролистывание событий» в повести «Незабудка» буквально «топит» превосходный, трогательный и трагический сюжет.

«Детская площадка» архипелага ГУЛАГ

В двух номерах «Нового мира» (за июнь-июль 1989) напечатана повесть «Одлян, или Воздух свободы», первое произведение нового в русской литературе автора — Леонида Габышева.

Эта повесть не только принесла в прозу новое имя, но и показала тот участок советской действительности, советской «малой зоны», перед которым, пожалуй, в чем-то пасуют и уже изученные (благодаря Солженицыну) территории Архипелага ГУЛАГ. Это, так сказать, его «детская площадка» — лагерь для малолетних преступников, где и находится автор-герой.

Он находится в тюрьме не безвинно: это настоящий начинающий бандит. Только грабит и убивает он оттого, что ему страстно хочется событий. Он не так уж голоден и нищ. Вот только ему «хочется воровать»!..

Леонид Габышев родился в конце 50-х вблизи сибирского каторжного тракта. Его дед — крестьянин. Отца он сам называет «начальник милиции» И вся его юная пора, начавшись вблизи от каторги, на каторге и протекает — не мыслит он иного пути, чем

путь узника. Да еще такого, для которого воля, свобода — дороже всего!

«Представьте себе достоверное описание ощущений человека в топке или газовой камере — тем более художественно написанное», — пишет Андрей Битов в предисловии к этой повести. Андрей Битов дал «путевку в жизнь» автору-дебютанту, ибо «Одлян» отвечает самым высоким требованиям.

В этой прозе есть не только талант, но и сила — достоинство еще более редкое, нежели талант. Сила, которая им унаследована от таких предтеч, как Пильняк, быть может, Селин (о наличии их он, пожалуй, знал в основном понаслышке, ежели знал вообще, когда писал).

Стиль Леонида Габышева — мастерски-лаконичный, а понимание законов литературного мастерства у него в крови. И сила этого писателя — в человеческой правде текста, описывающего кошмар. Благодаря этому рассказ еще об одной внечеловеческой области Зоны дает ощущение, будто ты из цивилизованного общества попал на другую, античеловеческую планету. Эта планета далека от описанной Солженицыным. Даже время действия другое. Это 60-70-е годы. А это значит, что все, о чем написано, происходило только вчера и, быть может, происходит сейчас.

Кира Сагир

«ИСКУССТВО НЕЛЮБВИ»

(Еще о прозе в «Новом мире»)

То, что в России страшно, и то, что за Россию страшно, не вызывает никаких сомнений. Вопрос в другом: как вести себя художнику, человеку, отмеченному ответственностью перед другими людьми, в этой измученной, разуверившейся, населенной спивающимся народом сегодняшней России? Позволительно ли ему ненавистью и нетерпимостью отвечать окружающему миру?

Я очень люблю и всегда вспоминаю одно толстовское высказывание: «Мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми, чтобы найти спасение и утешение. Кроме того, он страдает еще и потому, что он всегда, вечно в тревоге, и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо, а завтра, может быть, будет поздно — он умрет».

Думаю, что на риторический вопрос, позволительна ли художнику нетерпимость и открытая безрассудная злоба как точка зрения на людей, как реакция на происходящее, ответ однозначен: нет, не позволительна, потому что литература — это особая действенная сила и воздействие ее на человеческую жизнь —

прямое, я бы сказала даже «вещественное». Слишком велика опасность «не так сказать, не так изобразить, как надо»...

Пастернаку удалось представить художественную формулу бытия:

Мирами правит жалость,
Любовью внушена
Вселенной небывалость
И жизни новизна.

Возьмет ли на себя кто-нибудь смелость сказать, что жизнь так измельчала, а человеческая природа так опустилась, что не достойны они более ни любви, ни жалости? Как ни страшен наш XX век, но ведь и он не открыл ничего принципиально нового ни в человеческом сердце, ни в общей жизни мира, и хоть масштаб физических нарушений и разрушений действительно укрупнился по сравнению с прошлым, но и это не изменило в корне структуры существования и не отняло у человека Бога.

Грустно признаться, что рассуждения по поводу одержимого злобой художника пришли ко мне после прочтения рассказа Виктора Астафьева «Людочка», напечатанного в 9-м номере «Нового мира» за 1989 год. При этом странно утешает то, что рассказ настолько художественно слаб, что не сможет оказать на читателя никакого разрушающего, «вредоносного» действия. Мы «защищены» от этой прозы, лишенной мастерства.

Вспомнив Станиславского, проще всего было бы сказать по поводу «Людочки» лаконичное «не верю» и закрыть тему, но одно удерживает: хочется понять, как же случилось, что талант автора «Царь-рыбы» съезжился и весь налился какой-то ядовитой темной кровью, как июльский комар, разжиревший от укусов? В силу каких причин?

Талант уходит не потому, что у человека начинается кашель или ухудшается зрение, — он уходит вследствие нравственных изменений, и процесс его ухода образует заколдованный круг: ожесточение души влечет творческую беспомощность, та усиливает эгоцентрические комплексы, комплексы поспешно разъедают и без того тронутую порчей душу и т.д. Да, действительно возникает что-то вроде клинической картины болезни, нарушить которую могло бы лишь пронзительное сомнение в собственной правоте, нерассуждающий крик, подобный мандельштамовскому: «Читателя! Советчика! Врача!»

Интуиция подсказывает мне, что Виктор Астафьев далек от этого крика... А ведь совсем неплохо было бы, если бы автор хорошей книги «Царь-рыба» оглянулся сейчас, задумался, запнулся...

Обращаюсь к тексту «Людочки»:

«В загоне — зверинцы, и люди вели себя как-то по-звериному. Какая-то черная и красная от косметики девка, схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала среди площад-

ки: "Ой, нахал! Ой, живоглот! Что делает! Темноты не дожидется! Терпеж у тебя есть?"

Со всех сторон потешался и ржал клопочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издавающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что будет после них, что было до них, в проволчке за решеткой мотали друг друга, душили в паре себя и партнера, бросались на огорожу, как на амбразуру в военное время человекаподобные пленные, которым некуда было бежать....»

Страхов отметил когда-то вскользь одну принципиальную черту художественного взгляда на мир, говоря о феномене Толстого-психолога:

«Если представить себе душу в виде музыкального инструмента со множеством различных струн, то можно будет сказать, что художник, изображая какое-нибудь потрясение души, никогда не останавливался на преобладающем звуке одной струны, а схватывает все звуки, даже самые слабые и едва заметные...»

В этом смысле Астафьев со своей манерой письма, а точнее сказать — со своей точкой зрения на мир, — полный антипод такому художнику. Я согласна, что молодежная танцплощадка с ее окурками, некрасивыми телодвижениями, перегаром и вульгарной косметикой — не самое привлекательное зрелище, но готова присягнуть, что на любой такой площадке найдется десяток симпатичных лиц, что за разнузданными плясками ничего не стоит, кроме самой разнузданности, и ничем иным не грозит миру это пропахшее водкой и дешевыми духами зрелище, кроме разве что общего чувства отчаяния и печали: да, нечем людям жить, бедны они радостями, потому и веселятся как могут — на всю «неэстетическую» катушку...

А ведь кончится эта доморощенная вакханалия, скинет девочка с натертых ног высокие каблуки и нырнет обратно в свою беспросветную жизнь, где и проклятая работа, и пьяный папая, и больная мать, и брань, и попреки, и взвинченные нервы, и все темное российское будущее, безжалостное к каждой отдельной судьбе, никого не щадящее...

Зачем же, «зацепив пальцем одну струну», вытягивать с ее помощью душу из тела читателя, впиваясь в нее провинциальными дьячковскими завываниями: «...неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред»? Да подходите, присмотритесь! Ведь они же люди, не звери в загоне! Они же — как бы это попроще? — пляшут, понимаете? За некрасивость их больно — да, грустно, стыдно, но и в зловещей некрасивости они не перестают быть людьми и не заслуживают — ни разнузданным танцем, ни перегарным дыханием — этого унижения, бурной этой ненависти...

Боюсь, что если современная русская литература воспримет астафьевскую манеру оценок, то ей грозит, кроме всего проче-

го, полное размежевание с собственной гуманистической традицией, кровавый разрыв с тем, что Пушкин обозначил когда-то «милостью к падшим», а Толстой кратчайшей фразой «Чем люди живы».

«Милостью» не пахнет в прозе изменившегося Виктора Астафьева, злобой пахнет, накипевшим раздражением, темной желчью...

И, как всякий человек, одержимый болезнью (а есть ли недуг хуже вызревшей нелюбви?), он впадает в ненужный пафос и утрачивает чувство житейской реальности там, где пытается писать лирично, страстно, высоко, а у него не получается, звучит визгливо, ложно-чувствительно, напыщенно. Вот, например, как описана смерть никому не известного, безымянного парня, который лежит в больничном коридоре за печкой, и героиня рассказа Людочка, болевшая в той же больнице воспалением легких, садится на табуретку у его койки, берет его руки в свои и, движимая состраданием, бормочет ему отрывки из смутно застрявших в памяти молитв вперемежку со стихами и песнями. Наконец, она и сама, закачавшись на «шаткой скользкой табуретке», как-то малоправдоподобно «задремала». Тут парень выдернул свою руку из ее слабых ладоней. Объяснение, предлагаемое автором этому неожиданному движению, звучит, на мой взгляд, весьма безвкусно и не отвечает ни житейской, ни художественной логике:

«Парень последним непримиримым усилием выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся. Он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал, согласия быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. (?) Вот тогда совершилось чудо: вдвоем они сделали бы сильнее смерти, восстали (?) бы к жизни, в нем, почти умершем, выявился бы такой могучий порыв, что смёл бы все на пути к воскресению (!)».

Согласитесь, что так могла бы написать любая экзальтированная дама, пробующая силы в искусстве прозы. И хорошо, если бы нашелся на такую даму доброжелательный наставник, сказавший ей на манер булгаковского мастера: «Не пишите больше!» То, что это патетическое кликушество принадлежит перу Виктора Астафьева, странно, конечно, но не более, и можно было бы, в сущности, оставить эту сцену без внимания, если бы не возникший вслед за процитированным твердый, вроде полицейского кулака, вывод автора о всей низкой человеческой природе, вывод, не оставляющий никаких надежд, убивающий последний свет и в основе своей какой-то зловеще атеистический. Парень оттого, оказывается, отвернулся от тихой, пожалевшей его Людочки, что осознал:

«Предают, предают его живые! И не боль его, не его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтобы скорее кончились его муки, для того, чтобы самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыхание, они, живые, осторожно ступая, не его,

себя оберегая, убредут, унося в себе тайную радость (?!) напополам с торжеством.

К ним она, смерть, покудова никакого отношения не имеет...»

Страшно за человека, живущего с таким адом внутри, с таким — ядом, и горько, что позволено его паническому, во всем разуверившемся сознанию проявлять себя в творчестве, сделать это запутавшееся, бессильное, оглохшее чувство бытия всеобщим достоянием.

Есть разные способы построения повествования, есть множество прозаических интонаций: от бурного захлебывания словом в поиске ослепительной истины (как, скажем, у Достоевского) до внешне спокойного, прозрачного и прохладного полотна (Чехов с его глуховатой печалью и прячущейся болью). Но у всех больших мастеров есть нечто общее, объединяющее их: внутреннее уважение к своему читателю, ощущение затаенного диалога с ним, которому не препятствует даже сознание своей духовной исключительности, тем менее, кстати сказать, явное, чем масштабнее дарование пишущего. Манера Астафьева начисто отвергает какой бы то ни было диалог и останавливается на жесткой ноте вещания, в которую временами закрадывается что-то похожее на мстительность, словно ему доставляет незрелое удовольствие лишний раз хлестнуть незримо своего слушателя: «...еще не могла она, боялась шупать куриц, отрубать петухам головы, не научилась, хоть и пробовала, пить, материться». И тут же со странным каким-то удовлетворением, злорадно: «Ну да, пожила бы дальше на этом милом свете, глядишь и сподобилась бы...»

Откуда эта непоколебимая уверенность в единственной угольно-черной правоте? Это инфантильное по смыслу и брезгливое по звучанию определение «милый»?

Рассказ «Людочка» подобен очень тесной, беспорядочно заставленной предметами комнате, в которой, несмотря на жару, окно не только наглухо закрыто, но еще и проложено ватой. Нечем дышать. Поднимешь руку вверх — низкий потолок, протянешь в сторону — глухая стена. Определяя это ощущение удушья искусствоведчески, приходишь к выводу, что в рассказе отсутствует катарсис. Повествование словно бы слиплось изнутри, но это не компактность, не классическая краткость, при которой словам тесно, а мыслям просторно, это — какая-то беспорядочная паническая избыточность, поддавшись которой автор втиснул в узенькое пространство все, что можно и нельзя; и болезненное детство с неизвестно куда пропавшим отцом-алкоголиком, и беспросветную провинциальную жизнь, и главное — внешне разветвленные, но совершенно анемичные, *необязательные* отношения между людьми, в которых ни любви родительской, ни любви дочерней, ни элементарного контакта (прожившая с отчимом сколько-то лет бок о бок в одном доме Людочка даже не знает, как его зовут!), ни дружбы, ни горя, ни сострадания. Такое

ощущение, что, за что ни берется Астафьев, все вырывается из его пальцев и, как в сказке, оставляет на них лягушачью кожу. Как объяснить, например, что зверски изнасилованная Людочка, поехавшая на следующий день к матери, вернулась ни с чем, с матерью не поделилась, а та, хоть и почувствовала беду, но «от стародавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу, пусть сама со своей ношей, со своей долей управляет, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно, донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой или Богом определены».

Да волчица — и та пожалеет свое приползшее на брюхе, раненное дитя. Нет, воля ваша, не принимаю я этой «правды», не верю. Слишком она тенденциозна, и не то, что даже безжалостна, как бывает иногда безжалостна подлинная правда, а *просто* безжалостна, без жалости к человеку, не любит его Астафьев, не видит...

Мне кажется, что благодаря этой слепоте в рассказе происходит постоянное смещение жизненных пропорций и в нагромождении безысходных ужасов присутствует какой-то истерический азарт в ущерб той уравнивающей свет и тьму силе, которая движет человеческой жизнью. Вот, например, самая трагическая точка рассказа: самоубийство героини. Объясните мне, почему оно так происходит?

Людочка (строго следуя тексту!) как-то завидно легко справилась со своим бесчестьем, уступив те страницы, которые по художественной логике повествования должны были стать вместилищем ее ужаса и отвращения, сбивчивым рассуждениям Виктора Астафьева о нашей подлой жизни.

Странно преодолевшая свою беду Людочка продолжала ходить тем же парком, где ее изнасиловали, и тут, в парке, ее снова подловили парни, «начали стращать Стрекачом, незаметно подталкивать за скамейку». В ответ тихая Людочка почему-то ведет себя артистически-эффектно, так что вся сцена режет слух своими неверными, небрежно сочиненными репликами:

«Жаль, что нету вашего вождя! Такой видный кавалер! Жаль! — повторила она вслух и громче сказала в темноту: — А ну, отвалите, мальчики! Хватит! Одно платье порвали, плащик спортили! Пойду в ношеное переоденусь. Не из богачек я, уборщицей тружусь».

«Дуй! Да смотри, любовь и измена — вещи несовместные, как гений и злодейство».

«Ишь ты, грамотный какой! Отличник, небось?»

«Все и всегда делаю на пять! Не хуже Стрекача. Испытаешь мои способности, похвалишь».

«А ты мой».

Благополучно отпущенная домой «переодеться» Лидочка действительно вернулась в парк, не замеченная парнями, и тут

же, в парке, повесилась «на давно замеченном ею тополе с корявым суком над тропинкой».

Я не буду говорить о психологической недостоверности этой сцены, мне кажется, что набросана она как-то вчерне, в торопливой панике и непрофессиональной самоуверенности, но все же впервые за весь рассказ именно в этой сцене, в предсмертном бессвязном шепоте Людочки вдруг блеснуло что-то от прежнего Виктора Астафьева:

«Боже милосердный! Но недостойна же... — И перескочила на тех, кто ближе: — Гавриловна! Мама! Отчим! Как тебя и зовут, не спросила. Люди добрые, простите! И ты, Господи, прости меня, хоть я и не достойна, я даже не знаю, есть ли Ты?»

Если бы Астафьев удержался на чудом вырвавшемся сострадании, печали, ужасе — не прежнем, животном, брезгливом, а том чистом, всем известном ужасе, который действительно порою вызывает жизнь, мы легко простили бы ему и бывшие неточности, и экзальтированный дьячковский язык, и даже пропитавшую все поры рассказа озлобленность, потому что да, вот сейчас готов был, кажется, пробиться, пролиться свет и осуществиться катарсис, двойко спасающий «Людочку»: как художественное произведение и как кусок живой жизни. Но этого не случилось.

У Виктора Астафьева не остается сил ни на жалость, ни более того — на сомнение. Глава заканчивается тем, что парни, которым не удалось воспользоваться несчастной девушкой, сидят в «привокзальном заплеванном ресторане» и тот из них, который, отправившись на разведку, увидел на дереве повесившуюся, с «нервным хохотком» передает подробности увиденного, рассказывает, как углядел среди ветвей ее, «качающуюся в петле туда-сюда, то задом, то передом поворачивающуюся, язык в-о-о какой вывалился, и с ног голых что-то капало». Нет, автор не спасает в человеке — человека. Не хочет, не может, разучился. Даже монстры в фильме ужасов не ведут себя так, как ведут себя люди в нынешней прозе Астафьева.

«Ну, дает! — ахали кореши. — Ну, сделала козла... Ооох, падла! Была бы живая, я бы ей показал, как вешаться!»

В начале рецензии я пыталась доказать беспомощность единственной за весь рассказ лирической попытки автора — там, где он пишет об умирающем в больнице парне, а сейчас, обращаясь к самому концу «Людочки», мне кажется важным прокомментировать то, во что вылилась опять-таки единственная его попытка изобразить благородную месть, некое сильное движение души.

«Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей, по-звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди от того, что плечи его отвалило назад, весь он как бы развернулся навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро

заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящейся в сознании, а за пределами его, где, от пещерных людей доставшееся, сквозь дремучие века прошедшее, клочкотало все-сокрушающее, жалости не знающее бешенство».

Да, по логике рассказа это — символическое превращение. Ничто не могло бы полнее и тверже выразить кредо Астафьева, чем появление на страницах «Людочки» зверя-героя. Человек исчерпан, не под силу он автору. Людей вокруг, выходит, как бы и нет. Были звери в загоне, плясали, глумились, насильовали, потешались над умершей, не любили, не жалели, и в завершение появился среди них — царь. Тоже зверь. Только — крупнее, поджаристее, благороднее. По-звериному, конечно. Чистое зоологическое благородство. Боже мой! Как же это случилось? Как докатилась высокая и добрая русская литература до зверя-героя, до «двуногого существа с вываренными до белизны глазами»? Или впрямь так необратимо, так чудовищно изменилась русская жизнь, выжгли из нее все человеческое, и эту выжженную поверхность запечатлевают сейчас слабеющий талант Виктора Астафьева?

Отвечая самой себе, я вспоминаю строчки из «Войны и мира»: «Жизнь между тем, *настоящая жизнь людей* со своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, со своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда...»

Нельзя отнимать у человека дыхание. При самом пронзительном отчаянии от происходящего (кто же говорит, что не от чего прийти в отчаяние?) нельзя смотреть на мир сквозь пленку непрощенной ненависти, ибо результатом подобного взгляда в творчестве оказывается не картина мира, а рентгеновский снимок собственной души. Люди остаются людьми, и никакие социальные потрясения, самые безумные и самые неожиданные, не в силах изменить этого просто потому, что, выражаясь высоким стилем, человеческая природа в руках Бога и изменения ее не входят больше ни в чью «компетенцию».

А от художника, чье творчество пришлось на годы тяжелых испытаний и стремящегося быть честным, не требуется ничего другого, кроме, как говорил Толстой, «правильного, т. е. нравственного отношения к предмету»...

Ирина Муравьева

«ОКТЯБРЬ» — РАССЛОЕНИЕ ИЛИ РАЗМЕЖЕВАНИЕ?

В течение довольно долгого времени, особенно с конца прошлого века, повсеместно принят критерий разделения на правых и левых. Причем родилось такое разделение (по идеологическому признаку) во Франции. Совершенно случайно на какой-то ас-

самблее радикалы в зале оказались слева, консерваторы же — справа... Так появилось это идеологическое понятие, поделившее мировоззрение как бы по вертикали: правые — левые.

При этом, разумеется, критерий «зло—добро» существует и для правых и для левых. И тот, кто, например, изменяет своей группе, считается его вчерашними сторонниками «проваливающимся во зло»....

Так, по крайней мере, считают в Советском Союзе те, кто начал кампанию по поводу журнала «Октябрь». Толстого журнала, издавна обладавшего и своими традициями, и установившимся авторско-редакторским составом. Полемика, в центре которой оказался «Октябрь», неожиданно заставившая говорить об этом ежемесячнике чаще, чем о «Новом мире», «Огоньке», «Московских новостях», произошла из-за «вторженцев» — авторов, наличие которых на страницах «Октября» заставило «Литературную Россию» вкуче с «Молодой гвардией» забить тревогу из-за предполагаемой «измены» этого органа Союза писателей РСФСР...

За публикацию в журнале фрагментов из старой книги А. Синявского «Прогулки с Пушкиным» и нескольких страниц из романа В. Гроссмана «Все течет» чуть не убрали главного редактора «Октября» Анатолия Ананьева. Уцелел он, кажется, лишь оттого, что был избран народным депутатом. (С «избранником народа» расправиться уже не так просто.) Но по поводу «скатывания во зло» этого писателя поднялась волна ярости в его лагере. Обильная журнальная полемика перехлестнула советский кордон — и забушевала на просторах не только советской, но и западной русскоязычной прессы.

Притом, конечно, полемика идет уже не столько вокруг самих публикаций, сколько по поводу удивительных статей в советской прессе, которую принято считать консервативной, которая остается для внутреннего потребления и не поступает на прилавки западных книжных магазинов... Днем с огнем в Париже не найти, например, «Литературной России», в которой появилась статья И. Шафаревича, послужившая отправной точкой для эссе В. Воздвиженского (советского автора из Москвы) «Прогулки с Шафаревичем и без...» («Страна и мир», 1989, №6), и почти сразу же в «Русской мысли» последовала статья Германа Андреева на ту же тему.

Занятная вещь: и старые полемические статьи, и новые — по поводу нынешних публикаций в «Октябре» — служат для полемистов и комментаторов консервативного и радикального толка лишь предлогом для высказывания собственных взглядов на искусство, на отношение к национальному вопросу, к России как таковой. В общем, в той или иной форме основной предмет спора — это проблема примата этики над эстетикой (с «правой» стороны) либо же эстетической игры (для «либералов»).

Консерваторы, поднявшие шум по поводу публикаций Гроссмана и Синявского в «Октябре», конечно, бьют лишь учебную

тревогу. Эта неисчислимая масса «писателей из российской глубинки» не столько возмутилась публикациями, сколько обрадовалась. Ведь подобные публикации — отличный предлог для того, чтобы попытаться оттянуть журнал «столичных»... А уж как удобен для этого аргумент «оскорбления народной святыни» — Пушкина!

Стоит привести цитату из статьи В.Горбачева в №12 журнала «Молодая гвардия» за прошлый год с директивным названием «На провокацию не поддаваться»:

«Возьмем случай с А.Ананьевым, с руководимым им журналом "Октябрь". К тому, каким журнал стал сейчас, А.Ананьев вел журнал долгие годы своего редакторства. И довел. На страницах "Октября" вполне в духе троцкистско-авербаховских концепций перманентного оскопления исторической и духовной культуры России, сделана столь беспрецедентная по наглости попытка легализовать сатанинскую ненависть к России и всему русскому, что по сравнению с ней стих С.Рушди (по свидетельству польской газеты "Политика", С.Рушди за издание своей книги получил в масонской Великой ложе Англии хорошую должность) — просто невинный лепет...»

На В.Гроссмана замахнуть трудно: крупный советский писатель. Но как хочется все же смешать его прах с той землей, в которой он уже давно покоится. Ведь не кто иной, как В.Гроссман, открыто заявил, что именно при Сталине был создан государственный национализм, тот, который, по словам писателя, имел источником «бешеный национализм людских масс (разрядка моя. — К.С.), лишенных свободы и человеческого достоинства».

И вообще вторжение идеологии в искусство всегда сразу же приводит к административным гонениям на своих же братьев.

Случай с «Октябрем», журналом, тяготевшим к прогрессивной народности, в известной мере знаменателен.

Печатание в этом журнале «крамолы» (при взгляде «справа», конечно) — это в большой степени производное от частного, а именно — от личности главного редактора А.Ананьева. Он честный человек, упущение советского отдела кадров. И он решил печатать то, что нравится лично ему, даже если эти произведения не близки ему по стилю и по духу. То есть он хочет подходить к печатанью не только с точки зрения идеологической, а в первую очередь — с позиции редакторско-профессиональной. С единственно приемлемой точки нравственно-профессионального отсчета.

Но неужто вправду «Октябрь» сменил вехи? Да нет же просто он занял позиции творческой порядочности.

Порядочность в литературе — требование времени. Честными должны быть и эпатаж — и эпопея. Реквием — и сатира. И чем честнее задача, тем четче оказывается ее воплощение. И чем четче творческое кредо, тем большее оно должно бы вызывать уважение — со стороны честного противника.

Быть может, все сказанное — прописные истины. Но о них не следует забывать — дабы не докатиться до гротескного отрицания, которое, в свою очередь, под видом общественной полемики приведет к вседозволенности, смердяковщине и травле.

И не дело творческой интеллигенции, к какому бы крылу она ни принадлежала, играть роль исполнителя в карательном процессе. А «Октябрь» — он просто рачительно подходит к отбору литературного материала. Его трибуна дается всем тем, кто в состоянии отстаивать свое мнение. Эта тенденция позитивна тем, что она — вне тенденциозности. При такой позиции здесь так легко и уживаются творения старых и новых, левых и правых. Борис Зайцев печатается наряду с Абрамом Терцем, а Михаил Пришвин — с Василием Гроссманом.

К. С.

ОТЕКУЩЕЙ ПОЭЗИИ И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ

(По страницам «Юности»)

Недавно Венедикт Ерофеев, один из наиболее взыскательных читателей поэзии, без обиняков заявил со страниц «Московских новостей», что кризиса в литературе сейчас нет, поскольку нет самой литературы, за исключением группки, которая «плетется в хвосте у обзриутов». Позволю себе возразить — поэзия, во всяком случае, есть. В основном, конечно, неважная. Но, во-первых, попадаетея и совсем неплохая. Во-вторых, о чем и как пишут поэты — даже если это самый заправский китч, — заслуживает анализа хотя бы в качестве своеобразного индикатора состояния общества в целом. Между тем наша либеральная критика главным образом стреляет из пушки по воробьям — то есть в пух и прах разносит убогие вирши из «Нашего современника» и «Молодой гвардии». Стихов такого направления я не буду касаться вовсе. Вместо этого попробуем разобраться в поэзии, которая печатается в одном из порядочных журналов.

Всего года три-четыре тому назад сама такая идея была бы довольно бессмысленной. В печать пропускались, понятное дело, во-первых, маститые, во-вторых, аккуратно подстриженная молодежь (вплоть до 50 лет), отвечавшая критерию максимальной серости, да еще настропавившаяся сочинять так называемые «паровозы» — идейно выдержанные стихотворения, облегчавшие прохождение цензуры для «лирики». Не случайно даровитый член СМОГа Аркадий Пахомов в свое время определял этот рифмованный поток как совокупность поэзии лирической и поэзии гражданской, сводившихся соответственно к строчкам «Мне на погон осенний лист слетел» и «Стиляги голубя убили».

Но сейчас картина иная. С некоторой, совсем небольшой натяжкой можно утверждать, что печатать удастся всё. В том числе, разумеется, и то, чего раньше было нельзя. Это полезно и в смысле тиража, и в смысле щекотания нервов читающей публи-

ки. Правда, не изменилось исконное, по Мандельштаму, деление стихов на разрешенные и написанные без разрешения (напомню, что если вторые он называл «ворованным воздухом», то первые — кратко и выразительно — «мразью»). Здесь, видимо, эволюции придется ждать несколько дольше.

Для этих заметок я выбрал комплект «Юности» (с декабря 1988 по ноябрь 1989 года) не затем, чтобы восхвалять или поносить сотрудников ее поэтического отдела. «Юность» — один из самых многотиражных журналов, ее поэтическая рубрика — самая обширная (больше ста имен за год) и наименее академическая. На страницах фотографии — от совсем юных, разной степени симпатичности лицо до бородатых ветеранов застойного «андерграунда» и пенсионеров-фронтовиков. И вот что хорошо — «серой» поэтическую рубрику «Юности», пожалуй, никак не назовешь. Отлично помню доходившую до зубной боли тоску от «застойной» журнальной поэзии. С нынешней не соскучишься. Имеется стихия лирическая, имеется гражданская (как правило, это своеобразные размышлизмы в духе перестройки и гласности). Имеется и несколько поразившая меня футуристическая струя, стремление разбить графины о головы публики в первом ряду. К ней примыкает совершенно натуральный, как на Западе, модернизм. Имеются апокалиптические построения о судьбе нашей планеты.

Словом — интересно.

*

Как несчастная советская экономика судорожно пытается освободиться из пут административного, казарменного или какого там еще социализма, но при этом неизбежно воспроизводит привычные структуры, так и «паровоза» просто так писать не разучишься. И вот результат — чуть ли не в каждом втором стихотворении на страницах «Юности» отважно критикуют культ личности и его последствия, дружно радуясь тому, что усатый тиран наконец публично разоблачен. В значительной части заметок я буду опускать имена: дело не в том, чтобы схватить за руку того или иного писателя, а в общей картине.

Нет почета нынче оде,
не возьмут и задарма.
Но зато в большом почете
храбрость заднего ума,

— справедливо замечает первый поэт. Увы, эта максима вполне приложима и к ее автору. Оказывается, «в мыслях совестливо мучась, Являя милосердья дар, Она (Россия. — Б.К.) оплакивала участь Из Крыма высланных татар». Ох, сомневаюсь, — их и сейчас-то в Крыму прописывают со скрипом, а года три назад и вовсе сажали.

Ему же принадлежит выдающийся по пошлости синтез сразу трех весьма паровозных, по нынешним временам, тем: секса,

репрессий и покаяния (читай: возмездия), поданного через вечнопроходимую тему войны. Героиня стихотворения Глафира откашивает мужу в интимной близости («утешь меня ты, родная, в объятиях супружества... а я лежу холодная...» и т.д.), поскольку тот только что выполнил приказ, поставив «троих к стене в Лефортове». Можно бы принять эти стихи за неудачную пародию на Галича, если бы в заключительном четверостишии герой не погиб под Оршей «с улыбкой грехоискупления» на губах. Бойкость мысли необыкновенная! Неудобно и перед Глафирой, и перед ее мужем, и перед троими расстрелянными. Оно, конечно, и выдуманно, а все-таки неприлично.

Вот второй поэт: «Недавно мне таксист в Батуми сказал, хитро глаза смежив: "Ты думаешь, что Сталин умер? Ты ошибаешься — он жив!" Чернобыль вспомнив и "Нахимов", ему ответил с болью я: "Ты прав! он жив, пока такие, как ты, хоть где-то у руля!"»

Отделавшись от знакомого по Козьме Пруткову ритма («Я встал однажды рано утром, сидел впросонках у окна. Река блистала перламутром, была мне мельница видна. А я подумал, что колеса напрасно мельницы даны, что ей, стоящей возле плеса, приличней было бы штаны...»), я, честно говоря, вздрогнул: страшно стало за поэта. Ведь матерый сталинист, наверное, выкинул его из машины и не повез в дом творчества или на рынок за мандаринами? Нет, терпеливый оказался (что и неудивительно, поскольку весь диалог опять же, несомненно, выдуман из головы). Поэт продолжает свои энергичные абличительные (пользуясь любимой орфографией Достоевского) ямбы. От души советую читателю подставить вместо «Нахимова», скажем, «Титаник», а вместо Чернобыля Везувий (а еще лучше Бхопал, в Индии, где при аварии химического завода без всякого вмешательства культа личности погибло несколько тысяч человек). Сталин был человек крайне нехороший, но зачем же на него всех собак то вешать? Под конец поэт рекомендует нам: «Убейте Сталина в себе, пока он вас не уничтожил». Спасибо, учтем.

Критикует Сталина и третий поэт: «Тебе не страшно в гроте оваций, Когда ревет восторженно толпа, С колхозницами братски целовать? Рука вождя на ласку не скупа: тюремным кулаком охотнорядца проламывает людям черепа...» Да не страшно ему было. Даже и спрашивать не стоит. Тем более — умер давно, не ответит.

Между тем, согласно четвертому поэту, «Страна всплывает, как со дна морского, вся в водорослях, тине и грязи» (а ля утопленник?), но это не страшно, потому что «так, прежде чем солнцу открыты молодые побеги, весна открывает весь мусор в подтаявшем снеге».

Теперь можно религию, можно абстрактный гуманизм, можно философию истории — однако, ах, как мстит отсутствие привычки!

Пятый поэт жалеет Россию и признается: «Вставала алая заря и обещала день хороший... Не жаль мне батюшку царя, но

жаль мне мальчика Алешу...» Под этими стихами дата — 1973 год. За шестнадцать лет можно бы понять, что, пока мы будем жалеть невинных выборочно (по возрастному, половому, классовому, национальному ли признаку), ни черта у нас с вами не выйдет... Создается впечатление, что перечисляемые инженеры человеческих душ просто разучились думать и чувствовать по-своему, не плетясь в хвосте у газетных и журнальных статей... И то сказать — брать разрешенные мысли напрокат куда легче. Обидно только, что получается такой ужасный китч.

С тех пор звучат похоже смех и плач,
И жертвой может сделаться палач,
Но невозможно поменять им роли (?).
Я все познал (да ну? — Б.К.), был всюду и нигде:
В Кремле, в тюрьме, в прикамской слободе,
И всюду сахар был мне горше соли.

.....

Как буковка, живу среди страниц,
Я нужен, чтоб запомнить много лиц.
Мечтатели, строители, врачи,
Громилы, вертухаи, стукачи...
Их свято место долго ль будет пусто?

Похоже, шестой наш лирник претендует на лавры сразу Солженицына, Шаламова и Ахматовой (используя, правда, интонацию Мандельштама). Стоит ли заниматься мародерством? Поймет ли простодушный читатель, почему процветающему московскому литератору сахар в Кремлевском дворце съездов казался горше соли?

Седьмого поэта все-таки назовем (он из моих любимых — с него и спрос больше). Александр Кушнер, который долгие десятилетия был для читателей символом гордого лирического одиночества, тоже платит дань гражданской теме. И сразу спрашивает совершенно суконно: «Квадратный ли метод забыть гнездовой?»

После всех «грубых докладчиков» и «я все пятьдесят вспоминаю второй и третий, как нас напугали врачами» (прошу оценить синтаксис), Кушнер делает здоровый (и, пожалуй, даже слишком здоровый) вывод о том, что «началась Жизнь частная наша, с подкладкою вечной и личной»... Однако — неужели все свои пятьдесят лет Кушнер только и думал о квадратно-гнездовом методе? Равным образом когда он пишет: «статья нас смутила, журнал нас потряс!», это факт его личной биографии как гражданина. Мне, читателю, поклоннику Лермонтова и Георгия Иванова, это, право слово, скучно. Конечно, в случае Кушнера мы имеем дело с другим, более высоким уровнем пошлости. Но хрен редьки не слаще — и обидно за поэта.

Может быть, один из секретов обаяния «старого» Кушнера был в том, что его условно-благополучный мир «с подкладкою

вечной и личной» — как было хорошо известно читателям! — был с боем отвоеван у гнилого, враждебного окружающего. Письменный стол действительно был «последним рубежом», и поэзия — единственным прибежищем. Тоска по Италии более питала творчество Кушнера, чем реальная Италия, куда он в конце концов благополучно съездил...

Может быть, и всему нашему старшему поколению лучше помолчать, оглядеться, набраться новых сил? Вот и восьмой поэт после вымученных стихов о «культе» («Врач ушел и умер где-то вскоре. Врач увидел в тех ночных глазах, как варилось в черном сердце горе для народа, испаряя страх...») признается: «Уемней сердца пыл, рутинный блеск идей... Я правила забыл, как жить среди людей (?)... но жизнь свое взяла — весь в паутине дум (!) я вышел из угла за дверь — на жизни шум...»

Что же там увидел наш избранник муз? А вот что: «Смирись, говорю я оглохшему сердцу. В бульоне наук цепенеют сердца (?). Вот восточка с Марса... А вот по соседству в промозглой парадной раздели жильца. Налево дорога, направо дорога, — два прежних, на выбор, пред нами пути. А ты, обижаясь на дьявола с богом, без них собирался до смысла дойти...»

Кстати, пожалуй, я поторопился присудить первое место по гражданской пошлости первому поэту. Восьмой с ним успешно соперничает, когда пишет о ночном аресте и улыбке уводимого: «Жена, сцепив ладони, теряла цвет лица (!). Скрипели снегом кони у мерзлого крыльца... Но свет улыбки бедной, питавший вдовьи сны, возжег румянец бледный на сумерках страны!»

И, может быть, их обоих перещеголял девятый поэт в невероятных стихах под названием «Казненный поп»: «Что важнее — быть или казаться? Связан был с отрядом партизанским человек, казенный поутру. В рясе черной на веревке белой на виду он у деревни целой чуть покачивался на ветру... там висел, где, позабыв про норы, после хриплых самооговоров радовались ленинцы свинцу (на довоенных расстрелах НКВД. — Б.К.)... На виду висел, а не для виду...» — ну и так далее. Не припомню в истории русской поэзии ни философских рассуждений, ни остроумной игры словами («на виду висел, а не для виду»), ни похвальной наблюдательности («в рясе черной на веревке белой») перед виселицей. Трогает и образ «ленинцев», радовавшихся свинцу (а перед тем «позабывших про норы»). При всей идейной выдержанности этих виршей читать их стыдно, не знаю, каково было писать.

Впрочем, тот же поэт невольно дал и формулу разбираемого направления сегодняшней рифмованной литературы.

«Ильинское, Барвиха да Раздоры. Все те же в электричке разговоры про колбасу, творог и помидоры. Про самокупаемость затрат... и я везу в Москву свои вопросы...»

Золотые слова. Большинство нынешних поэтических потуг с гражданскими обертонами не подымается выше колбасы, тво-

рога и помидоров (разумеется, в духовной плоскости), то бишь уровня либерально-обывательского сознания. И при этом еще имеют в виду «самоокупаемость затрат», другими словами — все ту же «паровозность», неизбежно связанную с внутренним равнодушием.

Воистину прав покойный Анатолий Клещенко, ветеран лагерей, опубликованный в 8-м номере «Юности»:

И если б каплю совести одну
у нас в сердцах эпоха сохранила,
мы, за собою чувствуя вину,
глаза б поднять стыдились в вышину
и на стихи переводить чернила...

У него-то право на стихи есть. «Растут из снегов в косогоре пустом над теми, кто за зиму помер, Кресты? Позаботился кто бы о том! На колыях дощечки прибиты крестом. Фамилий не пишется — номер. Они умирали, не бросив кирки, в карьере, на трассе, в траншее, пеллагры шершавые воротники расчесывая на шее...»

Вот без этой-то «пеллагры» никакие верноподданнические стихи о Сталине, тем паче о лагерях, не стоят, простите, ломаного гроша.

Еще один покойный поэт — киевлянин Леонид Киселев — представлен циклом стихов памяти Мандельштама. В те годы можно было только положить их в стол, да и сам Мандельштам еще отбывал посмертное наказание забвением. «Написанные без разрешения» стихи Киселева полны веселого гнева, трагических предчувствий, братства и сострадания. Они истинны.

Но душа моя — не пленница,
И когда настанет день,
Я приму по праву первенца
Эту алую мигрень.
И вселенная в агонии
Ляжет навзничь у огня.
И тогда придут полковники,
Чтобы вылечить меня...

А как дела с эпохой у наших поэтов помоложе? Иной раз чувства их выливаются, как у Евгения Бунимовича, в эдакую насмешку обманутого сына не столько даже над промотавшимся отцом, сколько над самим собой, в осторожную всезнающую ухмылку:

Как рядовой отряда безголовых
с похмелья в не совсем чужом пиру,
я б не сказал, что весь я не умру,
но все же я б поставил знак вопроса...

Евгений Сольц, остерегая тень Георгия Адамовича от возвращения в Россию, «где сытый голодного грабит и зрячего душит слепой», считает, что

Не нужно вопросов. Не время для слова «когда».
Одетая пылью Россия наощупь идет. А куда —

неведомо мне. Небожитель, глаза мои болью горят.
У ЗИЛа культурный водитель. Он знает, куда, говорят...

Менее кроткая улыбка у Владимира Салимона — поэта едкого, элегантного, образованного и в лучших своих стихотворениях — вдохновенного.

В трехмерном космосе, когда б
не триединый Бог,
и я сидел бы, как завмаг,
посаженный в острог.

Но, слава богу, надо мной
не вечной мерзлоты
дыханье слышу я, но звон
рождественской звезды.

Звезда звенит, звезда горит
и проливает свет
на ГОСКОМТРУД, ГОССНАБ, ГЛАВЛИТ,
ГЛАВАТОМ, ВТОРЧЕРМЕТ.

Блестящий Игорь Иртеньев, который в этом году оттеснен с рубрики «Испытательный стенд» в раздел «Ироническая поэзия», даже и не улыбается, а от души хохочет. Я очень советую почаще читать и Салимона, и Иртеньева, и их лирического собрата Кибирова, и собрата-модерниста Пригова. Почему? Да по простейшей причине — смех очищает. Смех помогает избавиться от предрассудков. Тем более (и это уже всерьез), что Иртеньев — недюжинный мастер тотальной пародии, мишень которой — не столько конкретные стихи, сколько образ мыслей и образ творчества.

Не говори мне про застой
И про инфляцию не надо.
И в даль арендного подряда
Мечтою не мани пустой.

Не говори мне про застой,
Не объясняй его причину.
Не убивай во мне мужчину
Своей наивностью святой!
Дай мне отпить любви настой!

Пока негодяй Иртеньев издевается над гражданской поэзией, истинный (и весьма характерный) шедевр в этом жанре дает нам Игорь Чурдалев на первых же страницах одного из номеров. С одной стороны, он признает, что нехорошо враждовать друг с другом. В то же время темные силы нашей истории тут же получают облик «вечного лабазника», который непременно «кон-

чится, злобой своей изувечен». Нам рекомендуется встать и молвить: «Виновны». «Тем перед Родиной мы виноваты, что от рождения в нас души горбаты...», а также тем, что перед «собственной швалью чиновной никнем, как агнцы при виде ножа». Каяться — дело хорошее. Отчего же холодок по спине, когда читаешь: «Верили в бога (с маленькой буквы. — Б.К.), царя и героя, нас батогами учили все трое — еле дошло. Господам — исполать, память из дуба и кол из осины...»

Поосторожней бы с такими вещами, товарищ Чурдалев. Особенно с Богом. А во втором стихотворении еще пуще:

И может быть, сами мы спросим еще,
а нет — завещаем идущим за нами
спросить не признанья — ответа — за все,
за подлую роскошь четвертого Рима,
за жизни, попавшие под колесо,
за славное знамя, за честное имя...

Как же все-таки нам быть — каяться или спрашивать ответа? Или сподручнее, по врожденной осторожности нашей, завещать спросить ответа, пускай потомки разбираются? Или секрет опять же в разрешенности той или иной отважной гражданской позиции на данный исторический момент? Мы перед Родиной виноваты? Кто это — мы? Солженицын, Платонов. Клюев? Может быть (даже и сказать страшно), и Родина перед кем-то виновата? И — главный вопрос: ну а как спросим со всех ответа, раскулачим и пересажаем, тогда что? Опять строить светлое будущее? А «чиновная шваль» — это кто? Вряд ли речь о секретаре обкома. Ах, бюрократы! Ну, тогда все ясно. Тем более, что вот и Владимир Калиниченко уточняет, против кого направить народный гнев:

А вот иным анкета — вездеход
к постам, к чинам. И по шпиргалке гладко
с трибун вещают, как любить народ,
клеят бюрократизм, бичуют взятки...
Произросли в преддверии чинов
смышленных пап старательные дети...

Словом, гражданская смелость у многих молодых весьма и весьма куцая. Вот Дмитрий Быков, в свою очередь, просит: «Дайте мне сбиться, не дайте мне спиться. Сжиться, соскучиться, свыкнуться, свытаться. Страстно добавив единственный свой Голос — в катящий по улице вой!» — и властно завершает: «Дайте мне чашу на этом пиру! Дайте! Иначе я сам заберу!» Прелюбопытная система ценностей! Во-первых, в мире надо прежде всего «взять», во-вторых, желательно с разрешения, по талонам, и только в самом крайнем случае — забрать самому.

Это далеко не единственные примеры духовного подвижничества советской поэтической молодежи. Истинный образец бессребренничества дает нам Валерий Рубин: «Не затем бы я жил, чтоб наестся-напиться, дай мне, Господи, сил, чтоб себя устыдиться. Нет грешнее меня... Но увидишь впервые: из таких

вот, как я, и выходят святые...» Борис Клетинич несколько менее самоуверен. Хотя, по его мнению, «в мире все те же дремучие детские нравы, как во времена нибелунгов и гипербореев», это можно исправить: «и впоору покаяться русским, евреям и неграм, и богоизбранным народам, и вовсе безбожным...» Короче говоря, порядочная каша в головах нынешних любимцев муз и граций. Что-то они краем уха услышали про приоритет общечеловеческих ценностей, что-то про врагов перестройки, что-то про покаяние. И пустились во все тяжкие — авось напечатают. Как видим, не ошиблись.

*

Пошлость того или иного сорта преобладает в текущей литературе. В толстой пачке журналов, лежащих передо мною, есть немало и других «паровозов» нового образца, и стихшков, сконструированных по типу басни, и крайне бестактных «афганских» стихов («И чалма, обогрелая кровью, над иссохшим арыком дрожит...»). Игорь Шкляревский радует нас беспронгрышными экологическими упражнениями («Все мы — сироты вечности, детдомовцы неба» на «земле — квартире без мусоропровода»), Лариса Тараканова — беззаветно защищает не только природу, но и женщин («Неужто и средств неостанет у целой страны, Чтоб выправить счастье для каждый отдельной жены?»). Действительно, какое уж там счастье, если героиня поэтессы, оставшись в одних «маминых сережках», так и заявляет любимому, причем с интонацией не то «Скифов» Блока, не то «Египетских ночей»: «...я первый шаг терпеньем множу. Я знаю, это мой удел Служить бесчувственному ложу. И с платьем я сдираю кожу. Скажи, ты этого хотел?»

Есть и другие темы, еще более глобального свойства. Скажем, Александру Ткаченко удалось обнаружить, что *в небо звинчивается тяжелая стена всемирного отчуждения, которая вот-вот рухнет и погребет мир*. Батюшки-светы! Не очень понятно, правда, как стена может *звинчиваться*, но ведь *погребет* же! Тем более, что, как выясняется, «каждый день распинается новый Христос канцелярскими кнопками бюрократа!» Да, кстати, «грехопадения тысячелетий наказаны СПИДом»; «забыто, что самое беззащитное на земле — это человек ЧЕЛОВЕК» (по моим данным — медведь-коала. — Б.К.); «по нашим пятам ходит Франкенштейн XX века» — ну, и прочие ужасы. Что же делать? А не унывать! Видите ли, «черные разломы женского лона рождают и рождают пружинящих человечков», те выбегают, упираются головой и пробивают озабоченную стену навстречу солнцу. Вот как оно просто, оказывается.

Изобразительная, но несколько простодушная муза Андрея Вознесенского как никогда озабочена злобой дня. Лично я ожидаю от поэзии большего целомудрия. Мне не нравится, что Андрей Андреевич уподобляет игру всемирно известного мастера совокуплению: непохож, да и очень, очень дурной вкус. («Ты, как мулатку в зале, к себе поставишь задом виолончель влеченья!»)

Мне не по душе амикошонство с Богом: «Вдруг, как и встарь, предшествует рапсодия распада новейшему пришествию Господнего распятия?» Зато наш «поэт в пальто валютном» первым застолбил самую горячую нынешнюю тему, так сказать, постперестроечную: «Вражда зарождается в семьях, пытаются людей утюгом. За что нам такое отмщенье? Свобода и голод кругом. Приметы? Бои у ОВИРа. Я белый нашел у дворе. Неужто под лозунгом мира к гражданской несемся войне?»

Ну что за провинциализм! Оставляя белый гриб на совести автора, вынужден напомнить читателю, что вражда в семьях и даже пытки утюгом случаются и в Швеции, и в Швейцарии, и на островах Зеленого Мыса, не имея положительно никакого отношения к призракам гражданской войны. Что же до голода, то это слово произносить — когда есть Эфиопия или Бангладеш — пожалуй что и неловко. Унижения, очереди, бедность — все что угодно, но до голода, слава Богу, пока не дожили. Бои у ОВИРа... Вещь малоприятная и для страны не слишком престижная. Однако когда два года тому назад в моей благополучнейшей Канаде, было дело, объявили о тысяче внеочередных виз на въезд в США, то занятая с ночи очередь в американское консульство в Торонто достигла чуть ли не двадцати тысяч человек. Привело это, впрочем, не к гражданской войне, а к десятку фельетонов. Ей-Богу, с такой темой не стоило бы обращаться так залихватски.

*

Даже текущая журнальная поэзия — тоже высший род словесности, который непременно должен быть итогом труда и над языком, и над собственной душой. В том же комплекте журнала можно отыскать целую плеяду поэтов, которые — хотя и с переменным, разумеется, успехом — этому требованию отвечают. Сейчас появляются в печати десятилетиями лежавшие в столах да и новые стихи авторов, не ведавших, что есть такое учреждение — типография. Иногда при этом происходят поразительно праздничные встречи. Таков харьковский бухгалтер-пенсионер Борис Чичибабин (некогда, впрочем, член Союза писателей), поэт милостью Божией, с чистым, отчетливым голосом, с острейшим чувством совести, любви и красоты.

Сбылась беда пророческих угроз,
и темный век бредет по бездорожью.
В нем естество склонилось перед ложью
и темный разум душу перерос...
Ни доблестных мужей, ни нежных жен,
а вещей смысл — тайком и ненароком.
Но в жизни шум мешает быть пророком —
и без того я странен и смешон.
Люблю мой крест, пою полунужду,
и то, что мне не выбиться из круга,
что пью с чужим, а гневаюсь на друга,
со злом мирюсь, а доброго не жду...

Безумный век идет ко всем чертям,
а я читаю Диккенса и Твена
и в дни всеобщей дикости и тлена
смеюсь, молюсь мальчишеским мечтам.

Как умеет Чичибабин взволнованно и просто сказать о самом сокровенном!

Из всей древесности каштан
достоин тысячи поклонов,
а из прозаиков — Платонов,
а из поэтов — Мандельштам...

Как он умеет писать на выдохе, на сдавленном крике:

Мне не надо больше смут и бед,
славы, лени.
Тихо душу выдохну тебе
на колени...

С радостным удивлением читал я и сравнительно молодого Геннадия Русакова. Его беспокойный темперамент заставляет вспомнить о Есенине и Багрицком. Русаков не стыдится исповедаться без оглядки:

Худое наследство оставил мой род,
а я и его промотаю.
Спустил бы за грош — да никто не берет,
боятся, на грош обсчитаю.
Так что же, радельцы-сидельцы, дьячки,
тамбовско-тверская орава,
ликбезовцы, завучи, политруки,
полегшие слева и справа?
Как плотно устелена вами земля!
А я вам на ней не защита:
я сам после вас начинаю с нуля,
очесок, дитя общепита.
Мне горечь взросления губы свела,
я время окликнуть не смею.
И как мне доделывать ваши дела,
когда я своих не умею?

Страшные стихи. Но и мужество, и злость поэта, к его чести, направлены только на самого себя. Виноватых он не ищет, помощи не просит, о прежних поколениях пишет с неизменным состраданием. Что ж! Поэзия не отвечает на вопросы, только ставит. И после «тяжбы с огромной страной», поняв, что «лишь крови да воли наследственный гнет душа на себя принимает», ему «остается лишь самим собою быть до приглашенья к гефсиманским бедам». В добрый путь.

Сергей Гандлевский, представленный, к сожалению, единственным стихотворением, бесстрашно начинает его мандель-

штамовской строкой. Это не свидетельство эрудиции или какой-то особенной смелости, но знак для посвященного: разговор пойдет о самом главном. И впрямь — стихи эти не об экологии или ужасах эпохи застоя, а грустное и прекрасное повествование о жизни и смерти. Первая — волшебна, во всей своей нищете и бестолковости, вторая — неизбежна. Куда проще! А поди ж ты, берет за живое. Хотя бы потому, что наше бедное, дурное бытие Гандлевский видит подробно и — как ни странно — любит его. Это дар редкий.

Основательны неторопливые, серьезные, культурные стихи ленинградца Виктора Куллэ с их почти академическим началом:

Я забыл имена и не помню, в каком это веке;
я забыл, как запретно влекла безъязыкие реки
кровеносная соль материнского материка.
Я не помню отплыть; и стоит ли помнить, когда
на чужих языках прорастает суетливое эхо,
и раскрошится храм от скупого латинского смеха...

которое вдруг прерывается современным и неожиданным:

Дети Львиноголовой, изгнанники в собственном храме —
мы швырнули на Запад зернистую жуть мятежей,
побережье засеяв легендами и городами.
Мы, как птицы, прожорливо строили собственный дом,
и, как люди, обуглились вместе с горящим гнездом...

Несомненен талант Дмитрия Бушуева. Он чувствует слова, умеет связывать их, поворачивать лицом друг к другу:

Часы седьмую бьют годину, и ты стреляешь по кукушкам,
ружейным запиваешь маслом, грызешь горячие стволы.
Как медвежатник задубелый, по голове пивною кружкой
ты бьешь зверей, когда над лесом визжит угар бензопилы...

Однако едва рождается тонкий междустрочный смысл — как поэт уже боится, что его обвинят в модернизме, и присобачивает к стихотворению общепонятную мораль. Например: «Но ты оленя не угробишь, когда к нему приходит осень и травит шкуру рыжей хной». То же и в другом стихотворении («Сексопатолог Ястребов»), в целом написанном с отменным вкусом:

Ястребов или Коршунов кожаный снимет плащ —
перья увижу желтые на теле его атлетическом,
и на кончиках пальцев любви моей электричество
видит на темном снимке этот печальный врач...

Как замечательно! Увы, под конец таинственный сексопатолог наставляет рога пациенту, а это уже сюжет не для поэта, а для фельетониста.

В сосредоточенных стихах Надежды Кондаковой есть крепкая интонация, попытки создать свой язык. То, что получается, вполне пригодно и для выражения «современности»:

генетический страх на кострах возведен на кастратах
на утратах пирах колосках из карманов изъятых
дух тощал обещал отторженье крушение крах
дух прощал и вещал завещал генетический страх
он в коленях дрожал он рожал ощущение дня
небесам угрожал поражал средостенье огня
.....

он входил как в подполье в ЧК где как будто жива
эта высшая мера Гомера слепая строка
неподъемная вера усопшего черновика

Ладно скроено, крепко сшито. Правда, ревнивый новый язык не терпит цитат из старого. «Прошитые болью слова» и «отравленная болью душа» в таком напряженном тексте выглядят бледно. Может быть, и с «подвалами ЧК» следовало бы проявить чуть больше чувства меры. И с тем же морализаторством («ах какие же саваны нужно набросить на страх — тыщи прях недостаточно тысячи парок и прях»). Еще бы умения точнее все это выстраивать, умения нанизать на цельную нитку единого чувства, как, скажем, в таком мастерском четверостишии:

и в фольгу запеленуто сердце тугое
и больничных длиннот тяжелит простыня
среди гипсовых масок отца и изгиба
в глубине бесконечного русского дня

В молодежной подборке под рубрикой «Дебют» (№1, 1989) есть два других интересных имени. Это Мария Беловская, автор «Оды Родине»:

Запах проросшего злака трогает память мою.
Об этом точнее плакать. Но я о тебе пою.
— Как холодно, как лесисто, как снежно до слепоты...
И слышен обрывок свиста на десять верст пустоты.
Не мне ли выпала участь вложить в невеселый всхлип
Всю прочность, вечность и сущность сплетения этих лип?
— Где сеть паучьего замка, его центровина, ядро,
— Где шестиногая самка вывертывает бедро,
— Где грубая сила связи, тисненье сосущих губ,
И крови глоток, и грязи, как поцелуя звук...

Сильные, мужественные стихи, жесткие и нежные одновременно. Если они последние по времени в подборке, то Беловскую можно поздравить. Еще удивительнее и неожиданнее два стихотворения жительницы Саратова Светланы Кековой.

Если каждый из нас заключен в ненадежную сферу,
Кто в орехе томится, кто прячется в шаре с крестом,
кто глотает ежа, кто в объятиях держит химеру,
то и стук молотка мы старательно примем на веру,
чтоб хотя бы на миг очутиться в пространстве пустом.

Жуткая, осязаемая, тревожная картина! Второе стихотворение — грустный и великолепно выписанный этюд о любви, поэзии, душе и плоти — четырех стихиях, которые не могут и не умеют пребывать в гармонии. Вот его заключительные строфы:

И безлиственный лес, и безличный,
словно время, шумит надо мной,
то дрожащий, то среднеязычный,
носовой или губно-губной.
Это страсти природа немая
обнажает то ветви, то ствол,
свой беззвучный язык прижимая
к золотым бугоркам альвеол.

Есть и другие достойные страницы в этом комплекте. Растеранные, вдумчивые стихи Нонны Слепаковой, хорошо усвоившей уроки Ходасевича («И света не взвидев, безумец Кидается с криком в окно. Где блещет, навеки связуясь, Распоротое полотно»). Сердитая, страстная в своем отрицании грязи, беспорядка и бессмыслицы нашего мира Марина Кудимова («Как великий почин заедался тифозною вшой! Как герои у Зошенко вечно желали помыться! Как не книжный народ, тяготясь шелудивой душой, Наравне христарадничал хлеба и мыльца!»). Интересен порывистый, совсем еще юный Денис Новиков. Он пока только учится, но учителей выбрал достойных и умеет высказать свою собственную горечь. Наверно, есть и еще даровитые имена — жаль, если кого-то пропустил.

Завершить эти заметки хочу цитатой из Баратынского. «Сначала мысль воплощена В поэму сжатую поэта. Как дева юная, темна Для невнимательного света; Потом, осмелившись, она Уже увертлива, речиста, Со всех сторон своих видна, как искушенная жена, В свободной прозе романиста; Болтунья старая, затем Она, подъявля крик нахальный, Плодит в полемике журнальной Давно уж ведомое всем».

Читатель заметил, что большинство разобранных стихотворений, увы, подпадают скорее под определение, данное в третьей строфе. А все-таки картина нынешнего печатного Парнаса живее, пестрее, значительнее, чем во время оно. Даже если «паровозная» пошлость по-прежнему лезет в первый ряд, это почти никогда не скучно (проверьте, заглянув в ту же «Юность» пятилетней давности), а во-вторых, простите, цинизм, бездарные стихи во славу Сталина, советской армии или какого-нибудь Дня Шахтера мне все-таки значительно противней, чем бездарные разоблачения тирана и тирании. Но главное — сквозь пыль и плесень, похоже, пробиваются новые ростки. Вкупе с освоением наследства (включая и созданное эмигрантами — обычными и внутренними), — это сулит надежду.

Бахыт Кенжеев

НАША АНКЕТА

«ВСЕ, ЧТО Я ДЕЛАЮ — СВЯЗАНО С МОИМ ОТНОШЕНИЕМ К ЛЮДЯМ...»

Беседу с Булатом Окуджавой
ведет журналист Виталий Амурский



— С Москвой, а в ней — в первую очередь, с Арбатом, со дворами, где живут такие ребята, как Ленька Королев, что в трудный для родины час надел «кепчонку, как корону, набекрень и пошел на войну», оказалась связана ваша поэзия, ваша жизнь. Однако если в те годы — годы хрущевской «оттепели» — вы писали и пели: «...виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, короля», — то через пару с лишним десятилетий в «Плаче по Арбату» у вас прозвучали иные, на сей раз весьма горькие признания: «Там те же тротуары, деревья и дворы, но речи не сердечны и холодны пиры». Исчез куда-то Ленька Королев, не слышно звуков радиолы, под которую когда-то танцевали арбатские мальчишки и девочки, и если что-то еще оста-

лось стоять по-прежнему в тех местах, как, например, зоомагазин, то теперь — пользуюсь вашим сравнением — в него ходят «окупанты»... Себя же, поселившегося в другом уголке столицы, вы

сравниваете с эмигрантом. Сдвиг во времени и в пространстве предстал в драматическом облике. Понимая, что существует в известной степени связь между человеком и окружающим его миром (связь не только социальная), хотелось бы понять: где, по-вашему, произошло все-таки больше изменений: в вас самом или в той внешней среде, где вы находитесь?

— Естественно, изменения произошли и во мне, и в той среде, в которой я обитаю. Если говорить о среде, то прежде всего следует иметь в виду всю страну. Она в последнее время слишком бурна, слишком неоднозначна, и все это меня, конечно, не может не задевать. Если же говорить об Арбате, то, как вы знаете, это не просто типичное место в Москве — городе, но шире — место, которое всегда характеризовало нашу политическую, социальную, бытовую жизнь. Несмотря на то, что там в те годы, о которых идет речь, жили такие замечательные люди, как Ленка Королев, улица эта, в общем-то, была печальной... Тогда, в детстве, я этого не понимал, не ощущал. Теперь понимаю... Из-за того, что по Арбату проезжал Сталин, на тротуарах, во дворах там постоянно толкались посторонние люди — стукачи, филеры... Даже в окна, выходящие на проезжую часть, выглядывать было небезопасно, и многие мои знакомые пострадали от этого... Конечно, независимо ни от чего, как до революции, так и позднее на Арбате, который оставался центром Москвы, проживала интеллигенция, цвет города. Лишь постепенно, особенно в последние годы, это удобное и престижное для жительства место стало менять свое лицо. Под предлогом улучшения жилищных условий старожилам Арбата начали выдавать маленькие отдельные квартирки на окраинах, а в отремонтированные, ставшие благоустроенными и уже отдельными бывшие коммуналки заселять партийных и советских работников. Новый привилегированный слой как бы изменил лицо улицы, ее духовный климат. Видя все это, я как-то по-своему переживал, скорбел, и, очевидно, поэтому в моих стихах появились такие ноты. Однако, возвращаясь к тому, что я уже сказал о типичности Арбата, замечу, что подобная картина оказалась вообще сходной для всей страны — в течение ряда лет новые привилегированные слои вытеснили с лучших мест интеллигенцию. Интеллигенция оказалась не только ненужной, лишней, но — опасной...

— Тем не менее, читая вашу прозу последних 10-15 лет, скажем, рассказы «Утро красит нежным светом...», «Уроки музыки», «Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж в творчестве Лермонтова», «Отдельные неудачи среди сплошных удач», «Девушка моей мечты», повесть «Новенький как с иголочки» (внутренне связанную с давней «Будь здоров, школяр») — как видите, я называю сейчас произведения открыто биографического характера, не касаясь исторических романов, — нельзя не заметить, что со старым миром вы не расстаетесь. И не филеры, не стукачи, о которых вы упомянули, вспоминая об Арбате иных времен, определяют нравственный климат предвоенного, военного и первого послевоенного периода жизни общества. На них — в высшей степени высокоморальных людей — вы ориентируетесь. Тем не менее, надо полагать, что и в так называемые «годы застоя» вы не теряли веру и уважение современников... В каких моделях она олицетворялась?

— В последние брежневские годы я просто тихо умирал. Я не видел никакого просвета и совершенно отчаялся. Последующие годы немного восстановили равновесие и вернули мне надежду на какие-то возможные позитивные перемены в нашем обществе. Говоря о тех работах, которые вы назвали, я не могу считать, что изображенное в них было сделано с особой теплотой. Я просто писал о близких, хороших людях, которые меня окружали, как это было — без всяких претензий. Как и они, я тоже был продуктом этой эпохи, этого времени, и мне было достаточно тепла, которое они излучали. Память у меня в основном эмоциональная, и я не ставил перед собой цель критически осмыслить минувшее, да и вообще я не отношусь к категории ниспровергателей. Как прежде, так и сейчас главным для меня является человек. Все, что я делаю, — связано с моим отношением к людям. Не к толпе, не к населению, а к отдельным людям. При этом я не могу сказать о каких-то конкретных моделях. В разные времена это были просто милые, никому не известные, самые обыкновенные мои сограждане, полные нормальных достоинств и недостатков, но все это было вполне человечно, естественно и меня устраивало. Они были так же несчастны, как и я, так же обмануты, как и я, — но это я начинаю понимать уже сейчас...

— Как известно, среди таких простых людей, страдавших, как и вы, многие находили духовную опору в обращении к Богу. Для вас имели ли роль ценности религиозного характера? Во всяком случае, если одним из ваших любимых поэтов оказался еретик Франсуа Вийон, нетрудно заметить, что в вашем творчестве неоднократно имеются попытки связать небесное и земное...

— Я вообще по своему воспитанию человек неверующий. Так случилось в моей жизни. Но, видимо, есть что-то такое во мне высокое, во имя чего всё, и я сам... Видимо, это есть, хотя я не анализирую этого ощущения, состояния

Что касается Франсуа Вийона — это фигура совершенно случайная, потому что мои стихи никакого отношения к нему не имеют. В свое время, это было, кажется, в 1963 году, я хотел их опубликовать, но получал отовсюду отказы, так как в них часто встречалось слово «Господи». Тогда, через месяц, я придумал название — «Молитва Франсуа Вийона», после чего произведение опубликовали. А потом так получилось, что мне стали говорить о некоем «периоде "Молитвы Франсуа Вийона"» и т.д., но это не имело никакого значения.

Что касается «неба» и «земли», то да, в общем, я думаю, что всякий нормальный человек пытается как-то сопоставить эти две плоскости. Соединить их между собой и определить себя, свое место... Это — совершенно нормально, естественно.

— Ну, такая естественность все же подчас не всем удается! И когда я вспоминаю, допустим, ваш «Голубой шарик», то вижу в нем пример удивительной гармонии такого рода... Впрочем, «Голубой шарик» в свое время вызвал немало дискуссий в связи с его символикой... Как родилось это стихотворение, связано ли оно с каким-либо конкретным впечатлением? Вообще интересно, что разные шары (в основном, правда, красные) послужили некоторым мастерам в выражении психологических коллизий и прозрений. Например, на холсте у Лучишкина «Шар улетел» — работе 1926 года, которая висит в одном из залов Третьяковки, или в фильме «Красный шар», снятом в 1956 году французским режиссером Альбером Ламориссом...

— Мне сейчас трудно ответить на ваш вопрос, потому что в то время, когда я придумал это — в 56-м или 57-м году, сейчас уж

точно не помню, — я об этом, о символике, просто не думал. Для меня это было неважно. Вот родилась такая ситуация, такой образ — я его запечатлел. Никаких философских выражений, никаких попыток анализировать жизнь не было. Позднее, когда меня стали спрашивать: «Что это значит?» и т.д., — я придумал такое объяснение: голубой шарик символизирует нашу жизнь, жизнь вечную. Мы умираем, а жизнь продолжается. Придуманно это было просто так — для успокоения особо активных вопрошателей. Сейчас же я воспринимаю эту символику как очень примитивную, случайную...

— *Как-то в одном из своих разговоров вы заметили, что предпочитаете оставлять за пределами неизвестности отдельные повороты в своем творчестве — в частности, для вас самого является загадкой: почему с начала 70-х годов почти перестали писать стихи, перешли к прозе, а сейчас, то есть в последние года три-четыре, опять вернулись к поэзии, как это было в 60-е годы, — во всяком случае, по интенсивности работы...*

— Да, действительно, не знаю, чем все это объясняется...

— *А в какой степени труд над романами «Бедный Авросимов» (в книжном варианте — «Глоток свободы»), «Похождения Шипова, или Старинный водевиль», «Путешествие дилетантов», «Встреча с Бонапартом» смог компенсировать вам молчание поэтическое?*

— Мне уже как-то пришлось отвечать на схожий вопрос, и, может быть, это оказалось довольно примитивной попыткой объяснить суть: я сказал, что, в общем, не ощущаю серьезной разницы между своими стихами и моей прозой. Сейчас я могу повторить это. И там, и там я рассказываю о себе средствами, которые имеются в моем распоряжении. Разница в них только формальная. В одном случае — все построено на историческом материале, в другом — на современном. Существенного различия нет, потому что человек, жил ли он сто лет назад или живет сейчас, — остается тем же.

Стихи я часто пишу параллельно с прозой. Они рождаются спонтанно, не спрашивая на то «разрешения», не требуя планов. Что там происходит потом — я об этом не забочусь.

— *Между тем, когда речь заходит о ваших исторических романах, отдельные литературоведы, критики считают, что са-*

ним фактом обращения к другой эпохе вы выразили некий протест по отношению к настоящим событиям; в стилистике это, например, проиллюстрировалось в отношении к тому казенному русскому языку, который заполнил советскую литературу в последние десятилетия. Насколько такие утверждения верны?

— Нет, нет! Все это не так. Может быть, там есть элемент протеста — не знаю, не мне об этом судить. Я начал писать исторические вещи прежде всего потому, что увлекся русской историей. Когда же с помощью документов познакомился с ней ближе, она открылась мне, то увидел, что жил среди лжи. Мне захотелось узнать ее досконально. Особенно то, что относится к первой половине XIX века, потому что тогда, после Французской революции, в российском обществе проснулось самосознание, желание себя определить, выяснить: кто мы? для чего мы? куда мы идем? Это был очень интересный процесс, и за ним было интересно наблюдать. Будучи профессионалом, я попытался как-то выразить это в литературной форме. Вот что подвинуло меня на это. Передо мной никогда не было задачи — с помощью исторической прозы критиковать несовершенство нашего строя, нашей сегодняшней жизни. Это было бы смешно и примитивно. Но, хочу я этого или нет, в истории всегда существует масса аналогий и параллелей, и они, конечно, возникают в сознании читателя. Кроме того, я — человек современный и, естественно, вношу какой-то современный флер в эту историческую ситуацию, и это ощущается, очевидно. Так, в общем, и должно быть.

— *В том, что переключка прошлого с настоящим в ваших прозаических работах налицо, — сомневаться не приходится. Однако любопытно, что схожая переключка кое-где прослеживается и между самими произведениями, то есть прозой, которую условно можно разделить на «биографическую» и «историческую». Так, мне кажется, тема предательства, построенная на отношении личность — государство, в равной мере глубоко отразилась у вас и в «Бедном Авросимове», и в «Приключениях секретного баптиста». Относя эту последнюю вещь к разряду «биографических» произведений, я все же хотел бы вас спросить: насколько можно считать историю Андрея Петровича Шамина, который оказался в сетях госбезопасности, историей вашей личной?*

— Абсолютно! Никаких искажений. Все достоверно. Все было именно так, как зафиксировано. Может быть, не очень удачно в литературном отношении, но в документальном — это точно. Случилось все в 1954 году в Калуге, когда после учительства я начал работать в областной газете. Вспоминая, пытаясь проанализировать период, когда на меня свалилось такое «счастье» — мне стали доверять органы! — я не могу представить себя иначе, как идиотом, у которого от всего закружилась голова...

— *Высказавшись об этом моменте своей судьбы, вы, видимо, сейчас почувствовали моральное облегчение?*

— Да. Передо мной стояла задача: обязательно об этом рассказать, и я сожалею только об одном, что немножко поторопился. Это можно было сделать гораздо лучше. Но... теперь можно исправить только стилистически. Главное же сделано.

— *Столь важная для вас, эта исповедальная повесть оказалась опубликована в сборнике «Весть», первом экспериментальном выпуске независимой редакционной группы, носящей такое же название. Сборник этот вышел в свет в 1989 году, и, насколько известно, не без сложностей...*

— Каждую минуту издание буквально висело на волоске. Но там нашлись такие активные молодые люди, которые попытались не дать ему погибнуть. В конце концов сборник вышел под эгидой издательства «Книжная палата». Но уже следующие выпуски предполагается печатать под эгидой ассоциации «Мир культуры». Она существует при Фонде культуры СССР, занимается различными благотворительными делами. А вот где именно смогут состояться публикации, то есть в каком издательстве, пока сказать трудно...

— *Кажется, в таком же, то есть не очень определенном положении находится и группа «Апрель», в которую вошли писатели, выступающие за перестройку, — как члены, так и не члены Союза писателей?*

— Проблему у «Апреля», конечно, очень много. Объясняется это тем, что стоящие во главе этой группы такие милые, достойные люди, как Анатолий Приставкин, Вадим Соколов, Анатолий Злобин и другие, — не политики и им трудно управляться

с большой организационной работой. С другой стороны, их очень боятся — чинят всяческие препятствия, вставляют палки в колеса, потому что видят в «Апреле» соперника Союза писателей.

— *Поскольку мы сейчас невольно перешли к теме «перестройки» и «гласности», группы «Весть», «Апрель», несмотря на различие своих «статусов», в некотором роде являются примером того, как новая государственная политика в области свободы слова реализуется на практике, — можно понять из ответа, что колесо вращается пока что с большим скрипом. Но все же вращается... А вот не случилось ли в последнее время у критиков, читателей сдвигов в оценках произведений? В частности, не перевесила ли конъюнктурная, сенсационная сторона художественные, эстетические ценности?*

— По-разному это аукнулось. Конечно, есть определенная категория читательской публики, для которой сенсация — превыше всего. Так было раньше, так остается и теперь. Но есть и серьезная аудитория, воспринимающая все очень серьезно. Она ощутила, что с появлением многих ранее запрещенных вещей планка качества вознеслась. Соответственно акции дотоле знаменитых «литературных генералов» сильно упали. Естественно, их это очень взволновало, они начали придумывать всякие причины для того, чтобы оправдать свое беспокойство, свою озабоченность. Стали говорить о том, что произведения таких-то живых эмигрантов или уже покойников можно печатать, а таких-то нельзя. Немало озлобления вызвали у них, например, романы Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», «Все течет», Владимира Войновича «Приключения солдата Чонкина», проза Саши Соколова, поэзия Иосифа Бродского... Из эмигрантов старых какой-то свежий воздух внес Владимир Набоков... Ну, у меня лично уже давно была возможность читать все это, так как я нередко ездил за рубеж. Однако для многих подобные книги явились настоящим открытием. Люди ахнули! Боже, сколько, оказывается, мы не знали, каких вещей были лишены!.. Об этом они пишут в газеты, журналы — все это очень показательно.

— *Те авторы, которых вы называли, действительно, уже давно получили признание на Западе, и возвращение их в отечество можно только приветствовать. Однако сомнительного качества вещей здесь, на Западе, тоже всегда хватало, и они, увы, тоже*

просочились туда... Вас как одного из первых исполнителей авторской песни (я знаю, что вы не любите термин «бард», и также отношусь к нему негативно, когда речь идет о России) не огорчает ли то обстоятельство, что значительная, если не подавляющая часть советской молодежи сейчас повернулась к рок-группам, отбросив интерес к культуре слова, мысли, образа? Или вы видите этот тип масс-культуры в не столь мрачном свете?

— Знаете, все это меня не удивляет. Такое явление — международное, и, бывая раньше на Западе, я понимал, что рано или поздно оно придет к нам. Сейчас это случилось, точно так же, как когда-то у нас было движение «хиппи». Через это мы должны пройти. Огорчает ли меня это? Нет. Меня вообще не огорчают поющие люди, не огорчают бездарные поэты и бездарные певцы. Меня огорчают те бездарные, полуграмотные деятели, которые все это пропагандируют. По-своему я пытаюсь с этим бороться — в своих статьях, выступлениях, — других способов у меня нет. Тут, конечно, следует признать, что наше общество еще находится на очень низком уровне культуры — политической, экономической, духовной. Поэтому и редакторы такого же рода...

— Все же, думаю, такая негативная оценка относится далеко не ко всем редакторам?

— Ну, конечно, я не имею в виду ни «Новый мир», ни «Знамя», ни «Неву», ни «Огонек»... Но могу назвать, к примеру, музыкальную редакцию телевидения, где сидят, в общем, люди среднего уровня. Да и не только эта редакция ТВ, а вообще телевидение, которое лупит в хвост и в гриву рок-музыку. Причем, к сожалению, не лучшую рок-музыку, потому что есть действительно интересные представители такого направления, например, Гребенщиков... Но их подают на экране очень редко — эти люди исполняют вещи с серьезным смыслом, не носящим развлекательного характера. Видимо, у руководства телевидения стоит задача — поменьше раздумий, побольше развлекательности... Вот оно и пускает все эти вторичные, третичные всякие группки, похожие одна на другую и по телодвижениям, и по музыке, и по тексту их неприятных стихов, — все это огорчает, конечно.

Теперь у нас пришел новый министр культуры, Николай Николаевич Губенко. Впервые пришел профессионал, человек порядочный, мы ему очень рады, но посмотрим, как он будет справляться с этим нелегким делом. Хотя, в общем, я думаю, что союзного министерства культуры не должно быть. Должны быть министерства культуры республиканские. Централизация тут не нужна.

— До сих пор во Франции, когда говорят «Булат Окуджава», добавляют «русский Брассенс». Как вы относитесь к такой параллели?

— Трудно об этом говорить, потому что я себя со стороны не представляю. Брассенс мне очень нравится. Наверное, есть что-то общее между нами: он писал стихи — и я; он их исполнял под гитару — и я тоже; он не пользовался никакими специальными эффектами — и я не пользуюсь... Встреча с ним у меня была только один раз, в Париже, в октябре 1967 года. Я выступал в концертном зале Мютюалите. Это было мое первое знакомство с Парижем, с французской публикой. Тогда же была записана моя первая пластинка. Брассенс пел в театре Трокадеро и в назначенный час, перед концертом, ждал меня там. Беседовали мы с помощью переводчика, и в общей сложности это было минут пятнадцать. Ну, много ли можно сказать за такую встречу, которой ждешь годами?.. Это были в основном самые общие фразы. Он мне наговорил всяческих комплиментов, я ему тоже. На этом все и закончилось...

— Возвращаясь к вопросу о вашем творчестве, не могли бы вы сказать, в какой степени на него влияют те или иные события, которые происходят в стране, в мире?

— Я не могу сказать, что я летописец своего времени. Такой потребности у меня нет. Мне это не интересно, тем более, что об этом все пишут. То, что меня волнует, выливается в каких-то других формах. Например, сейчас я пытаюсь писать автобиографическую повесть, пишу о старых временах, о 1955-56 годах... Конечно, пишу с позиции сегодняшнего дня, происходящие события меня не обходят. Мне интересно все: пресса, телевидение... Но конкретно события не пытаюсь анализировать — я не экономист, политик я плохой. Как и память, о чем я уже сказал, созна-

ние у меня эмоциональное. Вот недавно дошло до того, что написал для «Московских новостей» небольшую статью об антисемитизме*, который у нас сейчас культивируется. До этого я никогда подобных статей не делал. Бывают вещи, которые не дают права молчать...

— *Вы упомянули о работе над биографической повестью, связанной с периодом хрущевской «оттепели», или, как сейчас иногда говорят, «первой оттепели», подразумевая под «второй оттепелью» нынешний период. Ограничиваясь областью литературы, считаете ли вы, что они могут рассматриваться, говоря условно, как некие сообщающиеся сосуды, или нет?*

— И первая, и вторая оттепели — это естественные попытки общества выжить, прийти в себя. Первая была кратковременной, но она позволила вздохнуть, обнаружить остатки сил, способных спасти от гибели. Вторая — более основательная, более глубокая и, несмотря на взлеты и падения, неостановимая.

— *Помимо событий, которые происходят в пределах страны, вас, видимо, также не оставляют равнодушными перемены в Восточной Европе — в Польше, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Румынии...*

— К тому, что там происходит, я, естественно, отношусь очень положительно. С большим интересом и сочувствием наблюдаю за этим. Я только сожалею, что сейчас эти государства нас обставляют... Конечно, у нас большая страна и, видимо, болото более глубокое — не так все просто. Но даже то, что мы во многом себя разоблачили, — хорошо. На сегодняшний день нам более полезны поражения, чем победы, о которых мы все затрубили. Нам нужно немножко больше задуматься о себе, и любое поражение, как я думаю, этому только способствует.

— *И еще один вопрос... Нередко, подписывая книги, вы рисуете рядом маленького человечка, в котором легко узнается своеобразный автошарж. Не могли бы вы сказать несколько слов о нем?*

* Б.Окуджава. «Источник добра, а не ненависти». — «Московские новости», 8 октября 1989.

– Это некто, кому хочется жить, кто не считает, что каждая его строчка осчастливила человечество, кто никому ничего не навязывает и просит не навязывать ему...

ДЕКЛАРАЦИЯ

В июле прошлого года создана Ассоциация, главным учредителем которой стал Союз писателей СССР. В качестве своего девиза Ассоциация избрала призыв великого русского художника и гуманиста Николая Константиновича Рериха «Мир через Культуру», то есть утверждение принципов мира через утверждение и развитие культуры на всех уровнях жизни: от межгосударственных до бытовых.

Мы, писатели, разделяющие светоносный пафос этого лозунга Рериха, решили образовать объединение «Община», которое будет действовать в рамках московской писательской организации. В своей деятельности наше объединение будет руководствоваться положениями программы Ассоциации «Мир через Культуру», провозглашающей примат духовности над политикой. В современной драматической ситуации, чреватой непредсказуемыми последствиями, нам представляется чрезвычайно актуальной мысль Махатмы Ганди о красоте компромиссов, где, как сказано в программе Ассоциации «Мир через культуру», уже само необычайное сочетание понятий «красота» и «компромисс» дает новый ключ к решению старых проблем. «Не чувство уныния должен рождать компромисс: дескать, вынужден был уступить под напором обстоятельств. Наоборот, компромисс должен рождать чувство радости: наконец-то нашли общие точки соприкосновения!»

Разумеется, это не означает размывания принципиальных позиций, отсутствия полемики и дискуссии. Но это означает, что отныне нашей главной целью становится активный, не прекращающийся ни на мгновение поиск не того, что разъединяет людей, а того, что их объединяет.

Применительно к ситуации в нашем творческом союзе объединение «Община» ставит перед собой следующие задачи:

- способствовать укреплению единства Союза писателей, но не на старой основе унылого казенного единообразия, а на новой — широчайшего многообразия направлений и мнений;

- тесно сотрудничать с людьми, не являющимися сторонниками крайних взглядов, тех взглядов, которые неумолимо ведут к конфронтации;

- содействовать диалогу и взаимопониманию между людьми противоположных убеждений, предоставляя для этой цели все возможности, которыми будет располагать объединение;

- помогать работе вестника Ассоциации «Восхождение», ежегодника «Мир через Культуру» и других печатных изданий Ассоциации;

- активно участвовать в мероприятиях Ассоциации: конференциях, симпозиумах, диалогах;

- делегировать на писательские конференции и съезды своих представителей с учетом установленных норм такого представительства.

Мы разделяем тревогу и отчаяние нашего соотечественника, оказавшегося за рубежом, — редактора журнала «Континент» Владимира Максимова, который в письме из Парижа, опубликованном в «ЛГ» (1990, №9), пишет: «Неужели никто не хочет понять, что страна катится в пропасть, а мы все никак кормушки не поделим?» На фоне социального, экономического, экологического, а главное — духовно-нравственного — кризисов, грозящих гибелью человечеству, безумием должны представляться личные амбиции и групповые схватки. Неужели трудно понять, что в нынешней ситуации не может быть побежденных и победителей? Вопрос стоит так: или все мы будем побежденными, или все мы будем победителями. Давайте же строить жизнь и действовать так, чтобы все мы стали победителями.

Инициативная группа объединения «Община»

Imprimé en France

imb IMPRIMEUR 70001 VESOUL
Dépôt légal n° 3616
Avril 1990

КОНТИНЕНТ

CONTINENT

Годовая подписка (4 номера)
Abonnement pour 1 an (4 numéros)

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
Je souhaite m'abonner pour 1 an (4 numéros)
начиная с № (à partir du N°)

Фамилия (Название учреждения) (Nom ou établissement):

.....

Адрес (Adresse):

.....

.....

Оплату произвожу (Je fais le payement):
приложенным чеком во франках (par chèque en francs)
почтовым переводом (par mandat postal)
банковским переводом (par ordre bancaire)

Стоимость годовой подписки (Prix d'abonnement annuel):
200 francs fr. — 60 DM — 32 \$ USA (air mail — 40 \$)

Заполненный талон просим направлять по адресу
(Veuillez envoyer votre talon rempli à l'adresse):
Association des Amis de la revue «Continent»
11 bis rue Lauriston, 75116 Paris, France

Платеж — по тому же адресу или в банк
(Payement à la même adresse ou à la banque):
Les Amis de la revue «Continent»
compte 3.726130.8, Société Générale, Agence Kléber
45 av. Kléber, 75116 Paris, France





**ПЕРВЫЙ СПИСОК ПОЖЕРТВОВАНИЙ
в фонд Ассоциации друзей «Континента»
(в порядке поступления)**

Л. и Б.Снядовер, Париж	500 фр.фр.
Ценко Барев, Париж	1.000 фр.фр.
В. и К.Страда, Венеция	1.500 фр.фр.
П.Дюто, Париж	100 фр.фр.
Л.Финкельштейн, Лондон	300 фр.фр.
«Культура», Париж	10.000 фр.фр.
М.Шемякин, Нью-Йорк	10.000 ам.долл.
М.Горде, Париж	500 фр.фр.
И.Муравьева, Бостон	50 ам.долл.
Л.Мулен, Брюссель	100 фр.фр.
В.Нечаев, Париж	1.000 фр.фр.
Э.Замойская, Тулуза	100 фр.фр.
В.Амурский, Париж	400 фр.фр.
Р.Баршай, Базель	1.000 шв.фр.
«Славик госпел пресс», Чикаго	2.000 ам.долл.
Э.Лозанский, Вашингтон	2.000 ам.долл.
Ф.Берман, США	100 ам.долл.
Аноним, Париж	1.000 ам.долл.
Э. и А.Аксельрод, ФРГ	1.000 нем.марок
Аноним, Нью-Йорк	5.000 ам.долл.
Аноним, США	50 ам.долл.
М.Ройз, Канада	100 кан.долл.
А.Гринбаум, США	50 ам.долл.
Л.Буланов, США	30 ам.долл.

Редакция благодарит всех, независимо от суммы пожертвований: всякая лепта помогает журналу выжить.

24 мая 1990

Иосифу Бродскому исполнится 50 лет

Дорогой Иосиф!

Вот и тебе, некогда самому юному в кругу молодых поэтов — друзей Анны Ахматовой, самому молодому из живущих Нобелевских лауреатов, стукнет полвека.

«...Вот она, плодоносная осень», пора окончательной зрелости. Она же — для поэта — пора поиска новых путей, выхода на новые горизонты.

В последнее время ты как будто острее, чем прежде, прислушиваешься ко всему, что происходит в мире, условно говоря, политическом, — это видно в твоих выступлениях, интервью, эссе и, в конце концов, даже в стихах. Но, при всей жгучей злободневности твоих высказываний, ты занимаешься не политикой, а, скорее, антиполитикой, предупреждая об опасной одномерности политического взгляда на наш мир и наш идущий к концу век.

Мыслитель и насмешник, вдумчивый философ и верный друг, пронзительный лирик, тщетно скрывающий чувствительные струны за деланной сухостью и иронией, — таким мы тебя любим. Будь здоров (чего важнее мы могли бы пожелать?) и — пиши. Пиши.



«КОНТИНЕНТ»

Фото Михаила Лемхина.

Ему же принадлежит фотография А.Д.Сахарова в «Континенте» №62.